

Frank R.
Ankersmit

Франк
Анкерсмит

Narrative Logic

A Semantic
Analysis of
the Historian's
Language

НАРРАТИВНАЯ ЛОГИКА

Семантический
анализ
языка
историков

Перевод с английского языка
Оксаны Гавришиной, Андрея Олейникова
Под научной редакцией
Л. Б. Макеевой



1983

Martinus Nijhoff Publishers
The Hague/ Boston/ London



ИДЕЯ-ПРЕСС

Москва 2003

УДК 1/14
ББК 87.3
А64

Данное издание выпущено в рамках программы
Центрально-Европейского Университета "Translation Project"
при поддержке Центра по развитию издательской деятельности
(OSI – Budapest) и
Института "Открытое общество. Фонд Содействия" (OSIAF–Moscow)

АНКЕРСМИТ Франк
А64 НАРРАТИВНАЯ ЛОГИКА. Семантический анализ языка историков.
Перевод с англ. О. Гавришиной, А. Олейникова.
Под науч. ред. Л. Б. Маковой. – М.: Идея–Пресс, 2003. – 360 с.

Что такое историческое повествование? Какова его структура? Каким образом оно может открывать для нас доступ к прошлой реальности? И вообще существует ли прошлое вне повествования? На все эти вопросы отвечает книга Франка Анкерсмита – ведущего представителя современной "нарративистской" философии истории.

ББК 87.3

ISBN 5-7333-0058-2

Copyright © by Frank R. Ankersmit, 2003

© Перевод с англ. О. Гавришиной (Введ., гл. 1.), 2003
© Перевод с англ. А. Олейникова (Предисл., гл. 2–8, закл.), 2003
© Художественное оформление А. П. Пятикоп, 2003
© Идея–Пресс, 2003

Научное издание

Корректор Рубштейн М.
Оригинал-макет Идея-Пресс

Идея-Пресс
ИД № 00208 от 10 октября 1999

Подписано в печать 30.04.2003.

Формат 60×90 1/16. Гарнитура Bookman OldStyle.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 22,5.

Тираж 1000 экз. Заказ № 2228.

123056, г. Москва, Тишинская пл., д. 6, кв. 31

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»,
140010, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 403. Тел. 554-21-86.

Содержание

Предисловие к русскому изданию	7
Введение	13
Глава I. Предварительные замечания	20
Глава II. Идеальная наррация	52
Глава III. Предложение и наррация	90
Глава IV. Нарративный идеализм <i>versus</i> (в противовес) нарративный реализм	118
Глава V. Нарративные субъекты и нарративные субстанции	140
Глава VI. Природа нарративных субстанций	200
Глава VII. Нарративные субстанции и метафора	278
Глава VIII. Объяснение, объективность в истории и нарративные субстанции	319
Заключение	347
Библиография	353

Предисловие автора к русскому изданию

Более двадцати лет тому назад я написал эту книгу о нарративной логике. С тех пор я написал на многие разные темы, относящиеся и не относящиеся к исторической теории. Но эта книга всегда оставалась моим отправным пунктом и путеводителем в работе над другими темами. Объясняется это тем, что данная книга была для меня первым шагом по ранее неизведанной территории и поэтому служила своего рода ориентиром в дальнейших исследованиях этой новой территории.

В качестве пояснения позвольте мне сказать несколько слов о контексте, в который следует помещать эту книгу. Философия XX столетия была преимущественно философией языка и изучала то, как язык соотносится с миром. Будучи продолжением кантовской эпистемологической традиции, она поставила вопрос о том, как язык прицепляется к миру и каким критериям употребления он должен отвечать, чтобы быть истинным сообщением о том, о чем он сообщает. Этой философией вдохновлялись в своих сочинениях Рассел, Витгенштейн, Тарский, Гудмен, Поппер, Куайн, Дэвидсон, Рорти и многие другие. Она дала нам логический позитивизм, философию обыденного языка, прагматизм и всю философию науки. Поэтому вряд ли можно сомневаться в колоссальном влиянии и успехе философии языка XX столетия. Безусловно, философия языка XX столетия стала золотым веком в истории философии.

Однако в философии языка есть нечто странное, и можно только удивляться, почему на эту странность никогда не обращали внимания. Хотя на нас производит исключительно глубокое впечатление то, с какой пронизательностью и точностью в философии языка исследуются проблемы, все же список этих проблем вызывает у нас не меньшее недоумение. Нельзя не поразиться неизменно присутствующему ей крайне узкому пониманию того, какие способы языкового употребления требуют к себе внимания философа. Если выразить это од-

ной формулой: философия языка XX столетия была философией высказывания или суждения независимо от того, интересуемся ли мы употреблением языка в повседневной жизни или в науке. Иначе говоря, она никогда не обращалась к проблемам текста или повествования, к тому, как они соотносятся с миром и каким критериям должны отвечать, чтобы быть истинными сообщениями о том, о чем они сообщают. Это тем более удивительно, что большая часть наших способов языкового употребления по своему характеру является текстом или повествованием. Стоит только вспомнить об историях, которые мы рассказываем друг другу (или даже самим себе) в повседневной жизни, о том, что мы находим в книгах, в газетах, в судебных решениях и т.д.

В чем тут дело? Почему повествование никогда не рассматривалось в качестве темы, заслуживающей интереса со стороны философа? Трудно ответить на этот вопрос, ибо какими разумными причинами можно объяснить чью-либо невосприимчивость к чему-то? Довольно непросто объяснить уже то, почему люди совершают определенные действия, а стремление объяснить, почему они чего-то не сделали или остались о чем-то в неведении, неизбежно приведет нас в область пустых спекуляций. И все же можно предположить, что объяснение следует искать в методологическом предубеждении, свойственном философии языка XX столетия. Это предубеждение состоит в том, что сложную проблему “сцепления” языка и мира можно решить, только начав с простейших случаев употребления языка. Несомненно, это приведет нас к высказываниям типа “кот лежит на циновке”. Поиск чего-то еще более элементарного, чем подобные высказывания, даст нам такие выражения, как “кот” или “лежит на циновке”. Но об этих выражениях мы уже не можем сказать, что они являются осмысленными сами по себе, хотя они входят в состав осмысленных высказываний. Поэтому, истинное единичное высказывание стали рассматривать как простейший строительный блок в здании нашего знания о мире. Предполагалось, пусть негласно или неявно, что как только логические проблемы, вызванные истинными единичными высказываниями будут удовлетворительно решены, повествование уже не поставит перед нами каких-либо интересных или сложных проблем. Ибо чем же еще является повествова-

ние, как не рядом единичных высказываний об определенных положениях дел? Возьмите, к примеру, историческое сочинение, этот прототипический вариант повествования. Чем же еще является повествование историка, как не длинной и сложной последовательностью высказываний о событиях, которые имели место в прошлом?

Но это неверное предположение: вопрос о том, что такое нарратив и как он соотносится с миром, нельзя свести к вопросу об истинном единичном высказывании. В этом можно убедиться, приняв во внимание следующие два соображения. Во-первых, исторические повествования являются *репрезентациями* прошлого. Возьмите этимологию слова “репрезентация”: репрезентация вновь делает присутствующим, “ре-презентирует” объект, который *отсутствует*. Историческое повествование делает то же самое: оно выступает заменителем, заменой отсутствующего прошлого. И все усилия историка направлены на то, чтобы эта задача замены отсутствующего прошлого была выполнена как можно лучше. Поэтому если мы хотим понять (историческое) повествование и как оно соотносится с (прошлой) реальностью, мы должны поставить вопрос о том, как репрезентация соотносится с тем, что она репрезентирует. (Историческое) повествование можно понять только в рамках логики репрезентации.

Во-вторых, эту логику репрезентации нельзя никогда понять на основе логики истинного единичного высказывания. Между ними есть бесспорное различие. Возьмем такое истинное единичное высказывание, как “Ева прекрасна”. В этом высказывании мы всегда сможем выделить два компонента: один компонент, который обозначает (“Ева”) и другой, который приписывает свойство тому, что обозначается (“...прекрасна”). Референцию и предикацию вполне можно уподобить шурупам, прочно прикрепляющим к миру истинное высказывание. Однако в случае репрезентации такие “шурупы” отсутствуют. Представьте, к примеру, фотографию или картину. На них нельзя указать компонентов, которые только обозначают и которые только приписывают определенные

* Речь идет об этимологии английского слова “representation”, образованного от “present”, одно из значений которого — присутствующий, наличный, настоящий. — Прим. ред.

свойства обозначаемому. То же самое верно и для исторического повествования. Например, в повествовании о Великой французской революции было бы невозможно указать те элементы, которые обозначают данное историческое явление, и те, которые приписывают ему свойства.

Таким образом, отношение между репрезентацией и тем, что она репрезентирует, отличается от отношения между истинным высказыванием и тем, относительно чего оно является истинным. В репрезентации есть неопределенность, которая не имеет своего аналога в случае истинного высказывания. И, наконец, именно поэтому нам нужна философия (исторического) повествования, в которой признается, что нарративная репрезентация ставит перед нами ряд философских проблем, отличающихся и несводимых к тем, на которые направлен эпистемологический анализ истинного единичного высказывания.

Все это образует фон, на котором следует рассматривать эту книгу. В ней, главным образом, исследуется отношение между репрезентируемым и его репрезентацией, а также то, благодаря чему одна историческая репрезентация является лучше другой, выполненной приблизительно на ту же историческую тему. Ответ на первый вопрос состоит в том, что отношение между нарративной репрезентацией и тем, что она репрезентирует, поможет нам прояснить понятие метафоры. Возьмем метафору "Земля — это космический корабль". Эта метафора предлагает нам взглянуть на нашу Землю как на космический корабль, предписывая упорядочить соответствующим образом наше знание о Земле и организовать его как связанное целое, которое может даже подсказывать определенное направление (политических) действий. Очевидно, всего этого нельзя было бы сказать об истинном единичном высказывании. И почти все это верно для исторического повествования: оно также предлагает нам взглянуть на прошлое с определенной исторической точки зрения, оно также позволяет определенным образом упорядочить все наше знание о соответствующем фрагменте прошлого, включив его (знание) в связанное целое или единство. В этом смысле историческое повествование является по существу метафорическим: подобно тому, как метафора "Земля — это космический корабль" предлагает нам говорить о Земле в свете космического корабля,

так и историческое повествование предлагает нам говорить в его собственном свете. Следовательно, отношение между историческим повествованием и (прошлой) реальностью, между нарративной репрезентацией и тем, что она репрезентирует, является метафорическим и должно анализироваться соответствующим образом.

Отсюда затем можно вывести концепцию нарративного успеха, позволяющую объяснить, что делает одно историческое повествование убедительнее и лучше другого. Начнем с того, что историческое повествование, в действительности, принадлежит к двум областям. Поскольку оно состоит из высказываний, описывающих прошлое, оно принадлежит к области буквальной истины, т.е. к тому, что можно утверждать с помощью истинных высказываний о мире; если же историческое повествование рассматривать как целое, оно принадлежит к области метафоры, как мы только что видели. Следовательно, чем сильнее метафорическое измерение по отношению к буквальному, тем лучше повествование как повествование. Повествование, легко распадающееся на свои буквальные составляющие, устроит нас в меньшей степени, чем повествование, успешно преодолевающее буквальность. И мера этого успеха определяется тем, насколько удалось достичь такого понимания прошлого, которое нельзя свести к тому, что буквально говорится о прошлом в этом повествовании. Ибо в той мере, в которой такая редукция является возможной, нарративное измерение вынуждено будет уступать буквальному измерению.

Иначе говоря, наилучшим историческим повествованием является то, в котором предполагаемое понимание целого выражено наиболее четко. Но вместе с тем это также наиболее рискованное и смелое повествование. Ибо не будет никакого риска в том случае, если не предлагается никакого понимания целого и если нарратив легко распадается на истинные единичные высказывания о прошлом. Перечень истинных высказываний — это всего лишь перечень истинных высказываний, и здесь не может быть проблем. Однако историк, использующий истинные высказывания, чтобы предложить в отношении прошлого нечто такое, что не имеет поддержки в самих этих высказываниях, рискует предложить образ прошлого, не согласующийся с тем, каким было

прошлое. Никаким количеством исторических исследований нельзя опровергнуть простой перечень истинных высказываний. Но метафорическое, нарративное измерение можно опровергнуть таким образом.

В итоге, отсюда следует обращенный к историкам призыв рисковать как можно больше, а, стало быть, создавать наиболее невероятное или наиболее неправдоподобное повествование о прошлом — с той существенной оговоркой, что это повествование, не должно быть опровергнуто прошлым или будущим историческим исследованием. Словом, будьте смелыми, но никогда не забывайте о том, что риск, который вы на себя берете, должен быть *обдуманным* риском.

Именно в этом написании истории удивительно совпадает с тем, как Карл Поппер представлял природу научных теорий. Ведь, если вспомнить, Поппер критиковал ту точку зрения логических позитивистов, что вероятность является надлежащим критерием обоснованности научных теорий. Поппер возражал, что логико-позитивистский критерий вероятности возводит такие “теории”, как, например, “завтра пойдет или не пойдет дождь”, в идеал научной обоснованности. Но подобные теории бесполезны, а ученые, считающие их своей высшей и окончательной целью, никогда не внесут никакого вклада в научное познание. Но возьмем для контраста теорию относительности Эйнштейна. Эта теория была очень невероятной, чтобы быть истинной: она противоречила всему, во что верили физики со времен Ньютона. И все же, как ни старались опровергнуть эту новую теорию, сделать это оказалось невозможно.

Вот такой, по общему признанию, “рискованный” тезис я отстаиваю в этой книге о природе исторического повествования.

Франк Анкерсмит
17 марта 2003 г.

Введение

Философия исторического *нарратива* родилась примерно 10 лет тому назад из растущего чувства неудовлетворенности традиционной философией истории. Было ощущение, что дискуссии вокруг модели “охватывающих законов”, роли ценностей в историографии и герменевтической теории не затрагивают наиболее существенных проблем исторического знания. Хотя эти традиционные дискуссии, несомненно, сыграли определенную роль в изучении природы исторического исследования, проблема, касающегося того, как историк с помощью *повествования* интерпретирует результаты исторического исследования, была почти полностью оставлена без внимания. Это упущение кажется тем более серьезным, что именно в этом, скорее всего, и заключается сущность исторического знания: в историографии ценность исторического сочинения определяется не столько фактами, открытыми в нем, сколько нарративной интерпретацией этих фактов.

Почти вся литература по историческому нарративу существует в виде статей. Статьи эти могут быть большими и маленькими, они даже могут — как в случае проницательного исследования Луи Минка — складываться в более обширный анализ нарратива. Однако они не дают всестороннего понимания того, что составляет природу и задачи нарративистской философии. Еще сохраняется некоторая неопределенность, некоторая расплывчатость, которая препятствует проведению по-настоящему полного изучения нарратива. Данная книга во многом является попыткой исправить это положение дел. Я постарался выяснить происхождение присущих историческому нарративу внутренних сложностей, дойдя до твердого основания, которое образует философская логика. Опираясь на это предельное основание, я надеюсь возвести здание нарративистской философии, достаточно прочное и устойчивое для того, чтобы выдержать груз историографической практики.

Даже если это здание, в конечном итоге, окажется не столь прочным, как мне бы хотелось, я буду вполне удовле-

творен, если читатель признает, что я вел поиск основания в правильном направлении и верно определил связующие элементы нарративной структуры, которые в наибольшей степени заслуживают нашего внимания и осмысления. Я сочту, что книга решила свою задачу, если читатель согласится с тем, что были поставлены правильные вопросы, пусть даже мои ответы покажутся ему не вполне убедительными.

Теперь я в общем виде представляю основной ход рассуждений в данной книге. В главе I обсуждается ряд предварительных вопросов: отдается предпочтение логическому подходу к нарративу перед психологистическим, формулируется определение нарратива, и проводится граница между нарративом и всеми другими повествовательными жанрами путем сопоставления его с ближайшим жанром, а именно историческим романом.

II глава — *démolir pour mieux bâtir*^{*}. В ней перечисляются достоинства и недостатки имеющихся работ по нарративу: становится понятной необходимость другого подхода.

В главе III утверждается, что проблемы нарратива имеют самостоятельный характер: их нельзя свести к проблемам, касающимся высказываний. Следовательно, можно показать, что понятия “истинность и/или ложность нарративов” лишены смысла.

В главе IV делаются первые шаги в направлении нарративистской философии. В этой главе разбирается вопрос о “нарративном реализме”: нарратив нельзя назвать “картиной” или “образом” прошлого ни в одном из принятых значений этих слов. Этот тезис — первая из трех основных опор, поддерживающих возводимое здесь здание теории нарратива. Нарративный идеализм провозглашает автономность нарратива: в нарратива прошлое описывается с помощью сущностей, которыми не обозначаются вещи или аспекты прошлого. Построение и использование этих сущностей в нарративе подчиняется правилам, которые не являются простым отражением закономерностей, существующих в прошлом, но имеют свой собственный статус. Эти сущности воплощают то, что обычно называют “тезисами о прошлом”, — здесь следует вспомнить о широких панорамных интерпретациях больших

^{*} Разрушить, чтобы лучше построить (франц.). — Прим. перев.

фрагментов прошлого (например представление о том, что в конце XVIII века имела место “промышленная революция” или что XVII век был периодом кризиса).

Утверждение о том, что нарративная историография, по сути, предлагает подобный “тезис о прошлом” (которому в этой работе будет дано название “нарративная субстанция”), является второй опорой под нашим зданием теории нарратива. В главе V понятие нарративной субстанции защищается от ряда возможных возражений. По ходу рассмотрения этих возражений проясняется природа нарративной субстанции. В главе VI описываются некоторые присущие нарративной субстанции логические характеристики. Подчеркивается, что теория суждений Лейбница, основанная на так называемом принципе “*praedicatum inest subjecto*”, особенно полезна для понимания нарративной логики. Показывается, что нарративные субстанции не обозначают прошлое (или его аспекты) и что два способа выделения типов нарративных субстанций объясняют различие, существующее между такими понятиями, как “Ренессанс” или “Просвещение” (которые не обладают способностью отсылать к реальности), и такими понятиями, как “этот стул” или “этот человек” (которые обладают этой способностью). Становится ясно, что все это имеет свои последствия для понятия тождественности личности: в одном из своих вариантов употребления слово “я” обозначает “нарративную субстанцию”. В главе VII показывается, что имеется близкое сходство между метафорой и нарративом: в обоих случаях задается “точка зрения”, с которой нам предлагается смотреть на реальность. И здесь, наконец, мы имеем третью опору, поддерживающую нарративистскую философию. Стоит подчеркнуть, что все эти три основополагающих принципа нарративистской философии выводятся из одного простого факта, а именно что нарратив складывается из единичных констатирующих высказываний о состояниях дел в прошлом.

Два следствия из нарративистской философии, какой она была представлена в главах с IV по VII, раскрываются в последней главе этой книги. Я утверждаю, что множество одних лишь единичных высказываний может иметь объяснительную силу: нет необходимости ни явным, ни неявным образом

^{*} Предикат содержится в субъекте (лат.). — Прим. перев.

прибегать к общим высказываниям, чтобы дать логически приемлемое историческое объяснение. Кроме того, я заявляю, что из двух конкурирующих нарративов (содержащих только истинные высказывания о прошлом) нам всегда следует отдавать предпочтение той, которая является наиболее смелой и рискованной. Здесь прослеживается очевидная параллель с идеей Поппера о том, что следует всегда искать научную теорию с наибольшей степенью фальсифицируемости, поскольку «чем больше высказывание запрещает, тем больше оно сообщает о мире опыта»¹. Довольно странно, что современная философия истории никогда не проявляла большого интереса к тому, что заставляет историков отдавать предпочтение одной интерпретации прошлого перед другой.

В целом же, нарративистская философия враждебно относится как к попыткам превращения истории в «социальную науку», так и к различным видам спекулятивной философии истории (как будет показано далее, оба этих подхода к истории имеют разительное сходство), а также и к герменевтической теории. Социальные науки могут гораздо большему научиться у истории, чем история у социальных наук. Историография представляет в чистом виде множество методологических проблем, которые терзают социальные науки. При этом нарративистская философия демонстрирует тесную связь с историзмом, который отстаивали такие авторы, как Л. Ранке, К. Майнеке или Й. Хейзинга и которому следуют такие современные историки, как Л. Февр, Ф. Бродель или Х. Тревор-Ропер (иными словами, не с историцизмом, который резко критиковал Поппер в своей известной книге²). Не будучи сторонником историзма, невозможно писать историю так,

как ее пишут 90% всех живущих историков. Однако историзм как теория историописания в некоторых отношениях нуждается в исправлении.

Я могу предположить, что у читателя, воспитанного в традициях современной аналитической философии, стиль данного исследования будет вызывать недовольство. В данной книге рассматривается взаимозависимость большого числа философских проблем (таких как референция, тождество, метафора, объяснение и т.д.). Кто-то может резонно заметить, что подобные проблемы должны изучаться по отдельности. В пользу данного возражения может говорить то, что если я подвожу так много различных философских феноменов под один общий знаменательно, предпринятый мной анализ вряд ли окажется честным и беспристрастным. Соображения, совершенно чуждые исследуемой проблеме, будут склонять меня к какому-то конкретному решению. Подробность будет попорана системой. Вследствие этого меня могут даже обвинить в попытке возродить тот вид системосозидания, который так исказил облик немецкой идеалистической философии. Действительно, существует явное различие между современной англосаксонской философией, которая по большей части строго ориентирована на решение проблем и стремится решать их путем максимального обособления друг от друга, и более синтетическим подходом, которому следую я.

Мне хотелось бы высказать в свою защиту следующие два замечания: первое касается природы данного исследования, второе — природы философского исследования в целом. Во-первых, нарратив подобен механизму, который работает только благодаря своим составным частям, поэтому вполне можно ожидать, что нарративистская философия, по сути, является изучением этих составных частей в их взаимосвязи. Во-вторых, современная аналитическая философия языка, по-видимому, исходит из эмпиризма, во многих отношениях подобного тому, который отстаивали в XVII и XVIII вв. в связи с естественными науками. Науки, как полагали в те дни, должны стремиться ни больше ни меньше, как к сбору огромного числа разрозненных истин о природе. Бэкон, несомненно, прекрасный тому пример. «Философские исследования» Л. Витгенштейна являются наиболее ярким свидетельством того, к чему может привести подобный подход в философии

¹ Поппер К. Логика научного исследования // Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. С. 158.

² Ср. Поррет (2): в особенности главу IV. Необходимо отметить, что в настоящей книге термин «историцизм» будет использоваться исключительно для обозначения разных вариантов спекулятивной философии истории, которые разрабатывались, например, Гегелем, Марксом, Шпенглером или Тойнби; тогда как слово «историзм» будет использоваться для обозначения представлений об историописании, сформулированных, например, Гумбольдтом, Ранке, Хейзингой и Майнеке; идейные истоки этих представлений в мысли XVIII века были прослежены Майнеке в книге: Meinecke F. *Die Entstehung des Historismus*. München, 1965 (1st ed. 1936).

языка: хотя некоторые общие представления и угадываются за непретенциозными и разрозненными параграфами этой книги, они лишь изредка формулируются в явном виде, поскольку, по мнению Витгенштейна, *point de départ* подлинного философского исследования служит нечто иное. Он рассматривает философию как инструмент, который может помочь нам во всех тех случаях, когда язык выходит за надлежащие рамки. И как не существует лекарства, способного излечить все болезни, так и в рамках подобного понимания философии нет места общим взглядам.

Какими бы привлекательными чертами ни обладал такой эмпиризм *in philosophicis*¹, это не доказывает отсутствия каких-либо разумных оснований, чтобы в нем усомниться. Большая часть имеющегося у нас надежного научного знания и его стремительный рост за последние двести лет является результатом усилий ученых, стремящихся открыть нечто общее в очень разрозненных явлениях реальности. Почему бы и в философии нам не последовать тем же путем? Если отказ от чистого эмпиризма оказался необходимым условием не только для впечатляющего развития науки со времен Ньютона, но также и для верного понимания этого развития, почему же философы должны довольствоваться нетеоретическим анализом разрозненных языковых явлений? Разве «синтетическая философия языка» (если в виде исключения всерьез отнестись к этому названию) не может иметь, по крайней мере, некоторые преимущества перед «аналитической философией языка»? Надеюсь, что эта книга сможет подвести к положительному ответу на этот вопрос.

Я хотел бы поблагодарить проф. Я. Й. А. Моея, моего наставника в вопросах философии, за его неустанную критику по ходу написания этой книги. Благодаря его любви к точности, крепкому здравому смыслу и философской проницательности было устранено множество неясностей и философских *gaffes*². Моя признательность проф. Э. Х. Коссмманну другого рода. Еще в студенческие годы на меня произвел неизгладимое впечатление его подход к истории. Когда я размышлял

над проблемами, рассматриваемыми в данной книге, то именно его подход к написанию истории — разумный, панорамный и глубокий — я постоянно имел в виду. Более того, всякий раз когда меня подстерегала опасность увлечься теоретизированием, этот подход заставлял вспомнить о суровых реалиях историографической практики. Особые слова благодарности заслуживает проф. У.Х. Уолш: он прочитал мою рукопись, подготовленную для издательства «Нийхоф», и предложил ряд чрезвычайно важных поправок. Большинство проблем, рассматриваемых в книге, я обсуждал с моим лучшим другом Япом ден Холландером; наши беседы всегда были для меня прекрасным стимулом к размышлению, и я хотел бы поблагодарить его за поддержку.

¹ Исходная точка (франц.). — Прим. перев.

² В философии (лат.). — Прим. перев.

³ Оплошности (франц.). — Прим. перев.

(1) *Вводные замечания.* Эта книга представляет собой исследование логической структуры нарративной историографии (термин “логический” необходимо понимать в широком смысле, включающем область “философской логики”)¹. Предметом нашего анализа будет нарративная историография, какой она была и есть, а не какой должна быть. Я попытаюсь определить правила написания истории не в целях изменить историографию к лучшему. Историография в том виде, в каком она сейчас существует, как мне представляется, создает безупречный, хотя и довольно своеобразный вид знания. Те, кто думают иначе, на мой взгляд, обычно недостаточно осознают строгую логическую структуру языка историографии. Разве историография не доступна пониманию каждого из нас, даже если мы и не знаем, почему она нас устраивает? Философ истории, неудовлетворенный нарративной историографией из-за того, что не может объяснить, почему она понятна ему, превращает свою неспособность постичь природу нарративной историографии в критику изучаемой им дисциплины. А это не тот путь, по которому следует идти в философии истории.

Здесь можно было бы возразить, что определение правил написания истории равносильно выбору некоторой нормативной позиции, поскольку такие правила всегда устанавливают, как *следует* писать историю. Но мне кажется, что это придало бы слишком большой вес значению слова “нормативный”. Мы не можем сказать, что нарративную историю следует писать в соответствии с этими логическими правилами, так как это означало бы, что существуют исторические нарративы, в которых эти правила не соблюдаются. Но такое невозможно. Тот, кто систематически нарушает правила арифметики, уже больше не занимается арифметикой.

¹ Стросон определяет предмет философской логики во введении к своей книге: P.F. Strawson. *Philosophical Logic*. Oxford, 1973.

Наше исследование будет ограничено письменными текстами. Иными словами, исторические фильмы или пьесы будут исключены из рассмотрения. Фильм или пьеса создаются так, чтобы у зрителя возникло впечатление, будто он присутствует на месте действия. Зритель выполняет роль пассивного участника. Поэтому изображение социально-исторической реальности, предлагаемое историческими фильмами или пьесами, еще не упорядочено в форме повествования. Это не противоречит тому факту, что драматурги или кинематографисты зачастую стремятся максимально облегчить для зрителя задачу перехода от простого просмотра пьесы или фильма к созданию его нарративной интерпретации. И только тогда, когда совершается этот шаг, то есть когда мы записываем, что произошло в данном фильме или пьесе, появляется нарративная структура. Короче говоря, историческим пьесам и фильмам можно дать интерпретацию в виде нарративной структуры или их можно преобразовать в нарративную структуру, но сами они не имеют таких структур. И даже тот факт, что такие фильмы или пьесы могут быть инсценировками написанных (исторических) повествований, ничего не меняет.

Но как насчет сценария фильма или текста пьесы? Разве мы не должны рассматривать их как исторические повествования? Возьмите исторический факультет, на котором занимаются только текстами, написанными или произнесенными людьми прошлого; например, речь может идти об истории идей или истории философии. Аналогия со сценариями здесь очевидна: и в том, и в другом случае нас интересуют слова, которые действительно были сказаны людьми прошлого. Представьте себе историческое сочинение, состоящее исключительно из цитат, заимствованных из работ одного или нескольких философов. Подобный ряд цитат может иметь своим источником структуру некоторого повествования, в котором эти цитаты упорядочены, или четко предполагать такое упорядочение, но — и это очень важно — сам он не имеет структуры повествования. Поэтому ни одно историческое повествование не может состоять исключительно из цитат. И мы можем сделать вывод, что нам не следует рассматривать сценарии исторических фильмов и тексты исторических пьес в качестве исторических повествований.

Когда я говорю, что в этой книге речь пойдет о логической структуре исторического повествования, я претендую одновременно на слишком многое и слишком малое. Мои притязания “слишком малы”, так как то, что будет сказано в последующих главах, несомненно, в значительной степени имеет отношение ко всем случаям нарративного использования языка, которое, например, мы встречаем в романах, журналах, учебниках и тому подобном (т. е. не только в исторических сочинениях). Представляется вполне обоснованным допущение, что исторический язык является прототипом всех повествовательных жанров: только после того, как люди научились говорить о своем личном или коллективном прошлом, стали возможны миф, поэзия и художественная литература. Наше прошлое является наиболее удобной матрицей для овладения способностью упорядочивать высказывания о реальности последовательным образом. И мы можем сделать вывод, что философия истории и, в частности, нарративистская философия будут иметь принципиальное значение для языкознания и изучения художественной и нехудожественной литературы.

Что касается “слишком многого” в моих притязаниях, то это потребует более развернутого объяснения. В немецкой и голландской философии истории часто проводится различие между “*gescheiksvorsing*” и “*geschiedschrijving*”, т. е. между “историческим исследованием” и “нарративнымписанием истории”. Понятие “историческое исследование” говорит о стремлении историка установить исторические факты с максимальной точностью. Когда историк занимается собственно историческим исследованием, его можно сравнить (используя знаменитый образ Коллингвуда) с детективом, пытающимся найти убийцу Джона Доу³: он хочет знать, что в действительности произошло, кто что сделал или написал, как следует интерпретировать тексты и т.д. Целый ряд “вспомогательных

² Huizinga (2), p. 110; это же различие проводит и Дж. Элтон в книге: G.R. Elton. *The Practice of History*. L., 1967. P.160 ff.; см. также H.I. Marrou. *De la connaissance historique*. P., 1973. P. 30.

³ Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография/ Пер. и коммент. Ю.А. Асеева. М., 1980. См. Ч.V, § 3. Доказательство в исторической науке. VII. Кто убил Джона Доу. С. 253—256.

дисциплин” (в числе которых наиболее выделяется современная социо-экономическая история) был разработан для того, чтобы помочь историку в его стремлении установить факты. Но деятельность историка отнюдь не ограничивается поиском фактов или детективным расследованием. Установление фактов представляет собой лишь предварительную стадию в решении задачи, которую ставит перед собой историк. Ибо для него истинная проблема заключается в том, как объединить эти факты в последовательное историческое повествование. Именно это я и называю “нарративнымписанием истории”.

Я в полной мере отдаю себе отчет в том, что по целому ряду хорошо известных причин, которые нет необходимости здесь перечислять, невозможно провести четкую грань между историческим исследованием и нарративнымписанием истории. Без сомнения, поиск и описание фактов обычно производится только в рамках определенной нарративной интерпретации. С другой стороны, именно факты в значительной степени определяют, какой в результате будет нарративная интерпретация прошлого. Но было бы ошибкой переоценивать эту ситуацию (как это свойственно наиболее крайним сторонникам когерентной теории истины) и в силу невозможности проведения четкой грани между историческим исследованием иписанием истории делать вывод о том, что их вообще не следует различать⁴. Сама историографическая практика предоставляет нам убедительные свидетельства против такой излишне драматизированной точки зрения. Есть немало историков, проявляющих интерес исключительно к историческому исследованию: они занимаются тем, что устанавливают, как те или иные города или монастыри приобретали юридические и феодальные права, как

⁴ Подобные крайние взгляды относительно когерентной теории истины отстаивал Оукшот: он утверждал, что наше фактическое знание прошлого (область исторического исследования) в такой же мере является конструкцией историка, как и нарративная интерпретация исторических фактов (область написания истории). См.: M. Oakeshott. *Experience and Its Modes*. Cambridge, 1978 (1st ed. 1933). Ch.III. Подобная точка зрения ведет к размыванию границы между историческим исследованием иписанием истории. Дальнейшее развитие “конструктивизма” Оукшотта можно обнаружить в книге J.W. Meiland. *Scepticism and Historical Knowledge*. New-York, 1965. P.41—63.

возводились исторические памятники, как заключались дипломатические договоры; они изучают изменение цен на хлеб, а также рост или уменьшение населения в разных областях. Кроме того, этот “детективный” подход к прошлому составляет существо работы археолога. С другой стороны, есть историки с более синтетическим складом ума; в полную меру своих сил и способностей они стараются объединить факты, обнаруженные в ходе исторического исследования, в большие панорамные картины прошлого (или фрагментов прошлого). Их интересуют не столько сами факты или даже их правильное истолкование, сколько вопрос о том, что может быть наиболее приемлемым изображением или суммативным изложением фрагментов прошлого. Перед ними стоит проблема, как следует писать историю прошлого в нарративной форме или какой из нарративов предлагает лучшую интерпретацию прошлого (или фрагментов прошлого).

Каждый, кто обладает хотя бы поверхностным знанием о ремесле историка, сможет провести различие между этими двумя типами историков, а также между историческими сочинениями, которые они создают. Разница между большинством трудов Тревова-Ропера или Тальмона, с одной стороны, и диссертационными исследованиями, выполненными в школе Анналов, с другой, очевидна для всех, хотя я признаю, что некоторые исторические сочинения трудно отнести к какой-то одной из этих двух групп. Но это не довод против их различия: даже если нельзя с точностью сказать, где кончается и начинается туловище, их анатомическое различие не вызывает никаких возражений.

Практически вся современная философия истории занимается философскими проблемами исторического исследования (“что такое исторический факт?”, “как можно объяснить факты?”, “как ценности влияют на описание исторических фактов?”), а результаты, достигнутые в этой области, не могут не впечатлять. Безусловно, современная философия истории — это плодотворно развивающаяся дисциплина, и ряд недавних изысканий значительно расширил наше понимание природы исторического исследования. Тем не менее, вызывает сожаление то обстоятельство, что нарративное написание истории осталось без внимания. Это и послужило одним из главных мотивов для создания этой книги. Другим мотивом

стало то, что, по моему убеждению, философские проблемы, возникающие в связи с нарративным написанием истории, являются более существенными, чем принято сейчас думать. К сожалению, я не могу объяснить на этой начальной ступени моего исследования, почему философский анализ нарративного написание истории столь важен для правильного понимания природы исторического знания. В определенном смысле эта работа — наилучшее подтверждение, которое я могу привести в пользу этого положения. Так что я прошу читателя воздержаться от выводов до конца книги.

Попытки проанализировать нарративное написание истории принадлежат к относительно недавнему времени. Они не всегда получали одобрение. Сейчас я рассмотрю ряд критических замечаний в адрес предлагаемого здесь нарративистского подхода. Во-первых, Мандельбаум⁵ обосновывал, что нарративное представление прошлого неизбежно ограничивается сферой интенциональной деятельности человека. А со времен Гегеля (или, скорее, Бернарда Мандевиля⁶) нам из-

⁵ M. Mandelbaum. A Note on History as Narrative, in *History and Theory*. 1967. Vol. 4. P. 413—420. С другой стороны, Олафсон обвиняет нарративистов вроде Данто в исключении сферы интенциональных человеческих действий из нарративного описания прошлого. Он пишет, что исторические лица, действия которых описываются в нарративе, “в конце концов, не могут действовать в соответствии с правилами [т.е. в соответствии с “охватывающими” законами], которые формулируются в терминах, незнакомых [самим этим лицам] или недоступных их пониманию”. F.A. Olafson. Narrative History and the Concept of Action, in *History and Theory*. 1970. Vol. IX. P. 271.

⁶ Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Пер. А.М. Водена. СПб., 1993. С. 79—80: “... из вышеуказанного соотношения вытекает, что во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получают еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты о которых они непосредственно знают и которых они желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения”. Уже Мандевилл в своей книге “Басня о пчелах, или пороки частных лиц — блага для общества” сосредоточил внимание на непреднамеренных последствиях наших действий. Одна из загадок современной философии истории связана с тем, что этот старый и почтенный аргумент, без сомнения, подрывающий герменевтическую теорию во всех ее современных вариантах (таких как теория “воспроизведения прошлого опыта” Коллингвуда, теория “рационального объяснения дей-

возводились исторические памятники, как заключались дипломатические договоры; они изучают изменение цен на хлеб, а также рост или уменьшение населения в разных областях. Кроме того, этот "детективный" подход к прошлому составляет существо работы археолога. С другой стороны, есть историки с более синтетическим складом ума; в полную меру своих сил и способностей они стараются объединить факты, обнаруженные в ходе исторического исследования, в большие панорамные картины прошлого (или фрагментов прошлого). Их интересуют не столько сами факты или даже их правильное истолкование, сколько вопрос о том, что может быть наиболее приемлемым изображением или суммативным изложением фрагментов прошлого. Перед ними стоит проблема, как следует писать историю прошлого в нарративной форме или какой из нарративов предлагает лучшую интерпретацию прошлого (или фрагментов прошлого).

Каждый, кто обладает хотя бы поверхностным знанием о ремесле историка, сможет провести различие между этими двумя типами историков, а также между историческими сочинениями, которые они создают. Разница между большинством трудов Тревора-Ропера или Тальмона, с одной стороны, и диссертационными исследованиями, выполненными в школе Анналов, с другой, очевидна для всех, хотя я признаю, что некоторые исторические сочинения трудно отнести к какой-то одной из этих двух групп. Но это не довод против их различия: даже если нельзя с точностью сказать, где кончается шея и начинается туловище, их анатомическое различие не вызывает никаких возражений.

Практически вся современная философия истории занимается философскими проблемами исторического исследования ("что такое исторический факт?", "как можно объяснить факты?", "как ценности влияют на описание исторических фактов?"), а результаты, достигнутые в этой области, не могут не впечатлять. Безусловно, современная философия истории — это плодотворно развивающаяся дисциплина, и ряд недавних изысканий значительно расширил наше понимание природы исторического исследования. Тем не менее, вызывает сожаление то обстоятельство, что нарративноеписание истории осталось без внимания. Это и послужило одним из главных мотивов для создания этой книги. Другим мотивом

стало то, что, по моему убеждению, философскими проблемами, возникающие в связи с нарративнымписанием истории, являются более существенными, чем принято сейчас думать. К сожалению, я не могу объяснить на этой начальной ступени моего исследования, почему философский анализ нарративного написания истории столь важен для правильного понимания природы исторического знания. В определенном смысле эта работа — наилучшее подтверждение, которое я могу привести в пользу этого положения. Так что я прошу читателя воздержаться от выводов до конца книги.

Попытки проанализировать нарративноеписание истории принадлежат к относительно недавнему времени. Они не всегда получали одобрение. Сейчас я рассмотрю ряд критических замечаний в адрес предлагаемого здесь нарративистского подхода. Во-первых, Мандельбаум⁵ обосновывал, что нарративное представление прошлого неизбежно ограничивается сферой интенциональной деятельности человека. А со времен Гегеля (или, скорее, Бернарда Мандевиля⁶) нам из-

⁵ M. Mandelbaum. A Note on History as Narrative, in *History and Theory*. 1967. Vol. 4. P. 413—420. С другой стороны, Олафсон обвиняет нарративистов вроде Данто в исключении сферы интенциональных человеческих действий из нарративного описания прошлого. Он пишет, что исторические лица, действия которых описываются в нарративе, "в конце концов, не могут действовать в соответствии с правилами [т.е. в соответствии с "охватывающими" заветами], которые формулируются в терминах, незнакомых [самим этим лицам] или недоступных их пониманию". F.A. Olafson. Narrative History and the Concept of Action, in *History and Theory*. 1970. Vol. IX. P. 271.

⁶ Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Пер. А.М. Водена. СПб., 1993. С. 79—80: "... из вышеуказанного соотношения вытекает, что во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получают еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты о которых они непосредственно знают и которых они желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения". Уже Мандевилль в своей книге "Басня о пчелах, или пороки частных лиц — блага для общества" сосредоточил внимание на непреднамеренных последствиях наших действий. Одна из загадок современной философии истории связана с тем, что этот старый и почтенный аргумент, без сомнения, подрывающий герменевтическую теорию во всех ее современных вариантах (таких как теория "воспроизведения прошлого опыта" Коллингвуда, теория "рационального объяснения дей-

вестно, что многое в человеческой истории нельзя адекватно объяснить одними лишь мотивами и намерениями людей. Очень часто, а возможно, и в большинстве случаев историки описывают или объясняют прошлое при помощи понятий и теорий, о которых не было известно самим историческим действующим лицам. С этим положением я полностью согласен. Но я не понимаю, почему нарративной историографии не позволено выходить за пределы интенциональной деятельности человека. И хотя здесь я могу предложить только весьма приблизительное определение области применения нарративистской философии, совершенно бесспорно можно утверждать, что эта философия исследует вопрос о том, как историки объединяют множество исторических фактов в одно синтетическое целое (например в “промышленную революцию” или “холодную войну”). Нет никаких причин ограничивать эти “исторические факты” теми мыслями, которые приходили в голову отдельным историческим деятелям. Как бы там ни было, в этой книге разрабатывается тот тип нарративистской философии, в котором никогда не проводится такое ограничение. И я хотел бы добавить, что нарративистская философия, как она здесь предлагается, даже весьма враждебно относится к тем герменевтическим тенденциям, в которых ее обвиняет Мандельбаум.

В своей недавней книге Мандельбаум упомянул еще об одной трудности, связанной, по его мнению, с нарративистским подходом. Нарративизм, говорит он, предполагает, что исследование не является необходимым для написания истории. Его доводы, по-видимому, строятся на том, что только в отношении *вымышленных* событий могут быть предложены нарративные описания. Несомненно, что нарративистская философия не занимается вопросом о том, как можно устанавливать исторические факты — это находится в ведении философии исторического исследования. Но это ни в коей мере не навязывает нарративистской философии ту точку зрения, что историк волен фабриковать исторические факты. Критика нарративистской философии Мандельбаумом тем бо-

стей” Дрея и теории телеологического объяснения, сформулированные фон Бриггом и Мартином), никогда всерьез не рассматривался философами герменевтической традиции.

лее удивительно, что в конце своей книги он подходит к этой философии ближе, чем большинство современных философов истории¹.

Сходные доводы были выдвинуты А.Дж. Голдстейном. Внутри исторического сочинения он проводит различие между “суперструктурой” и “инфраструктурой”. Термин “суперструктура” относится к нарративной форме, которую обычно имеют исторические описания прошлого; термин “инфраструктура” относится к общей совокупности исследовательских приемов, которые историк применяет в своем анализе прошлого. Все развитие историографии, говорит Голдстейн, происходило благодаря эволюционным изменениям в инфраструктуре, тогда как суперструктура оставалась, по существу, неизменной со времен Фукидида. И это подводит Голдстейна к выводу, что только исследование инфраструктуры может представлять настоящий интерес для философа истории. Я не согласен с этим. Если нарративная форма, в которую историк облакает свои описания прошлого, неподвержена изменениям, мне представляется совершенно очевидным, что именно она и должна быть наиболее важным ключом к пониманию природы исторического знания.

Существует еще одно возражение против нарративистской философии, которое ставит куда больше проблем. Оно заключается в том, что так называемая “нарративная историография” составляет лишь незначительную, и к тому же устаревшую, часть историографии. Такие книги, как “Осень Средневековья” Хейзинги или знаменитый труд Броделя “Средиземное море и мир средиземноморья в эпоху Филиппа II”, не являются рассказом или повествованием в собственном смысле слова². Если даже такие книги не имеют нарративного характера, то, безусловно, можно ожидать, что то же

¹ M. Mandelbaum. *The Anatomy of Historical Knowledge*. L., 1977. P. 25. В своей рецензии на книгу Мандельбаума Л.О. Минк убедительно показывал, насколько близко содержание книги Мандельбаума к нарративному подходу к истории. (L.O. Mink. Maurice Mandelbaum. *The anatomy of Historical Knowledge*, in *History and Theory*. 1978. P. 211—233.). См. также Ankersmit (2).

² L. J. Goldstein. *Historical Knowing*. Austin; L., 1976. Ch. V.

³ W.H. Dray. On the Nature and Role of Narrative in Historiography, in *History and Theory*. 1971. Vol. X. P. 153—171; R.G. Ely, R. Gruner, W.H. Dray. Mandelbaum on Historical Narration, in *History and Theory*. 1969. Vol. VIII. P. 275—294. и др.

самое верно и в отношении современной проблемно-ориентированной исторической литературы. Это возражение не столько ошибочно, сколько высказано не по адресу. Оно возникло из-за неверных ассоциаций, которые, по общему признанию, может вызывать "нарратив". Многие люди, услышав слово "нарратив", в первую очередь вспоминают об историографии, написанной по образцу художественной литературы. Они склонны думать, что такие книги, как "Пармская обитель" Стендаля или "Дэвид Коперфильд" Диккенса, являются идеальными образцами нарративной художественной литературы и наиболее ясно показывают, что представляют собой нарративные структуры. Поэтому нарративная историография легко ассоциируется, скажем, с биографиями или книгами по истории дипломатических отношений и военных побед. Утверждается также, что современная историография по большей части изучает проблемы, касающиеся характера определенных исторических периодов, тогда как нарративистская философия в лучшем случае может дать объяснение немного старомодному типу исторических сочинений, в которых описывается некоторое диахроническое развитие. Однако, как покажет предлагаемый мной анализ, именно этот современный, не связанный с рассказом, подход к истории, который можно назвать "многоплановым", в наибольшей степени согласуется с нарративистской философией. Главная причина этой необычной ситуации состоит в том, что нарративистскую философию больше интересует (логическая) природа языковых сущностей, используемых при рассмотрении прошлого (таких как "нации", "интеллектуальные направления" или "настроения умов"), чем то, как следует описывать протекающее во времени развитие нации или интеллектуального направления. И, разумеется, сначала мы должны выяснить, что такое "Ренессанс" или "французская нация", прежде, чем мы сможем описать их историческую эволюцию. Следовательно, нарративистская философия более близка к изучению Ренессанса или Просвещения, чем, например, к истории Англии между 1688 и 1832 г.

Мой критик мог бы повернуть свою аргументацию в противоположную сторону и обвинить нарративистскую философию в том, что она пренебрегает историографией, изучающей диахронические процессы. Как я указывал выше,

мой ответ на это возражение состоит в том, что нарративистская философия предоставляет необходимый подготовительный материал для решения философских проблем, возникающих в связи с этой "эволюционной" историографией. Как станет ясно в свое время (при чтении глав V и VI), нарративистская философия вполне способна обеспечить базу для решения таких проблем. Подведем итоги: когда бы в этой книге ни употреблялись термины "нарратив" или "нарративная субстанция", следует избегать любых ассоциаций с *belles-lettres*^{*} и "рассказывающей" историографией. Я буду использовать указанные термины как синонимы "исторической интерпретации"; предполагается, что нарратив формулирует тезис о прошлом или же предлагает определенную "точку зрения", с которой следует рассматривать прошлое. Поскольку для изложения таких тезисов, интерпретаций или "точек зрения" всегда требуется нарратив, я определяю свое исследование как исследование исторического нарратива.

(2) *Возражения против психологизма.* Еще одно возможное возражение против нашей попытки определить нарративную логику состоит в том, что нарратив можно изучать только научным образом, иными словами, строго ограничивая себя исследованием того, что происходит на языковом, психологическом или социологическом уровне при использовании нарратива как средства коммуникации между людьми. В основном этой позиции придерживаются такие нарративисты, как Гэлли, Лоух, Перельман, Хекстер, Толивер или Струевер. Гэлли, пожалуй, наиболее откровенно отстаивает подобный подход к нарративу. Его интересуют исключительно условия оптимальной коммуникации между историком и его читателями. По мнению Гэлли, исторический нарратив достигает своей цели, если историку удастся "провести" читателя через все разрозненные факты, сообщаемые в нарративе, благодаря разумному использованию "основных чувств, которые люди испытывают друг к другу"⁹. Подобно другим нарративистам, упомянутым выше, Гэлли рассматривает нарратив лишь как средство передачи сообщения, искусно приводящее в движение определенные психологические ме-

* Изящная словесность (франц.). — Прим. перев.

⁹ Gallie, P. 45

ханизмы в сознании читателя (т. е. те самые “основные чувства, которые люди испытывают друг к другу”). Его интересует не нарратив как таковой, а только функционирование определенных психологических механизмов в сознании читателя и, в особенности, те приемы и средства, к которым должен прибегать историк, чтобы заставить крутиться шестеренки этих механизмов. Гэлли не предлагает никакого анализа того, чем на самом деле является нарратив, он только пытается показать, как *работает* нарративная коммуникация. Поэтому он похож на инженера-электрика, который в ответ на просьбу объяснить устройство телефона ограничивается показом того, как им нужно пользоваться.

Во взглядах Лоуха на нарратив мы узнаём сходную аргументацию. По его мнению, историк должен предлагать своим читателям “опыт прошлого, полученный через “доверенное лицо” (“проху-experience”), или, другими словами, историк должен давать своему читателю некий суррогат своего собственного опыта прошлого. Слова, или, вернее сказать, нарративы, используемые историком в этих целях, подобны “крючкам, которыми затягивается в язык [историческая] реальность”¹¹. Поэтому сущность нарратива заключается в его способности что-то пробуждать или *вызывать*; нарратив обеспечивает скорее “воскрешение”, нежели описание прошлого. Каким образом можно достигнуть подобного воскрешения прошлого? Отвечая на этот вопрос, Лоух обращает внимание на то, что историки часто для характеристики индивидов, групп или народов используют такие понятия как “агрессивный”, “коварный”, “дружественный” и т. п. С помощью этих понятий историк не только описывает реальное прошлое, но и пробуждает в нас переживания, которые мы обычно соотносим с понятиями “агрессивный”, “коварный” и т. д. Наши воспоминания об этих прошлых переживаниях являются кирпичиками, из которых строится успешное “воскрешение” прошлого. Таким образом, язык, который использует историк, не только передает описательную информацию; он также — и в этом состоит его наиболее важная задача — служит своеобразным посредническим инструментом, который, будучи внешним по отношению к историку и читателю,

¹¹ Louch, P. 62.

заставляет вращаться шестеренки психологического механизма в сознании последнего таким образом, чтобы это создавало “образ” прошлого или “воскрешало” прошлое. В связи с этим Лоух уподобляет историографию карикатуре. Разве мы не предпочтем фотографии какого-нибудь известного человека карикатуру, выполненную Левиным? Если фотография соответствует чисто описательному представлению прошлого историком, а карикатура с ее преувеличениями — “воскрешающей” части в этом представлении, то мы можем сделать вывод, что последняя составляет наиболее существенный элемент в написании истории. Ибо любого, кто проявляет излишнее доверие к описательным элементам карикатуры, ожидает неприятный сюрприз. А также мы можем быть уверены, что любое исследование исторического познания и природы повествования неизбежно касается того, как можно получить “воскрешение” прошлого из тех ассоциаций, которые мы обычно связываем с такими понятиями, как “агрессивный”, “коварный”, “дружественный” и т. д.¹²

Я считаю, что эта теория повествования опирается на ошибочные представления. Во-первых, историк никогда не может быть “доверенным лицом”, через которого приобретает опыт прошлого, поскольку даже историк не обладает опытом прошлого как таковым. Он работает с источниками, документами и т. п., но они сами по себе не являются прошлым. Поэтому анализ задач историка, предпринятый Лоухом, основан на смешении прошлого как такового и остав-

¹² Психологические тенденции прослеживаются также в работах Дж. Хекстера. Так, по его словам, историк должен всегда помнить о том, кто его читатель, чтобы добиться наибольшего успеха в “реорганизации их мышления” См.: J. H. Hexter. *The History Primer*. N.Y., 1971. P. 144. Однако, вследствие чрезвычайной нестрогости его аргументации, сложно точно сказать, насколько далеко заходит Хекстер в своем психологизме. Столь характерная для психологизма тенденция переводить вопросы о нарративе как таковом в вопросы о коммуникации историка и его читателей проявляется также в работе Перельмана (С. Perelman. *Objectivité et intelligibilité dans la connaissance historique*, in С. Perelman. *Le champ de l'argumentation*. Bruxelles, 1970.) То же самое можно сказать о Толивере (Н. Toliver. *Animate Illusions. Exploration in Narrative Structure*. Lincoln, 1974) и о недавних попытках соединить историографию и риторику, см., например: N. Struever. *Topics in History*, in *History and Theory*. 1980. Beiheft 19. P. 66—68.

шихся после него документов. Поскольку, однако, для писателя вполне возможно заниматься “воскрешением” события, при котором он не присутствовал, это мое возражение доказывает лишь, что термин “опыт через доверенное лицо” был использован некорректно, но оно не означает, что невозможно “воскрешать” прошлое. Во-вторых, чтобы подчеркнуть элемент “воскрешения” прошлого в нарративе, Лоух указывает на сходство в работе карикатуриста и историка. Но крайне важно различие между ними. Мы любимся карикатурой, потому что она в необычном ракурсе изображает черты лица, которое нам уже известно. Но прошлое нам неизвестно. Или, скорее, — если развить метафору Лоуха — оно известно нам только по карикатурам. А если бы лицо человека было известно нам только по карикатурам, мы не смогли бы судить о том, какая из них лучше. В-третьих, и это более важный момент, ассоциации, которые вызываются такими словами, как “агрессивный”, “коварный”, “дружественный”, будут разными у разных людей. Поэтому определенный нарратив может “воскресить” в сознании читателя “образ”, совершенно отличный от того, которого намеривался добиться историк. Следовательно, чтобы избежать двусмысленности, историк будет вынужден использовать исключительно фактуальный, описательный язык. Кроме того, есть еще одно затруднение. Даже если мы предположим, что в общем все люди согласны относительно содержания, “воскрешаемого” такими терминами, как “агрессивный”, “коварный” и т.д. (т.е. эти слова у всех читателей вызывают совершенно одинаковые ассоциации), откуда мы можем знать, что эти слова употребляются правильно? Иными словами, каким аспектам прошлого (или его объектов), не выразимым в исключительно описательных терминах, соответствует “воскрешающий” компонент в этих терминах? Не думаю, что Лоуху будет легко ответить на этот вопрос, не отказавшись от главных положений своей теории.

Но оставим в стороне карикатуры и вернемся к нашей центральной проблеме. Практически все психологические истолкования нарратива, включая концепцию Лоуха, основываются на весьма странном представлении о природе (нарративного) языка. Лоух склонен рассматривать (нарративный) язык просто как посредника между историком и его читателями, который сам по себе лишен познавательного со-

держания. Познавательное содержание появляется только в тот момент, когда языку-посреднику удастся сыграть на “клавишах” сознания. В самом деле, если еще раз воспользоваться музыкальной метафорой, существует ярко выраженная тенденция уподоблять язык нотному письму. Считается, что (нарративный) язык представляет собой систему обозначения, а не описания: он состоит из ряда знаков (которые, в отличие от слов, сами по себе не обладают значением). Эти знаки вызывают определенные образы в сознании, так же как нотные знаки в партитуре побуждают нас извлекать звуки определенной высоты и длительности. Считается, что возникающее в результате познавательное содержание находится в сознании (слушающего или говорящего), но определено не в (нарративном) языке, выполняющем всего лишь посредническую функцию. Аналогичным образом, мелодию можно только слышать, но не видеть (хотя некоторые музыкально одаренные люди могут воспринимать мелодию, просто читая партитуру; но даже в этом случае то, что они видят, доставляет удовольствие не их глазу, а “внутреннему” слуху). Подобная склонность смешивать (нарративный) язык и систему обозначения вроде нотного письма представляет собой одну из основных слабостей психологического подхода, ибо между ними есть существенное различие. (Нарративный) язык сам по себе обладает познавательным содержанием благодаря своей способности описывать реальность, например музыку, которую мы слышим, тогда как ноты только обозначают исполняемую музыку. Партитура — это своего рода руководство или инструкция: она указывает делать то-то и то-то (причем строго определенным образом), чтобы в результате получить нечто приятное для слуха. Однако руководства или инструкции не дают описания результатов действий, которые они предписывают выполнить. Партитура — это не описание музыки. Следовательно, психологический подход к нарративу основывается на ошибочном представлении о природе (нарративного) языка, ибо в нем игнорируется дескриптивная функция этого языка, который выдается за систему обозначения. Это критическое замечание в адрес психологического толкования нарратива можно сформулировать и по-другому. Психологистическая нарративистская философия разделяет нарративный язык как таковой и знание, ко-

торое мы получаем, воспринимая нарративный язык: сам нарративный язык не содержит знания, но только способствует его развитию в нашем сознании. Нарративный язык уподобляется электрическим сигналам в телефонной сети, которые, передавая звуки человеческого голоса, сами этими звуками не являются. Но это неверно. Обладать знанием (прошлого) значит обладать им в том виде, как оно выражено в нарративном языке, который не является простым посредником. Когда вы прочли нарратив, вы прочли нарратив, и к этому добавить нечего.

Прежде чем привести общий аргумент против всех попыток анализировать нарратив в психологической перспективе, я хотел бы сделать короткое замечание по поводу терминологии. В начале этого раздела я отметил, что научный подход к нарративу может осуществляться в различных перспективах, а именно в лингвистической, социологической, психологической и т. п., или в таких их сочетаниях, как социолингвистика или психолингвистика. Я взял на себя смелость объединить все эти варианты под общим названием “психологический подход” не потому, что считаю психологический подход лучше или хуже других, а просто потому, что в литературе он встречается чаще любого другого. Кроме того, следует пояснить, что моя цель — отнюдь не внушить читателю, будто психологическое изучение нарратива глубоко ошибочно и не может дать полезных результатов. Напротив, я убежден, что оно предоставит нам множество интересных подробностей о том, как в действительности используется нарративный язык и как на него влияют всевозможные культурные, психологические и социологические факторы. Этот подход близок к изучению риторики, которое, по моему мнению, позволяет наиболее адекватно понять, в какой мере (нарративное) употребление языка связано с политическими, этическими или — если воспользоваться наилучшим в данном контексте словом — “практическими” соображениями и стратегиями.

Однако простой здравый смысл подсказывает, что психологический подход не может исчерпывающе охарактеризовать нарратив. Предположим, что существует читатель *R*, который, в отличие от всех других известных нам читателей, не способен понять некоторый нарратив (давайте не будем усложнять дело и возьмем глагол “понимать” в его обычном об-

щепринятом значении). Столкнувшись со случаем *R*, психологист вынужден будет заключить, что эмпирические психологические законы, на основании которых он ожидал или даже предсказывал, что *R* поймет данный нарратив, очевидно, ложны. Следовательно, он должен будет уточнить эти законы таким образом, чтобы они охватывали и случай *R*. Но обычно мы совсем не так реагируем в подобной ситуации: мы просто сказали бы, что *R* следовало бы понять предложенный нарратив. Сказать это мы можем, только приняв допущение (не обязательно принимаемое психологистом и даже отвергаемое им при изучении нарратива с психологических позиций), что существует ряд нарративистских правил, которые позволяют создавать и истолковывать нарративы. Конечно, психологист мог бы возразить, что здравый смысл является плохим советчиком, а потому мы не вправе утверждать, что читателю следует понимать нарратив, если его понимает всякий нормальный человек.

Однако такой рискованный шаг имел бы абсурдные последствия. Если непозволительно говорить, что кому-то следует понимать нарратив, отсюда вытекает, что у нас никогда нет достаточных оснований утверждать, что кто-то (включая и нас самих) действительно понимает нарратив. Чтобы судить о том, понимает ли читатель определенный нарратив или нет, нам, очевидно, нужен какой-то тест. Мы оговариваем в качестве условия, что читатель понимает данный нарратив в том и только в том случае, если он в состоянии дать верный ответ на вопросы, содержащиеся в этом тесте. Однако психологист не может принять подобный тест. По его мнению, мы знаем лишь то, что некоторые нарративы разные люди понимают или толкуют по-разному, и единственный выход — во всем этом попытаться обнаружить как можно больше регулярностей. Таким образом, он должен забраковать эти тесты как совершенно произвольные критерии (почему именно этот тест, а не какой-то другой?). Отвергая эти “произвольные критерии” (представленные в тестах), он тем самым запрещает нам говорить, а) что кому-то следовало бы понимать нарратив и б) что кто-то действительно когда-либо понимал нарратив. А это явный абсурд.

И все же существует одно требование психологического характера — мы определим его чуть ниже, — которое имеет

отношение к области нарративной логики, а, следовательно, заслуживает упоминания. Может ли человек, живущий вне общества, рассказывать нарративы? Я не буду касаться тонкостей, связанных с возможностью или невозможностью “личного языка”, — в любом случае, если человек, живущий вне общества, не способен связно использовать язык, наша проблема даже не возникает. Несомненно, что мы, как члены языкового сообщества, в состоянии сами себе рассказывать нарративы, хотя, возможно, мы делаем это нечасто. Поэтому наша проблема заключается не в том, можем ли мы рассказывать нарративы, находясь в одиночестве, поскольку ни один разумный человек не станет ставить это под сомнение, а в том, может ли человек, живущий вне общества, рассказывать нарративы (если может, то он, конечно же, рассказывает их самому себе). Я считаю, что мы должны ответить на этот вопрос отрицательно.

Я уже высказывал мысль, что существуют определенные правила построения нарративов, природу которых я намереваюсь исследовать в этой работе. Какими бы на поверку ни оказались эти правила, очевидно, что они существуют: мы не можем говорить *что угодно* на любой стадии построения нарратива. Эти правила (какова бы ни была их природа) направляют нас, когда, поддавшись соблазну включить определенное высказывание в наш нарратив, мы затем осознаем, что должны опустить его, если хотим построить нарратив, доступный для понимания. В случае человека, живущего вне общества, подобный конфликт между тем, что он хочет, и тем, что *может* сказать (если надеется быть понятым), никогда не возникает. Он поймет все, что бы ни пожелал сказать, конечно, если он не глупец. Так что наши правила неприменимы в случае человека, живущего вне общества. Он сам, так сказать, “воплощает” свои правила; у него собственные “правила”, не обладающие тем объективным существованием, которое мы приписываем правилам, применяемым нами, членами языкового сообщества, при построении нарративов. Это подметил Мишель Турнье в романе “Пятница, или Тихоокеанский лимб”, книге, содержащей ряд блестящих мыслей о логических и психологических последствиях жизни в полном одиночестве. Турнье описывает, как Робинзон всеми силами сопротивляется душевному распаду, который постоян-

но угрожает ему, живущему в полном одиночестве на пустынном острове. Одна из опасностей, подстерегающих Робинзона, кроется в слабеющей способности владеть языком: “Тщетно заставляю я себя непрерывно говорить вслух, выражая каждую мысль, каждое наблюдение, пусть даже слова мои обращены всего лишь к деревьям или облакам; все равно я замечаю, как изо дня в день неостановимо рушатся стены языковой цитадели, в которой мысли живет так же удобно и уютно, как кроту — в запутанном лабиринте своих ходов. Те островки речи, на которые мысль опирается для развития и движения вперед (так человек прыгает по камням, перебираясь через бурный ручей), разрушаются, бесследно исчезают. Я то и дело недоуменно бьюсь над смыслом того или иного слова, особенно из области абстрактных понятий. Мне доступен лишь конкретный, буквальный язык. Метафоры, литоты, гиперболы требуют от меня невероятного умственного напряжения, без которого мне не выразить все то абсурдное, неявное, что содержат эти элементы риторики”¹³. Таким образом, мы можем заключить, что необходимым условием для рассказов, нарративов и т.д. является то, что рассказчик не проводит жизнь вне общества или, по крайней мере, помнит о социальных формах жизни.

За исключением этой единственной точки пересечения психологического и логического подходов, представленных в данной книге, во всем остальном они различаются. Я избрал логический подход. Следовательно, я не буду принимать во внимание то, что было написано о нарративе психолингвистами или французскими структуралистами, которые пытаются обнаружить эмпирические законы, управляющие построением существующих нарративов. Нарративная логика направлена на описание нарративных структур, которые следует принять, даже если только еще предстоит написать самый первый нарратив. И здесь уместно добавить, что в соответствии с логическим подходом к нарративу эпистемологические вопросы редко будут приниматься во внимание. В последующем я буду исходить из того, что положение дел в прошлом можно однозначно описывать с помощью конста-

¹³ Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб / Пер. с фр. И. Волевич. СПб., 1999. С. 75.

тирующих высказываний. Я очень хорошо представляю те возражения, которые могут возникнуть в отношении этого допущения, но я не думаю, что это имеет хоть какие-то последствия для нарративной логики.

(3) *Нарратив и исторический роман.* На предыдущих страницах я употреблял слова “рассказ”, “повествование” и “роман” достаточно нестрого. Начиная с этого момента, я буду использовать специальный термин “нарратив” (*narratio*) исключительно для обозначения историографической нарративной репрезентации прошлого. Нарратив есть лингвистическая сущность, коренным образом отличающаяся от других когерентных систем предложений, таких как поэмы, романы, проповеди, математические доказательства и т. д. Поэтому историографическое нарративное представление прошлого имеет неотъемлемое право на собственное имя. Для того чтобы показать различия между нарративом, с одной стороны, и поэмами, проповедями и т. д., с другой, я не буду совершать геракловых подвигов, сопоставляя нарратив со всеми другими литературными формами. Ближайшим к нарративу является роман, а среди романов, конечно же, роман исторический. Таким образом, если нам удастся провести демаркационную линию между нарративом и историческим романом, мы сможем с полным основанием сказать, что мы отделили нарратив от всех других форм повествовательной литературы. Однако я не буду пытаться дать точное определение историческому роману. Читатель может сам выбрать определение исторического романа, поместив исторический роман как угодно близко к историческому нарративу: тем не менее, я надеюсь, что смогу показать, в чем заключается между ними различие.

На первый взгляд, кажется, что демаркационную линию провести несложно. Но, к сожалению, оказывается удручающе трудным найти формальное обоснование для наших интуитивных представлений. Прежде чем приступать к делу, нам будет весьма полезно рассмотреть следующие соображения методологического характера. Несомненно существует множество повествований, которым, как мы все согласны, можно дать либо ярлык “нарративы”, либо ярлык “исторические романы”. Это ставит нас перед выбором одной из двух стратегий: а) мы можем удовлетвориться изучением и тща-

тельной реконструкцией действительного употребления этих двух ярлыков, либо б) мы можем попытаться найти некоторый независимый критерий различения этих двух повествовательных жанров, который объясняет наше употребление данных ярлыков. Есть и другое соображение. Граница между двумя этими жанрами может быть очень неустойчивой. Поэтому будет полезно установить шкалу, на которой каждому конкретному нарративу или роману соответствовала бы определенная отметка. Если, например, на левой стороне шкалы мы разместим исторические романы, а на правой — нарративы, то исторические романы, в которых чисто историографический компонент является более выраженным, должны располагаться немного ближе к центру шкалы. Нечто подобное можно было бы принять и в отношении нарративов (взять хотя бы книгу Голо Манна о Валленштейне). Вновь мы стоим перед выбором: либо а) удовлетвориться размещением каждого нарратива или исторического романа в соответствующем месте на шкале и объявить, что бессмысленно искать нулевую отметку — ту особую отметку, которая фиксирует точное различие между нарративом и историческим романом, либо б) понадеяться на то, что нулевую отметку все-таки удастся установить. Не требуется особых усилий, чтобы усмотреть сходство между этими двумя методологическими соображениями. В обоих случаях вариант а) означает выбор “феноменологического” подхода: невозможно, да и ненужно делать что-либо помимо простого регистрирования действительного употребления терминов “нарратив” и “исторический роман”. Вариант б) предполагает поиск логического обоснования для этого словоупотребления.

Я отдаю предпочтение варианту б) не потому, что считаю вариант а) ошибочным, а потому, что считаю его недостаточным. Во-первых, вариант а) имеет тенденцию порождать порочный круг в рассуждениях: “это исторический роман (или нарратив) просто потому, что мы это так называем”. Во-вторых, даже если, следуя варианту а), нам удастся установить отличительные признаки исторического романа и нарратива, мы можем остаться неудовлетворенными. Человек, мало знакомый с техникой, может правильно пользоваться терминами “карбюраторный двигатель” и “дизель”, основываясь на некоторых очень заметных различиях между этими

двумя типами двигателей, при этом совершенно не ведая об их истинных различиях. То, что ищу я, имеет отношение не к нашему действительному употреблению языка, а к природе двух повествовательных жанров. Хотя стоит признать, что действительное употребление языка должно стать нашим ориентиром в этом поиске.

На обсуждаемый нами вопрос напрашивается простой ответ: нарратив сохраняет верность фактам, в то время как художественная литература и, в частности, исторический роман — нет. Эту точку зрения, в числе других авторов, защищал Коллингвуд. Он писал: “И произведения историка, и произведения романиста, будучи продуктами воображения, не отличаются в этом смысле друг от друга. Разница, однако, в том, что (...) у романиста только одна задача — построить связную картину, картину, обладающую смыслом. У историка же двойная задача: он должен, как и романист, построить осмысленную картину, и вместе с тем эта картина должна быть и картиной вещей, какими они были в действительности, и картиной событий, какими они случились в действительности”¹⁴. Как отмечали Шолес и Келлог, проблема состоит в том, что в нарративном произведении существует несколько уровней истины (слово “истина” пока используется здесь не в специальном смысле — понятия “истинность” и “ложность” применительно к нарративу будут досконально рассмотрены в главе III). Во-первых, существует элементарный уровень “записи конкретного факта”, и, во-вторых, Шолес и Келлог заявляют о существовании уровня “репрезентации обобщенных типов действительности”¹⁵. Исторический роман, будучи вымыслом, не сообщает истину на элементарном уровне, однако может дать вполне надежную репрезентацию тех обобщенных типов действительности, которые относятся к определенному историческому периоду. Хорошим тому

примером служит известный роман Анатоля Франса “Боги жаждут”. Его главный герой, молодой человек по имени Эварист Гамлен, несомненно, является вымышленным персонажем (первый уровень), но революционное сознание (второй уровень) превосходно описано Франсом. Кроме того, иногда полагают и не без оснований, что автор исторического романа, свободный от налагаемой на историка обязанности быть осторожным в высказываниях и располагающий более широким набором литературных приемов, часто находится в более выгодном, по сравнению с историком, положении, чтобы рассказывать подлинную правду о прошлом. Именно это зерно истины содержится в известном изречении Аристотеля, гласящем, что поэзия правдивее истории. Таким образом, в некоторых случаях (но, конечно же, не во всех) мы не сможем отличить нарратив от исторического романа, если ограничимся вторым уровнем, указанным Шолесом и Келлогом. В таком случае мы могли бы надеяться, что критерий истины окажется более полезным при применении его к первому уровню.

Но даже и здесь возникают затруднения. Нарратив может содержать ложные высказывания вследствие неверного прочтения историком исторического документа, в то время как исторический роман, например о Наполеоне, будет, несомненно, содержать много истинных высказываний (относящихся к первому уровню истины Шолеса и Келлога). Так что даже этот критерий истины оставляет нас ни с чем. Конечно, можно было бы указать, что в исторических романах содержится намного больше ложных высказываний, чем в нарративах. Тогда мы могли бы попытаться провести различие между двумя повествовательными жанрами, приняв во внимание процент ложных высказываний, содержащихся в каждом из них. Если мы последуем этой стратегии, может так оказаться, что во всех повествованиях, которые мы называем нарративами, доля ложных высказываний никогда не превышает 10%. Нашли ли мы теперь наш критерий? К сожалению, нет, ибо весьма возможно, что будущая книга по истории, написанная в одной из коммунистических стран, даже достигнет уровня в 15%. Еще больше проблем возникает, если представить, что когда-то будет написан исторический роман, содержащий не более 5% ложных высказыва-

¹⁴ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 234.

¹⁵ R. Scholes, R. Kellogg *The Nature of Narrative*. Oxford, 1975 (1st ed. 1966). P. 87. В действительности Шолес и Келлог выделяют три уровня: (1) “запись определенного факта”, (2) “то, что имеет сходство с определенным фактом” и (3) “репрезентацию обобщенных типов действительности”. Поскольку различие между (1) и (2) не имеет значения для нашего исследования, я объединил их в один уровень (1).

ний. Мы можем заключить, что замена критерия истины на критерий процентного соотношения не позволит нам а) всегда правильно проводить различие между нарративом и историческим романом и б) установить нулевую отметку на нашей шкале.

Однако к критерию истины можно подойти иначе. Во многие исторические романы вводятся вымышленные герои, ситуации и т.д. Есть две теории определения истинности высказываний о вымышленных вещах. Согласно Расселу такие высказывания являются попросту ложными; Стросон же в известной статье утверждал, что они не истинны и не ложны — они вообще не имеют истинностного значения¹⁴. Если мы предпочтем теорию Рассела, наши перспективы определить критерий истины лучше не станут: и нарративы, и исторические романы в этом случае будут состоять из истинных и ложных высказываний, а наше обсуждение критерия процентного соотношения показало, что критерий истины не имеет шансов на успех в подобной ситуации.

Теория Стросона все же обещает большее: она означает, что нарратив содержит только истинные и ложные высказывания, тогда как исторический роман, наряду с этим, содержит еще высказывания, не имеющие истинностного значения. Итак, если мы обнаруживаем в конкретном повествовании высказывания, не имеющие истинностного значения, то перед нами исторический роман, а если не обнаруживаем — то нарратив. Пока неплохо. Однако следует заметить, что в действительности мы добились лишь преобразования критерия истины в то, что можно было бы назвать “критерием референции”. Само повествование прямо не сообщает нам, что некоторое высказывание не имеет истинностного значения: мы должны знать историческую реальность, чтобы выяснить это. Конечно, маловероятно, чтобы исторический роман Анатоля Франса, посвященный жизни и времени Эвариста Гамлена, соответствовал исторической реальности. Но если он и не соответствует ей, то лишь в случайных вещах. Кроме того, мы должны понимать, что в задачи автора исторического романа входит забота о том, чтобы его повествование как

¹⁴ P.F. Strawson. On Referring, in G.H.R. Parkinson ed., *The Theory of Meaning*, Oxford, 1976.

можно больше соответствовало историческим фактам. В самом деле, совсем не так уж невероятно, что во времена Великой французской революции были молодые люди, похожие на Эвариста Гамлена во всех важных отношениях; лишь их именам случилось быть другими, и то, что делал Гамлен, они делали немного иначе. Итак, наш критерий дает очень мало: исторический роман и нарратив оказываются неразличимыми, когда рассматривается их познавательное ядро. Только если мы обращаемся к незначительным, привходящим деталям, мы обнаруживаем, что исторический роман действительно содержит высказывания, не имеющие истинностного значения, в то время как в нарративе такие высказывания отсутствуют. Если это все, чего мы смогли достичь, у нас есть все основания быть разочарованными.

Теперь я сформулирую окончательный довод против критерия истины. Предположим, однажды романист Паномфайос^{*} написал исторический роман из жизни Людовика XX (и, предположим, Людовик XX действительно правил во Франции в XIX веке). Через несколько лет после публикации этого романа в *Bibliothèque Nationale*^{**} было обнаружено большое число позабытых документов, касающихся жизни и правления Людовика XX. В этих документах аккуратными и заслуживающими доверия хронистами было собрано множество подробностей из жизни монарха. Одно из величайших открытий состояло в том, что Людовик XX, очевидно, внимательно следивший за своей внутренней жизнью, оставил дневник, поведавший нам о его каждодневных размышлениях, которым он предавался в течение значительного периода своей жизни. Этот дневник был проанализирован историками-психоаналитиками, и они пришли к заключению, что Людовик XX принадлежал к разряду тех людей, которые пишут в своем дневнике правду и ничего кроме правды. Наиболее примечательно, однако, то, что с помощью этих позабытых документов стало возможным доказать истинность каждого

^{*} Столь необычная фамилия, которой Анкерсмит наделяет своего гипотетического историка, по всей видимости, происходит от одного из эпитетов бога Зевса; “паномфайос” в переводе с древнегреческого значит “всеведущий”. — Прим. перев.

^{**} Национальная библиотека (франц.). — Прим. перев.

констатирующего высказывания в историческом романе Паномфайоса. Все это, конечно, маловероятно. Но предположим теперь, что Паномфайос написал в точности такой же исторический роман не до, а после обнаружения документов и использовал их как свидетельство, подтверждающее каждое высказывание в его романе. Подобная ситуация не так уж неправдоподобна. В самом деле, я полагаю, что можно написать исторический роман о жизни Людовика XIV, в котором все утверждения будут заимствованы из "Мемуаров" герцога Сен-Симона¹⁶. Как бы там ни было, оба повествования Паномфайоса — и то, что было написано до обнаружения документов, и то, что было написано после, — без сомнения, являются историческими романами. Итак, мы можем представить себе исторический роман, в котором все высказывания истинные. И это вынуждает нас отказаться от критерия истины. Можно было бы возразить, что поскольку повествования Паномфайоса содержат лишь истинные высказывания, они уже не исторические романы, но нарративы. Совершенно очевидно, что подобный аргумент основывается на преждевременном решении вопроса, который находится здесь *sub judice*¹⁷.

Отвергнув критерий истины, мы можем теперь рассмотреть подход Бердсли к различению исторического романа и нарратива. Согласно его так называемой "теории неутверждающей художественной литературы" суждения в (историческом) романе, в отличие от суждений в нарративе, не утверждаются их автором. Существует большое количество хорошо известных конвенций, с помощью которых можно сообщить о беллетристическом, неутверждающем употреблении языка. Например, автор может "определить свое повествование как "роман" или "балладу", (...) и таким способом исключить его утверждающий характер, даже если в это повествование можно поверить"¹⁷. Также весьма эффективными в деле "отмены" утверждающего характера повествования явля-

¹⁶ Речь идет о французском мемуаристе Луи де Сен-Симоне (1675—1755), прежде известного социалиста Клода Анри де Сен-Симона (1760—1825). — Прим. ред.

¹⁷ В стадии обсуждения, расследования (лат.). — Прим. перев.

¹⁷ Beardsley (1).

ются сообщения о положениях дел, которые "никому в так называемой реальной жизни не могут быть известны"¹⁸. Правда, для (исторического) романа характерна "внушающая доверие манера изложения". И все же я не думаю, что критерий Бердсли окажется более полезным для нас, чем критерий истины. Мы можем легко представить себе мистификатора, который аккуратно исключил из своего исторического романа все, что указывало бы на отсутствие утверждений. И подобные авторы действительно существуют. Должны ли мы признать, что эти авторы пишут историю (хотя и очень плохую), или же несмотря ни на что они остаются романистами? Если мы выберем последнее, мы сможем сделать это, только воспользовавшись критерием истины, который отклонил и Бердсли, и мы сами.

В рассуждении Бердсли неявно присутствует намек на то, что следует принимать во внимание намерения автора. Можно придать этому намеку более радикальный характер, сформулировав его как предложение относительно демаркации нарратива и исторического романа: автор нарратива намеревается сообщить истину; и, хотя ему это не всегда удается, его повествование *замышляется* как истинное. У романистов же таких намерений нет. В отношении этого подхода у меня имеется два возражения. Во-первых, наши действия не всегда являются продолжением наших намерений, хотя я и допускаю, что трудно представить себе автора, который намеривается написать исторический роман, а в действительности пишет нарратив, или наоборот. Во-вторых, и это более существенное возражение, мы искали различие между произведениями разных повествовательных жанров. Поскольку же нам приходится принимать во внимание намерения автора для того, чтобы вынести окончательное решение о жанре его произведения, отсюда следует, что эти два повествовательных жанра сами не могут обеспечивать нас достаточным критерием для проведения искомого различия. А поскольку именно такого рода критерий мы ищем, нам следует воздержаться от обращения к намерениям авторов.

Это возвращает нас к тому, с чего мы начали данный раздел. Я предлагаю еще раз внимательно рассмотреть отме-

¹⁸ W.C. Booth. *The Rhetoric of Fiction*. L., 197; p. 3.

ченные Шолесом и Келогом два уровня истины, которые можно выделить как в исторических романах, так и, добавил бы я теперь, в нарративах, а именно более низкий уровень фактических высказываний об отдельных происшествиях и ситуациях, и уровень общих замечаний, касающихся сути определенного исторического периода. Конечно, нелегко указать, где кончается первый уровень и начинается второй, но нельзя сомневаться в существовании этих уровней.

На уровне общих замечаний сходство между историческим романом и нарративом очевидно: в обоих случаях мы имеем дело с обобщенным знанием о некотором историческом периоде (или его аспекте). Однако имеются два различия. Первое, и наиболее заметное, состоит в том, что автор нарратива занимается созданием исторического знания, его накоплением или приобретением. В своем изложении он объясняет и аргументирует. Что же касается автора исторических романов, то он *применяет* это обобщенное историческое знание к одной или нескольким конкретным (воображаемым) историческим ситуациям. Различие между нарративом и историческим романом точно такого же свойства, как и различие между теоретическими и прикладными науками (между прочим, это объясняет, почему критерий истины оказывался неэффективным: невозможно отличить теоретическую науку от прикладной, прибегая к критерию истины). Второе различие касается разных способов взаимосвязи двух уровней истины в нарративе и историческом романе. В нарративе первый уровень подготавливает второй: он предоставляет свидетельства и примеры для всесторонней интерпретации исторического периода (или его аспекта). В историческом романе имеет место обратное. Автор исторического романа, которому известны основные учебники, обладает "общим" историческим знанием уже до того, как он приступает к "воплощению" этого "общего" знания в нечто частное и индивидуальное. Если он хороший романист, то совершает этот "процесс замещения" настолько искусно, что органически чуждые элементы "общего" знания (т. е. этот уровень целиком) полностью исчезают из области непосредственного восприятия. Он не упоминает открыто о своем "общем" историографическом знании: оно должно проявляться только в словах и поступках персонажей. Подобно тому, как законы

механики "проявляют" себя в хорошо сработанном мосте, так и исторический роман просто "проявляет" историческое знание, не выражая его явным образом.

Из предыдущих рассуждений можно вывести и третье различие. Очень часто вымышленные персонажи являются для автора исторических романов сущностями, к которым приложимо "общее" историческое знание. Романист начинает с "пустого" человеческого существа, своего рода "гомункула". Он наполняет этого "гомункула" содержанием, а) сталкивая его с жизненными проблемами и б) определяя его реакцию на эти проблемы благодаря имеющемуся у него, автора, знанию о человеческой природе в целом и об историческом периоде, в который он помещает своего "гомункула". Эти "гомункулы" связывают повествование романиста в одно целое: описание исторической реальности осуществляется в них с "точки зрения" этих "гомункулов". Хотя время от времени в историческом романе могут встречаться общие описания исторической реальности, по существу, исторический роман изображает историческую реальность так, как ее видят живущие в прошлом люди (вымышленные персонажи). Их интерпретация прошлого, их "точка зрения" на современную им социо-историческую реальность направляет романиста при описании прошлого. В отличие от исторического романа, нарратив не пишется с какой-то определенной "точки зрения" или в соответствии с какой-то определенной интерпретацией прошлого, хотя некоторая интерпретация или "точка зрения" в нем *предлагается*. "Общее" историческое знание о прошлом (или о его фрагменте), сообщаемое нарративом, по сути, и определяет ту "точку зрения", с которой нам предлагается смотреть на прошлое (этот тезис будет детально проанализирован в главе VII). Исторический роман снабжает нас примерами того, какую картину мы получим, если напишем такую-то "точку зрения" "гомункулу", помещенному в определенный исторический период. Историк аргументирует в пользу "точек зрения" на прошлое, романист применяет их.

Можно было бы возразить, что нарратив, как и исторический роман, всегда пишется с определенной "точки зрения", поскольку он имеет определенный предмет рассмотрения. И все же нельзя смешивать предмет нарратива и представленную в ней "точку зрения". Во-первых, предметы рассмотре-

Превосходительное значение

ния принадлежат самому прошлому, а “точки зрения” можно встретить только в книгах по истории. Во-вторых, историк может избрать в качестве предмета рассмотрения социально-экономические аспекты Великой французской революции, но этим он не формулирует “точку зрения”, с которой предлагает нам рассматривать историческую реальность. Только *интерпретации* этих социально-экономических аспектов Великой французской революции или их важного значения для идеологической и политической борьбы в ходе революции можно с полным основанием назвать “точками зрения” на Великую французскую революцию (или на ее события). Наконец, мы склонны забывать об этом различии, поскольку историки часто (молчаливо) допускают, что описываемое ими в нарративах (т.е. предмет их рассмотрения) также существенно важно для правильного понимания прошлого (или его фрагментов) (а это и есть интерпретация прошлого или “точка зрения” на прошлое). Но, повторяю, то, что описывается, не есть само описание. (Я отсылаю читателя к разделам (3) и (4) в главе VII, где более подробно рассматривается понятие “точка зрения”.)

Историки формулируют и обсуждают “точки зрения”, но, в отличие от авторов исторических романов, они не *начинают* с определенных “точек зрения” при описании прошлого. На самом деле, (добросовестные) историки никогда не скажут: “Если вы примете мою “точку зрения”, вы должны будете признать, что я прав; но если же вы предпочтете свою собственную “точку зрения”, вы не сможете по достоинству оценить мое представление прошлого”. Напротив, “точки зрения” оказываются в центре исторических дискуссий: историки аргументируют, не исходя из определенных “точек зрения”, а *в их пользу*. Вообще говоря, “точки зрения” — это всегда выводы, но никогда не аргументы, по крайней мере, пока сохраняется вера в то, что рациональная дискуссия способствует достижению истины.

Надеюсь, что при помощи этих трех взаимосвязанных различий между нарративом и историческим романом я определил с достаточной точностью, где располагается нулевая отметка на нашей шкале. Я готов признать, что в отдельных книгах могут быть представлены оба этих повествовательных жанра. Но как историк может иногда писать в стиле романиста (вспомним снова “Валленштейна” Голо Манна), так и ро-

манист может излагать историческое знание, добытое им самим или другими исследователями, в свойственной историкам манере (как, например, Томас Манн в “Иосифе и его братьях”); присутствие рассказчика в историческом романе может допускать этот историографический элемент). Но это не может служить аргументом против проведенного различия. Напротив, только благодаря успешному установлению различий между этими двумя жанрами, стало возможно выявить чуждые элементы как в историческом романе, так и в нарративе. Обнаружение нулевой отметки не означает, что любая книга располагается или по левую, или по правую сторону от нее. Книги следует представлять на шкале не в виде точек, а, скорее, в виде отрезков.

(4) *Терминология*. В заключении мне хотелось бы договориться относительно терминологии, которая будет использоваться в этой книге. Мои предложения заимствованы в основном из работы Гича “Референция и всеобщность”. Термины *субъект* и *предикат* будут использоваться в качестве лингвистических: не вещи, а их имена будут логическими субъектами. Не свойства, но их языковые выражения (называемые *атрибутами*) будут предикатами. Однако предикаты истинны относительно вещей, а не их имен.

Субъекты и предикаты — два составных элемента *суждений* (или *высказываний*); а суждение или высказывание в обычном языке выражается с помощью *предложения*. По вопросу о том, каковы точные грамматические и/или логические различия между субъектом и предикатом, было разработано несколько оригинальных теорий, в частности Гичем, Стросоном и Куайном. Я не буду подробно касаться этого вопроса, и читатель может придерживаться любой теории, какая ему нравится.

Будет предполагаться, что *имена* и *определенные*, или *идентифицирующие*, *дескрипции* обозначают вещи в реальности. В отношении того, какие вещи существуют в реальности, я буду придерживаться точки зрения Куайна. Если мы согласимся с Куайном, что теория (или форма дискурса) онтологически обязывают признавать “те и только те сущности, на которые должны указывать связанные переменные этой

теории с тем, чтобы утверждения теории были истинны"¹⁹, и, кроме того, примем в качестве условия, что мы можем ссылаться на все существующее, то нам будет позволено ссылаться и на "объекты", для которых определенные дескрипции (как частично, так и полностью) могут быть сформулированы только при помощи теоретических понятий (например "это магнитное поле" или "валовой национальный продукт страны N во время t "). Что же касается предикатов, то мы будем считать, что они обозначают то, относительно чего они истинны.

Всякая когерентная система предложений в обычном языке (или текстах) будет или повествовательным или неповествовательным текстом (проповедью, уставом, пасквилем, математическим доказательством). Всякий повествовательный текст или является нарративом или нет (будучи поэмой, романом, эпосом и т.д.); граница, разделяющая две эти категории, была проведена в предыдущем разделе. Нарратив состоит из предложений; я буду исходить из того, что все предложения в нарративе обладают пропозициональной структурой и содержат субъект и предикат. Я признаю, что, вероятно, можно ставить под сомнение или даже отрицать то, что нарративы состоят только из такого рода предложений. Существует множество предложений, не обладающих этой пропозициональной структурой, например приказы, высказывания, выражающие научные теории, высказывания тождества, и, возможно²⁰, высказывания, содержащие предикаты, выражающие отношения. Я исхожу из того, что подобные предложения не являются необходимой составляющей частью нарратива и что все важные проблемы нарратива можно изучать удовлетворительным образом, принимая во внимание только те предложения, которые имеют пропозициональную структуру. Я вполне отдаю себе отчет, что это важное решение. К сожалению, прямо сейчас я не могу обосновать его. Только вся моя книга целиком может быть таким обоснованием: если взгляд на нарратив, представленный в

¹⁹ W.V. Quine, *From a Logical Point of View*, Cambridge 1971. P. 13—14.

²⁰ Рассел и многие другие утверждают, что высказывания, в которых предикаты выражают отношения, не имеют субъектно-предикатной структуры. См. Russel; p. 13.

ней, окажется приемлемым, то это решение будет достаточно обоснованным. И, наконец, я буду предполагать, что нарратив состоит только из *единичных высказываний*²¹.

Высказывание в повествовательном тексте имеет форму " x есть ϑ ". То, что выражается посредством высказывания, записанного как " x есть ϑ ", будет называться *модификацией* (по терминологии Лейбница). Приняв модификацию M (" x есть ϑ "), мы не можем сказать, что " M есть модификация $x'a$ ", по крайней мере, если мы подразумеваем под этим, что M является предикатом $x'a$ (а я не вижу, как мы могли бы по-другому истолковать это предложение). Мы можем говорить о " ϑ -ности $x'a$ " или о "бытии $x'a$ (в качестве) ϑ ", мы можем говорить даже об " x -ости M " (в стиле, напоминающем "этость" ("haecceitas") Дунса Скота), но не об " M -ности $x'a$ ". M не является свойством $x'a$ и " M " не является атрибутом $x'a$, поскольку факты не являются свойствами. Однако я буду говорить о высказываниях, выражающих факты, как о свойствах *нарративных субстанций*. Нарративные субстанции представляют собой собрания таких высказываний, которые содержат — каким образом, будет объяснено позже — познавательное сообщение нарратива. Когда многие высказывания в нарративе (или его части) имеют один и тот же субъект, я буду говорить, что данный субъект является *нарративным субъектом* этого нарратива (или его части).

²¹ Так называемые "ограниченные обобщения", т.е. обобщения, которые проводятся в границах определенного времени и пространства (например, "люди в Европе в XVIII веке носили парики"), следует разлагать на единичные констатирующие высказывания, а не рассматривать как универсальные высказывания.

Анкерсмит имеет в виду, что если у нас есть высказывание " x есть смертный", то мы можем говорить о "смертности $x'a$ ". — *Прим. ред.*

²² В этом случае мы говорим о "бытии x смертным". — *Прим. ред.*

²³ Этот термин представляет собой субстантивированную форму латинского указательного местоимения среднего рода *haec* ("это"). — *Прим. перев.*

Наше исследование природы нарратива было бы легче провести, если бы нам удалось установить, что представляет собой нарратив в идеальном виде. Если можно очистить существующие нарративы от всех случайных и побочных элементов, то результатом такого "очищения", как мы надеемся, и будет нарратив в его чистой или "идеальной" форме. Тогда простой обзор этой "идеальной нарратива" даст все важные и искомые нами особенности нарратива. На самом деле, многие теоретики применяют такой подход. В этой главе я собираюсь рассмотреть результаты их исследований.

Порядок изложения будет следующим. Вначале я приведу ряд "установочных дефиниций" нарратива, отражающих интуитивные представления различных авторов об "идеальном нарративе". Затем я постараюсь определить достоинства и недостатки этих установочных дефиниций.

(1) *Нарратив отвечает на все вопросы.* Первое, еще достаточно наивное, определение идеального нарратива таково: идеальным является нарратив, содержащий (имплицитно или эксплицитно) ответ на все мыслимые вопросы, которые могут возникнуть по отношению к его предмету. Но в таком случае нарратив должен обязательно предоставлять полное описание своего предмета (см. раздел (7) этой главы, где продолжено обсуждение этого требования). Чтобы избежать этого явно неудовлетворительного следствия и чтобы дать этому определению хоть какой-то шанс на успех, мы предлагаем различать "внутренние" и "внешние" вопросы, которые может вызывать нарратив. "Внутренние" вопросы — это вопросы, вызываемые непосредственно самим нарративом. Например, они могут указывать на возможные противоречия внутри нее или касаться того, не следует ли на основании свидетельств,

приводимых историком, отдать предпочтение истолкованию, отличному от предполагаемого в нарративе. Внутренние вопросы могут быть поставлены только на основании того, что упоминается в самом нарративе. "Внешние" вопросы могут быть сформулированы в любой другой мыслимой перспективе. Например, при чтении некоторого общего описания дипломатических и военных событий в ходе первой мировой войны, у кого-то может возникнуть вопрос, какое количество сыра было произведено в России в 1915 году, хотя в самом историческом описании нет и намека на то, что производство сыра имеет хоть какое-то отношение к истолкованию данного хода событий. Будет трудно во всех случаях провести различие между этими двумя типами вопросов, но положим, что где-то разделительная линия все же может быть прочерчена. Теперь мы можем отвлечься от внешних вопросов, поскольку, как мы убедимся в разделе (7), неразумно ожидать, что нарратив даст имплицитный или эксплицитный ответ на все внешние вопросы, которые он может вызывать. Мне неизвестно, чтобы какой-нибудь философ истории *expressis verbis*¹ придерживался подобной точки зрения на идеальный нарратив, но в своей "Автобиографии" Коллингвуд подошел близко к ней. Он писал, что для правильного истолкования текста мы всегда должны представлять вопросы, на которые этот текст призван ответить². Таким образом, есть тенденция понимать текст (нарратив), в сущности, как последовательность вопросов (имплицитно или эксплицитно сформулированных) и ответов на них. Отсюда мы могли бы сделать вывод, что идеальный нарратив должен отвечать на все свои внутренние вопросы.

Однако это несовершенное определение, поскольку оно отождествляет идеальный нарратив с наиболее убедительным. Искусство убеждения представляет собой умение отметить или упреждать все возможные критические вопросы. Разумеется, элемент убеждения должен присутствовать в любом приемлемом нарративе, ибо, если нарратив оставляет нам больше вопросов, чем мы имели до его чтения, у нас бу-

¹ Ср. R. Robinson, *Definition*, 1968; Робинсон пишет: "под "установочной дефиницией" я понимаю установление, объявление или выбор кем-то своего значения для некоторого слова" (Р. 19).

² Решительно (лат.). — Прим. перев.

³ См.: Коллингвуд Р. Дж. Автобиография // Идея истории. Автобиография, М., 1980. С. 338–346.

дет немного оснований быть удовлетворенными им. Поэтому предложенное определение, по крайней мере, содержит частицу истины, впрочем, как и все те определения, которые мы собираемся обсудить ниже. Тем не менее, наиболее убедительный нарратив необязательно является наилучшим или идеальным. Мы можем легко представить себе два альтернативных нарратива о каком-либо предмете, один из которых дает удовлетворительный ответ на все внутренние вопросы, позволяя избежать при этом всех важных вопросов, которые могут быть поставлены в отношении его предмета, в то время как другой нарратив отвечает, по крайней мере, на некоторое из этих вопросов, пусть иногда и неудовлетворительно.

Один из примеров предоставляет нам историография по преследованию ведьм. В XIX веке историки, например Леки³, полагали, что "охота" на ведьм была следствием глупости и низости суеверного духовенства. Это объяснение было, конечно, внутренне согласованным и убедительным. Каждый, кому известна моральная нечистоплотность духовенства позднего Средневековья, охотно согласится с тем, что нечестные и жадные клирики должны были быстро обнаружить и использовать те возможности психологического влияния на массы, которые открывало перед ними преследование ведьм. Используя детективную терминологию, можно сказать, что имеется все — и мотив, и средства, и возможность, коль скоро мы согласились с образом жадного и суеверного духовенства. Однако, несмотря на убедительность этого объяснения и его способность предупреждать все дальнейшие вопросы, мало кого из современных историков оно удовлетворяет. Несколько лет назад Кейт Томас опубликовал замечательную книгу о преследовании ведьм в Англии. Он показал, что эти преследования были тесно связаны с процессом демифологизации католического вероучения в период позднего Средневековья. Поскольку церковь больше не желала удовлетворять широкую потребность в волшебстве, простой человек переносил магическую силу, прежде ассоциируемую с белым духовенством, на тех несчастных созданий, которым пришлось

стать ведьмами в позднее Средневековье и в XVI и XVII веках. Несомненно, данный анализ гораздо менее убедителен, чем предшествовавший ему в XIX веке: он поднимает великое множество новых вопросов, на которых пока еще нет ответа. Например, почему церковь инициировала процесс демифологизации, почему она позволила вырваться наружу этой новой народной одержимости магией, почему в колдовстве так часто подозревали пожилых женщин и т.п.? И все же Кейт Томас, несомненно, предлагает гораздо лучший нарратив о колдовстве, чем историки XIX века. Конечно, нарратив, сочетающий в себе изощренность анализа Кейта Томаса и убедительность объяснения Леки, был бы еще более веским. Но при нынешнем состоянии историографии по колдовству мы предпочитаем менее убедительный анализ более убедительному. Таким образом, наш пример показывает, что самый лучший или идеальный нарратив необязательно является самым убедительным. Поэтому мы должны отказаться от первого подхода к определению идеального нарратива.

(2) *Прагматистский подход.* Согласно этому подходу значение нарратива состоит в том, чтобы облегчить нам ориентацию в мире. Поэтому идеальным нарративом считается тот, который служит наиболее надежным руководством в наших действиях. Давайте представим себе такую ситуацию. А повествует В о том, что происходило на собрании M_1 , на которой В не присутствовал. Позже В должен председательствовать на собрании M_2 с тем же составом и хотел бы, чтобы его участники поддержали цель Р. "Идеальный нарратив", который А следует предоставить В, должен сообщать В достаточно информации для того, чтобы цель Р получила поддержку на собрании M_2 . Такова идея прагматистского подхода. Однако здесь может возникнуть серьезное затруднение. Если один или несколько участников собрания изменят свое мнение за промежуток времени между собраниями M_1 и M_2 , ценность предлагаемого А нарратива значительно уменьшится. В этом случае нарратив А (если В доверяет ему) может даже оказаться камнем преткновения, а не полезным руководством, как он замышлялся. Таким образом, прагматистский подход представляется здравым только в той мере, в какой сходные прошлое (описанное в нарративе) и настоящее, в котором мы действуем (или будущее, в котором нам предстоит действо-

³ Речь идет о книге: W.E.H. Lecky, *History of The Rise and Influence of The Spirit of Rationalism in Europe*, London 1865; другая упоминаемая в этом абзаце книга — К. Томас, *Religion and The Decline of Magic*, New York, 1971.

вать). Поскольку история пишется для того, чтобы показать, чем прошлое отличается от настоящего, прагматистский подход отрицает самый *raison d'être* историографии.

Но прагматист может указать, что он имеет в виду нечто совершенно иное. По его мнению, историк, своим анализом охватывающий значительный промежуток времени, более чем кто-либо другой способен выходить за пределы своего времени и видеть вещи в исторической перспективе. Он может истолковывать настоящее как результат эволюции, результат постепенного исторического изменения. Столь дальнее видение позволяет ему давать своим современникам, сосредоточенным на нуждах сегодняшнего дня, полезные советы в политических и социальных делах. Историю можно сопоставить с книгой: историк знает содержание книги до определенного места (до настоящего), поэтому он сделает нам лучшее предсказание о том, чем книга закончится. Хорошо знакомый с основной сюжетной линией, он знает — когда дело касается настоящего, — как отделить существенное от второстепенного. Благодаря своему знанию прошлого, он способен заложить наиболее прочный фундамент для настоящих и будущих действий. В связи с этим можно вспомнить такие книги, как «Демократия в Америке» Токвиля или «Процесс цивилизации» Элиаса. Соответственно, можно сказать, что идеальным является нарратив, который оказывается наиболее надежным руководством к настоящим и будущим действиям. Здесь ценность истории в качестве руководства к действию проистекает не из сходства прошлого и настоящего, как в примере с собранием, но именно из их несходства.

Это вызывает ряд затруднений. Во-первых, мы можем возразить, что экстраполяция исторических тенденций в будущее является очень рискованной процедурой. Прагматист может согласиться с этим возражением, но отметит, что оно не противоречит предложенному им определению: он просто должен будет признать, что не в настоящем, а только в будущем мы сможем решить, какой нарратив был идеальным. Кроме того, существует проблема, как воплотить знание, содержащееся в книгах, подобных книге Токвиля или Элиаса, в

настоящих или будущих действиях. Даже если нас предупреждают об определенных политических опасностях, мы необязательно всегда знаем, как избежать их. Но допустим, в порядке рассуждения, что такие практические проблемы могут быть разрешены.

Более серьезная проблема состоит в следующем. В прагматистском определении идеального нарратива не упоминаются никакие этические нормы. Однако я сильно сомневаюсь, может ли прагматист обойтись без таких норм. Разве не зависит выбор наилучшего руководства к действию, хотя бы частично, от этических критериев? Если это так, то поиск идеального нарратива не будет иметь никаких шансов на успех, пока мы не будем знать наверняка, каким этическим нормам мы должны следовать. Однако в ответ прагматист укажет, что этические нормы определяют то, какие цели мы перед собой поставим. С другой стороны, чтобы решить, какой нарратив, какое руководство к действию лучше всего подходит для достижения этих моральных целей, не требуется этических норм. Аналогичным образом, если кто-то использует научные теории в преступных целях, нельзя сказать, что эти теории служат ему плохим руководством к действию. К сожалению, ближе к истине то, что у нас есть все основания утверждать обратное.

Если какой-то политик вроде Ленина, Сталина или Гитлера проводит позорный, в моральном отношении, курс и, как это часто бывает, в его оправдание апеллирует к истории, мы испытываем сильное желание не только выразить наше несогласие с его нравственными целями, но также утверждать, что этот политик выбрал себе неверный ориентир в истории. Поскольку у нас иная нравственная позиция, мы склонны также отвергать его взгляд на историю. Очевидно, что в отличие от научных воззрений, представления об истории никогда не бывают простым орудием достижения некоторой инспирированной моралью цели, но эти представления и моральные цели всегда существенным образом определяют друг друга. Наши нравственные идеалы влияют на то, каким мы видим прошлое. Обратное также верно: наше знание о прошлом частично определяет моральные цели, к которым мы стремимся. Наше понимание прошлого и наши моральные цели в гораздо большей степени внутренне взаимосвязаны,

* Зд.: смысл существования (франц.). — Прим. перев.

чем это имеет место в случае научного знания. Причина этого кроется, вероятно, в том, что научное знание демонстрирует нам *возможность* действовать по-разному, в то время как историческое знание позволяет осознать *пределы* нашей способности обустроить социальный мир. Научное знание расширяет наш выбор этических и политических целей; с другой стороны, историческое знание сужает его и, таким образом, помогает скорее в отборе, чем в создании этических и политических ценностей.

Нет сомнения в том, что прагматист выдвинет следующий освященный временем довод. Каждое представление о прошлом может содержать два элемента: 1) фактологический анализ прошлого и 2) этическое истолкование фактов прошлого. Теоретически оба эти элемента всегда можно различить. Непреодолимые разногласия в области историографии имеют отношение к этической, а не к фактологической части историографических описаний прошлого. Однако есть возможность ограничить историографию исключительно фактологической составляющей; следовательно, можно писать нарративы одинаково приемлемые для приверженцев различных этических убеждений. Таким образом, мы можем представить себе нарративы, свободные от ценностных установок, и потом решать, какой из них является наилучшим руководством к действию.

Но даже если принять на веру возможность такого рода нарративов (что, на мой взгляд, является очень щедрой уступкой), все же маловероятно, что мы сможем проигнорировать этические и политические ценности, когда нам придется выбирать, какой нарратив служит наилучшим руководством к действию. Этические и политические идеалы побуждают определить, к какому миру в будущем мы стремимся, а для каждого из этих "миров" предпочтителен какой-то определенный вид нарративов о прошлом, даже если все эти нарративы предполагаются ценностно нейтральными. Всякий, кто стремится осуществить этическую цель G, будет заинтересован в нарративах, описывающих прошлое в свете этой цели G. Марксисты и либералы извлекают совершенно разные уроки из прошлого, и поэтому, пытаясь обосновать важность этих уроков, они дадут разные описания прошлого. Таким образом, из-за различия наших идеалов в отношении будуще-

го мы в итоге по-разному ответим на вопрос, какая интерпретация прошлого является наилучшим руководством к действию. Обсуждение этого вопроса неизбежно затянет нас в пучину этических разногласий. Подчеркиваю, что именно различные представления о будущем мешают достичь общего согласия относительно наилучшей интерпретации прошлого. Я не считаю *a priori* невозможным определить относительные достоинства нарративов о прошлом, создатели которых вдохновлялись различными этическими и политическими идеалами. Эта проблема рассматривается в разделе (4) главы VIII.

Несмотря на все недостатки, прагматистскому определению нельзя отказать в некоторых привлекательных чертах. Мы действуем не в безвоздушном пространстве, но всегда в некотором историческом контексте; так что в определенной мере знание прошлого необходимо для рациональной деятельности. Поэтому не лишено резона утверждение о том, что рациональный характер наших действий свидетельствует об адекватном понимании нами прошлого. Но, как мы уже успели заметить, знание прошлого всего не решает: потребность в моральных целях не исчезнет, хотя, когда общество станет более сложным, они могут раствориться в нескольких расплывчатых и всеми признаваемых моральных нормах (выражая, например, желание, чтобы не было войн, социальных потрясений и т.п.).

Это соображение, возможно, объясняет, почему прагматистское определение нашло так много сторонников. Несомненно, самым бескомпромиссным его защитником был Ницше. Он твердо настаивал на том, что историк должен служить Жизни — "das Leben", т.е. настоящей и будущей деятельности, и ради этой цели он даже не должен бояться исказить правду⁴. В двадцатые и тридцатые годы XX века некоторые историки, так называемые "презентисты", среди которых наиболее выделялись Бирд и Беккер⁵, утверждали наряду с

⁴ Придавая большое значение созидательному постижению прошлого историком, Ницше склонен с пренебрежением говорить о "die gemeine empirische Wahrheit" [об "обыкновенной эмпирической истине"]. См.: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. I. С. 195.

⁵ Это название образовано от английского слова "present", которое означает "настоящее". — Прим. ред.

⁶ "Презентизм" был определен Карлом Беккером в 1912 году как "властный

Кроме, что историография неизбежно зависит и должна зависеть (действительное и должное в их рассуждениях очень часто дополняют друг друга) от "современных нужд и интересов". По их мнению, задача историка — писать так, чтобы ныне живущим людям стало ясно, как им решать свои социальные и политические проблемы. В менее отдаленном прошлом приблизительно тот же ход мысли продемонстрировали философы Франкфуртской школы, которые стремились соединить теорию и практику. С их точки зрения, социологическое и историческое знание (теория) недвусмысленно показывает нам, что представляет собой социальная реальность и, следовательно, как мы должны действовать (практика). Эти философы даже утверждают, что такое знание само есть средство осуществления будущего, так как, познавая существующее, мы изменяем то, что познаем⁶. Несколько яснее эта же позиция была сформулирована Ховардом Зином⁷, выступавшим за "радикальную историю", которая в ходе критики выставляет на показ жестокости и идеологии прошлого, так что мы можем научиться, как нам действовать в интересах лучшего и более гуманного будущего.

приказ, чтобы знание служило некоторой цели, а обучение применялось для разрешения проблем человеческой жизни". Цит. по: Н. Zinn, *The Politics of History*, Boston, p. 17.

⁶ Грох более детально сформулировал "kritische Theorie" ["критической теории"] в отношении историографии. Он пишет: "diese Geschichtswissenschaft geht aus von der Einheit von Erkenntnis und Interesse, vom Prinzip der Vermittlung der Theorie durch Praxis. Sie unterstellt jedoch nicht die Theorie dem Primat der politischen Praxis oder die politische Praxis der Gängelung durch Begriff und Theorie. Andererseits erkennt sie aber auch, dass der Theorie Praxis noch als theoretisches Moment zugerechnet werden muss, da kritische Theorie nur durch emanzipatorische Praxis abgeschlossen werden kann". См.: D. Groh, *Kritische Geschichtswissenschaft in emanzipatorischer Absicht*, Stuttgart 1973; p. 35 ff. ["Эта историческая наука исходит из единства познания и интереса, из принципа опосредования теории практикой. Однако она не подчиняет теорию примату политической практики и не подвергает политическую практику мелочной опеке со стороны понятия и теории. С другой стороны, она также признает, что практика должна дополнять теорию еще и в качестве теоретического элемента, поскольку критическая теория может завершаться только освободительной практикой".]

⁷ Программа "радикальной истории" описана в кн.: Н. Zinn, *The Politics of History*, Boston. P. 35 ff.

(3) *Наипростейший нарратив*. Третий подход к определению идеального нарратива таков: идеальным является самый простой, самый элементарный нарратив. Идея данного подхода состоит в том, что нарратив представляет собой своего рода нарративную молекулу, состоящую из множества нарративных "атомов". Эти атомы — наиболее фундаментальные элементы нарратива, и именно их нам следует изучать, чтобы получить адекватное знание о нарративе.

Для меня с этим подходом связана та проблема, что в нарративах, с которыми мы имеем дело в историографии, мы, по сути, не выявляем элементы, служащие в качестве "нарративных атомов". Неужели, читая нарратив, мы обнаруживаем великое множество самодостаточных, искусно упорядоченных "нарративных атомов"? Я так не думаю. Между отдельным предложением и повествованием в целом мы не встречаем заметных разрывов; говоря метафорически, мы движемся сквозь непрерывную толщу нарратива. Кроме того, проблемы, над которыми бьются историки, создавая свои нарративы, лежат скорее на макро-, чем на микроуровне, предлагаемом этим подходом. Поэтому шансы у данного подхода не блестящие. Это станет ясно, когда мы рассмотрим конкретный вариант данной модели.

(4) *Подход сторонников "модели охватывающих законов"*. В основе этого подхода лежит идея, что, будучи своего рода аргументацией, идеальный нарратив должна быть очень стройной аргументацией, с которой вынужден согласиться всякий разумный читатель. Этот подход завоевал значительную популярность среди нарративистов. Действительно, первая, после работ Гэлли и Уолша, интерпретация нарратива выполнена в соответствии с данным подходом. Аргументативный элемент нарратива отождествляется с логической структурой, предположительно присутствующей во всех нарративах. Считается, что эта логическая структура представлена хорошо известной "моделью охватывающих законов"; следовательно, нарратив связывается исключительно с его объяснительной функцией. Для того чтобы проиллюстрировать данный подход, я сопоставляю точки зрения М. Уайта и А. Данто.

Уайт проводит различие между "хроникой" и "историей". Хроника содержит фактологическое описание не только отдельных событий, но также и условий более общего характера, например материальных условий жизни людей в прошлом. Факты, упоминаемые в "хронике", связываются в "истории" причинной связью. Хроника отвечает на вопросы типа "Что случилось потом?", история же — на вопросы "В чем состоит значение этого события, т. е. какие причинные связи существуют между ним и другими событиями?" Чтобы нарратив, взятый как некое целое, был "истинным", должны выполняться два требования: (1) факты, упоминаемые в нарративе, должны быть в нем точно описаны, (2) только на основе хорошо подтвержденных эмпирических законов можно утверждать существование причинной связи между упоминаемыми в нарративе фактами. Таким образом, нарратив (как хроника, так и история) имеет следующую форму: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \dots$ и т.д., где "A", "B", "C", "D" и т.д. обозначают отдельные факты. На каждой стадии нарратив содержит ссылку, чаще всего неявную (ср. "наброски объяснения" Гемпеля), на "охватывающие законы": $a \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow d$ и т.д., где "a" "b" "c" "d" и т.д. обозначают классы явлений, к которым принадлежат A, B, C, D и т.д., соответственно⁸. Для того чтобы нарратив был истинным, требуется как истинность утверждений, описывающих факты, так и общезначимость "охватывающего закона".

Анализ нарратива у Данто имеет большое сходство с идеями Уайта. В согласии с Уайтом Данто рассматривает нарратив не как целостность, а как комплекс, состоящий из предложений, которые он называет "нарративными". Свойства нарратива могут быть определены только в ходе изучения "нарративных предложений", составляющих нарратив. По существу, книга Данто является попыткой установить, насколько видение историка, ограниченное его настоящим, ответственно за содержание нарратива и за способ, каким фор-

мируются отдельные нарративные предложения. Многие из того, что Данто говорит по этому поводу, представляется мне здравым и ценным, хотя иногда он склонен усложнять свою аргументацию⁹. Однако я оставляю в стороне этот аспект его исторической теории, потому что он не имеет прямого отношения к настоящему исследованию.

Как, с точки зрения Данто, выглядят нарративные предложения и образованные из них нарративы? В общем, говорит Данто, мы можем быть уверены, что нарративные предложения сообщают о начале и конце процесса изменения отдельного объекта, который за период изменения в большей или меньшей степени остается самим собой. Поэтому в своей самой элементарной форме нарратив будет выглядеть следующим образом: (1) x есть F в момент времени t_1 ; (2) H происходит во время t_2 ; (3) x есть G в момент времени t_3 . Нарратив этой формы Данто называет "нарративным аргументом". Данто подчеркивает, что такой нарративный атом может быть легко переписан в форме дедуктивного объяснения, как его определяет модель охватывающих законов". Он согласен со Скривном в том, что используемые в нарративном аргументе "охватывающие законы" зачастую будут не более, чем "тривиальностями" и их можно опустить при изложении этого аргумента в нарративе. История тем увлекательна и тем отличается от естественных наук, что историк пытается описать прошлое таким образом, чтобы упоминаемые события можно было причинно связать с помощью "тривиальностей" Скривна при тех самых описаниях, с помощью которых эти события вводятся в нарратив¹⁰.

Неудивительно, что Данто усматривает важное сходство между нарративным аргументом и дедуктивным объяснением (согласно модели охватывающего закона). В обоих случаях мы находим, что (1) объект, подвергающийся изменению, остается приблизительно тем же самым, что (2) заключение не может содержать больше, чем содержат посылаки, что (3) разрешается добавлять посылаки, не имеющие отношения к нарративному

⁸ M. White; pp. 222 ff.

⁹ Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории // Логика объяснения. М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. С. 24—25. Пер. О.А. Назаровой.

¹⁰ Следует заметить, что знак импликации в ' $A \rightarrow B$ ' выражает эмпирическое требование, в то время как импликация ' $a \rightarrow b$ ' имеет логический характер.

¹¹ Некоторые взгляды Данто на природу "нарративных предложений" были основательно оспорены в кн.: M.G. Murphey, *Our Knowledge of Historical Past*, New-York 1973; pp. 113 ff.

¹² Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 204.

аргументу или дедуктивному объяснению. С другой стороны, согласно Данто (здесь он расходится во мнениях с Уайтом) существуют важное различие между нарративным аргументом и дедуктивным объяснением.

Нарративный аргумент включает следующее: (1) вещь s находится в состоянии A , (2) события e оказывает некоторое каузальное воздействие на s , (3) в результате этого s находится в состоянии D . Схематически это можно представить следующим образом: " $\hat{A} \hat{P}$ ". Таким образом, мы можем представить себе следующий молекулярный аргумент $\hat{A} \hat{P} \hat{E} \hat{D}$, в котором упоминаются а) три события e_1 , e_2 и e_3 , вызывающие изменения в s , и б) три состояния B , C и D , вызванные этими событиями. Данто утверждает, что "в молекулярном повествовании, каждое звено /./ подпадает под общий закон...", но необязательно существует общий закон, охватывающий все изменение в целом"¹³. Мы можем объяснить, как s пришло в состояние D , только если учтем изменения, вызванные каждым из событий e_1 , e_2 и e_3 . После того, как произошло e_1 , у нас нет каких-либо оснований ожидать, что произойдет e_2 . То же самое верно относительно e_2 и e_3 . Следовательно, пребывание s в состоянии D нельзя объяснить с помощью общего закона вида $(x) (Ax \rightarrow Dx)$. Отсюда Данто делает вывод, что когда мы имеем дело с молекулярными нарративными аргументами, аналогия между ними и дедуктивными объяснениями теряет свою силу.

Я согласен с Данто, что не существует общего закона $(x) (Ax \rightarrow Dx)$, но не существуют также и законов $(x) (Ax \rightarrow Bx)$, $(x) (Ax \rightarrow Cx)$ и т.д., которые Данто, видимо, принимает. Само событие e_1 , а не пребывание s в состоянии A , причинно обуславливает пребывание s в B . В действительности существуют законы вида $(x) (Px \rightarrow Bx)$, $(x) (Qx \rightarrow Cx)$ и т.д., где "P", "Q" обозначают факты о том, что события e_1 , e_2 и т.д. произошли с s . Очевидно, что эти законы не доказывают существования более всеобъемлющего закона, по отношению которому они были бы частными случаями.

Вместе с тем, Данто противоречит себе, когда сначала утверждает, что такой всеохватывающий закон невозможен, а затем верно отмечает, что мы можем представить себе общий

¹³ Там же. С. 238.

закон следующего вида: $(x) (P t_1x \& Q t_2x \& R t_3x \rightarrow D t_4x)$, где индексы t_1 , t_2 и т.д. обозначают время появления событий e_1 , e_2 и т.д. Безусловно, этот общий закон может быть использован в дедуктивном объяснении пребывания s в состоянии D в момент времени t . Таким образом, даже сам Данто в своем изложении допускает аналогию между дедуктивным объяснением и нарративным аргументом. Правда, Данто дает более тонкий анализ нарратива, чем Уайт: между отдельными фазами внутри процесса изменения он оставляет свободное пространство. Поэтому его анализ допускает влияние причин, действующих как бы "извне". Согласно же описанию нарратива у Уайта каждая фаза процесса изменения сама является причиной сменяющей ее фазы. А это не соответствует реальности. Однако, как мы видели, даже Данто не удается освободить нарративный аргумент от дедуктивного объяснения: всегда возможно перевести один в другое и наоборот. Поэтому, в итоге, позиции Данто и Уайта совпадают. Анализ Данто является усовершенствованием анализа Уайта, но не радикальным отходом от него.

Против этих попыток построения идеального нарратива в соответствии с моделью охватывающих законов можно выдвинуть ряд возражений. Во-первых, встает проблема относительно объекта изменения, который, как предполагается, остается тем же самым в ходе изменения. Это условие вполне приемлемо, пока мы имеем дело с довольно банальными примерами, которые Данто (подобно большинству философов) использует для иллюстрации этого положения. Действительно, можно сказать, что машина или стол после повреждения остаются той же машиной или тем же столом. Хотя даже здесь, как свидетельствуют недавние дискуссии о "тождестве в процессе изменения", можно легко увязнуть в сложных проблемах, относительно которых существует больше разногласий, нежели единомыслия"¹⁴. Возьмем, к примеру, Германию в

¹⁴ Для автомобилей и столов тождество в процессе изменения чаще всего доказывают ссылкой на пространственно-временную непрерывность. Однако приводятся доводы в пользу того, что пространственно-временная непрерывность является ненадежным критерием, ср. J. Nelson. Дdiamетрально противоположную точку зрения, а именно, что вещь может оставаться той же самой, даже если она претерпевает самые катастрофические изменения, отстаивает госпожа Прайс.

период с 1815 по 1871 год, когда она перестала быть чисто географическим названием и превратилась в единое национальное государство. Имеем ли мы здесь только один объект изменения или два, или, может быть, тридцать девять (по числу германских государств после наполеоновской реорганизации и Венского конгресса)? И если мы предпочтем говорить о двух объектах изменения, что тогда стало со вторым к 1875 году, когда, очевидно, сохранился только один из них? Неужели он просто исчез? Я не буду углубляться в эту проблему, поскольку в главе V она будет рассмотрена более детально, чем это возможно на данном этапе.

Во-вторых, почти все зависит от приемлемости модели охватывающих законов. Я не намерен долго останавливаться на ее достоинствах и недостатках как модели объяснения. С 1942 года — со времени публикации знаменитой статьи Гемпеля — литература, посвященная этой модели, достигла таких размеров, что для ее рассмотрения понадобился бы том порядочного размера. Здесь будет достаточно сказать, что ценность этой модели объяснения для естественных наук недавно была подвергнута сомнению. Модель охватывающих законов предполагает, что связь между экспланансом и экспланандумом носит дедуктивный характер. Но оказывается, что такая связь отсутствует во многих объяснениях, которые ученые принимают без возражений¹⁵. Вследствие неопределенности и многозначности понятий, используемых историками, этот разрыв между экспланансом и экспланандумом в историческом объяснении еще значительнее. Данто вполне готов признать это, несмотря на его явную приверженность модели охватывающих законов¹⁶.

В-третьих, охватывающие законы, которые, как предполагается, историк применяет при объяснении прошлого в соответствии с данной моделью, имеют весьма шаткое основание и обычно допускают множество исключений. В значительной мере дискуссии вокруг модели охватывающих зако-

нов касаются вопроса, как можно “смягчить” предполагаемые этой моделью охватывающие законы, чтобы привести их в согласие с историографической практикой. С этой целью Гардинер ввел свои так называемые “неплошные обобщения”, которые допускают “большой запас исключений”¹⁷. Решер и Джойнт изобрели “ограниченные обобщения”, “основой которых служат непродолжительные регулярности, возникающие благодаря существованию ограниченных во времени технологических и институциональных моделей”¹⁸. Много энергии было затрачено на различные статистические и вероятностные истолкования модели охватывающих законов¹⁹. Утверждалось даже, что в большинстве случаев применяемые историком охватывающие законы вообще не имеют эмпирического содержания²⁰. Поражает, что, несмотря на все трудности, порождаемые этой моделью, философы очень неохотно от нее отказываются. Хотя в эти годы наблюдается замечательное возрождение философии Коллингвуда, большинство философов истории, принадлежащих к аналитической традиции, на мой взгляд, все еще являются сторонниками того или иного варианта модели охватывающих законов. Даже тот факт, что большая часть профессиональных историков всегда осуждала эти дискуссии как довольно нелепые, мало что изменил в сложившейся ситуации.

Итак, я признаю, что модель охватывающих законов никогда, вероятно, не будет окончательно отвергнута. Подобные модели, скорее, служат “законодательством”, устанавливающим, как следует создавать историографию. Нельзя опровергнуть закон, просто не подчиняясь ему. Кстати, именно по этой причине я говорю о модели охватывающих законов в

¹⁷ P. Gardiner, *The Nature of Historical Explanation*, Oxford, 1968. P. 93.

¹⁸ C. B. Joynt and Rescher, *The Problem of Uniqueness in History*, in G. N. Nadel, *Studies in The Philosophy of History*, New York 1965. P. 8—11.

¹⁹ Например, Nagel, P. 555—558.

²⁰ См. M. Scriven, *Truism as The Grounds for Historical Explanation*, in P. Gardiner ed., *Theories of History*, New-York, 1959. В этой статье Скривин утверждает, что используемые историком охватывающие законы застрахованы от фальсификации, поскольку они всегда имеют следующую форму: если условия, упоминаемые в antecedентах закона выполнены в достаточной мере, имеет место следствие. Благодаря уточнению “в достаточной мере” в охватывающих законах историка все контрпримеры можно исключить как несущественные.

¹⁵ Например, Hesse, p. 238.

¹⁶ Данто показывает, что историческое явление, которое мы открыли в прошлом и хотим объяснить (“*explanandum*”), чаще всего можно объяснить, только если дать этому явлению очень общее описание. Ср. Данто А. С. 209 и далее.

этой главе, а не позже, когда я буду излагать свой собственный подход к системе нарративной логики и буду обсуждать возможные альтернативы (см. главы V и VI). Сторонник модели охватывающих законов начинает свое истолкование нарратива не с принятия его в том виде, в каком он действительно существует, чтобы затем установить некую систему нарративной логики²¹. Он идет обратным путем, которым, как известно, идти значительно легче. Такие философы, как Поппер, Гемпель, Мандельбаум, Уайт, Данто и многие другие заимствовали эту модель из формальной логики ("modus ponens") и философии точных наук, будучи убежденными в том, что формальная логика и рассуждения в точных науках являются единственным источником правила корректного мышления. Затем они старались подогнать нарратив под эту модель. С этого времени философские сочинения о природе исторического объяснения напоминали попытку натянуть на двуспальную кровать простыню от односпальной кровати: каждое усилие добиться успеха в одном месте оборачивалось неудачей в другом.

Теперь предположим, в порядке рассуждения, что модель охватывающих законов, в конце концов, окажется приемлемой моделью объяснения для большинства наук. Но даже в этом случае мало что можно сказать в пользу попытки Данто и Уайта охарактеризовать нарратив с помощью данной модели. Согласно предложенному Уайтом и Данто анализу познавательная ценность нарратива заключается в той связи, которая существует между предложениями, составляющими данный нарратив (т. е. в их каузальной связи — если речь идет об упоминаемых в нем фактах). Модель охватывающих законов не предъявляет никаких особых требований к содержанию предложений в нарративе. Естественно, это не вполне правильно: содержание предложений должно быть таковым, чтобы можно было установить между ними дедуктивную связь посредством общих утверждений. Но, с точки зрения сторонника рассматриваемой модели, содержание этих

²¹ Вейнгартнер утверждал, что сторонники и противники модели охватывающих законов большей частью не понимают друг друга из-за различных исходных позиций. См.: R.H. Weingartner, *The Quarrel about Historical Explanation*, in R.H. Nash ed., *Ideas of History*, New York, 1969.

предложений является чем-то вроде переменной, вместо которой можно подставить что угодно, лишь бы не нарушалась дедуктивная структура. Однако нетрудно показать, что это вряд ли является достаточным условием для создания нарратива, удовлетворяющего даже самым скромным нашим требованиям.

Возьмем простой нарратив, который отвечает требованиям модели охватывающих законов и состоит из фактических утверждений *A*, *B* и *C*. Предположим, что в *A*, *B* и *C* упоминаются факты *a*, *b* и *c*, соответственно. Предположим далее, что *A*, *B* и *C* можно увязать друг с другом посредством следующих охватывающих законов: $(x) (ax \rightarrow \beta x)$ и $(x) (\beta x \rightarrow \gamma x)$, где *a*, *β* и *γ* обозначают виды явлений, к которым принадлежат, соответственно, события *a*, *b* и *c*. Теперь мы можем заменить предложение *B* любым предложением (или набором предложений) *B*₁, если только факт *b*₁, упомянутый в предложении (или наборе предложений) *B*₁, принадлежит к классу событий, обозначенных как *β*. Нетрудно придумать пример, противоречащий требованиям модели охватывающих законов. Предположим, что предложение *A* сообщает о решении Гитлера вторгнуться в Нидерланды в 1940 году, в то время как в предложении *B* утверждается, что немецкие солдаты пересекают голландскую границу и оккупируют Нидерланды, а в предложении *C*, — что некоторые районы Нидерландов подверглись разрушениям в ходе военных действий. Этот нарратив легко согласовать с моделью охватывающих законов: соответствующие охватывающие законы читатель может восстановить сам, и у нас есть все основания предположить, что эти законы хорошо подтверждены. Теперь мы можем заменить предложение *B* предложением *B*₁, описывающим нейрофизиологическое состояние немецких солдат, принявших участие в оккупации Нидерландов. Тогда *B*₁ содержит описание а) нейрофизиологического состояния немецких солдат, вызванное приказом Гитлера о наступлении, и б) нейрофизиологических процессов в головах солдат, инициировавших их действия, направленные на разрушение некоторых районов Нидерландов. Возможно, следовало бы углубиться в детали и установить точную связь между описаниями а) и б), но я не думаю, что это необходимо. Во всяком случае, после замены *B* на *B*₁ (что позволяет трактовка нарратива согласно модели

охватывающих законов) мы получаем очень странный нарратив, который начинается с сообщения о плане Гитлера напасть на Нидерланды, Бельгию и Францию, потом следует нелепый рассказ о нейрофизиологическом состоянии немецких солдат, и заканчивается все сообщением о бомбардировке Роттердама. Совершенно очевидно, что хотя каждая стадия в этом якобы "нарративе" может быть причинно связана с тем, что ей предшествовало и что за ней последовало, все же мы имеем перед собой очень разнородный текст, совершенно неприемлемый в качестве нарратива. Таким образом, мы можем смело заключить, что для нарратива недостаточно соответствия модели охватывающих законов.

Соответствие данной модели не является также и необходимым условием для признания какого-либо текста нарративом. Мы легко можем представить себе совершенно ясный нарратив, структура которого, тем не менее, не соответствует модели охватывающих законов, как этого требуют Уайт и Данто. Я согласен с Хаскелем Фейном, который выдвинул достаточно убедительный аргумент в пользу этого. Представим себе следующий состоящий из четырех стадий микро-нарратив (я признаю, что данный нарратив является слишком простым, но если структуре такого простого нарратива не нужно соответствовать модели охватывающих законов, то требования этой модели имеют даже еще меньшую силу для обычных, более сложных нарративов): (1) Мистер Смит открыл двери гаража, (2) завел мотор машины, (3) выехал из гаража, (4) вышел из машины и закрыл двери гаража²². Никто не будет возражать, что этот нарратив вполне приемлем несмотря на свою краткость. И Фейн справедливо заключает: "После того как упомянутый мистер Смит открыл двери гаража, он завел мотор машины. Совершенно ясно, что отношение между этими двумя происшествиями не является отношением причины и следствия. С точки зрения причинности, открыванием дверей гаража нельзя завести мотор (но можно напугать собаку). Эпизоды в рассказе могут быть причинно связаны, но нарративной связности между эпизодами можно достичь и при отсутствии между ними причин-

²² Fain; P. 283.

ной связи"²³. Возможно, какого-нибудь сторонника Данто совершенно не убедит этот пример и вывод Фейна. Он может ответить, что все действия мистера Смита причинно зависят от его намерения вывести машину из гаража. Поэтому он предложит строго каузальное объяснение: (1) каждый водитель машины, желающий выехать из гаража, не причинив ущерба ни гаражу, ни машине, последовательно выполнит действия (a) — (n). (2) Мистер Смит хочет выехать на машине из гаража, не причинив ущерба ни гаражу, ни машине, следовательно, он последовательно выполнит действия, упомянутые в предложениях (1) — (4).

Все же я не думаю, что возражения сторонника модели охватывающих законов подрывают позицию Фейна. Следует понимать, что сторонник модели охватывающих законов переформулирует здесь в терминах своей модели телеологическое объяснение. Прежде всего, он, вероятно, ошибочно ожидает, что телеологическое объяснение сослужит ему хорошую службу: сторонники так называемого "аргумента логической связи", например, А. Донаган и Г.Х. фон Вригт, настаивали на том, что между моделью охватывающих законов и телеологическим объяснением есть существенная разница²⁴. Однако в своей блестящей работе Р. Мартин основательно оспорил эту точку зрения. Поэтому я не буду рассматривать данное возражение²⁵. Я обращаю внимание читателя на тот факт, что телеологический характер является крайне редким и определенно нетипичным для нарратива. Следовательно, в некоторых случаях можно переформулировать нарратив с помощью модели охватывающих законов, но чаще всего это сделать невозможно. Если мы скажем, например, что Французская

²³ Fain, P. 302.

²⁴ Согласно фон Вригту общее правило, в соответствие с которым строятся телеологические или интенциональные объяснения, является не эмпирическим, а логическим. Он обосновывает это тем, что нельзя верифицировать антешедные условия этого правила, не верифицируя при этом следствия, и *vice versa*. См.: von Wright, особенно pp. 115 ff.

²⁵ Martin; pp. 173 ff. Детальное обсуждение взглядов фон Вригта и Мартина по поводу телеологического объяснения и аргумента логической связи см.: E.R. Ankersmit, Een nieuwe synthese? Recente ontwikkelingen in de Angelsaksische geschiedfilosofie, *Theoretische geschiedenis* 6 (1979). P. 58—91.

революция начинается с восстания знати в 1788 году и заканчивается падением Робеспьера в 1794 году, то тогда падение Робеспьера, конечно, является концом Французской революции (и последним эпизодом, который следует упомянуть в нарратива о Французской революции), но ни в коем случае не ее целью. Общая гипотеза, связующая цель со средствами ее достижения (как это предполагается в общей гипотезе, упомянутой под цифрой (1) в предыдущем абзаце), дополненная той посылкой, что кто-то хочет достичь этой цели, вообще говоря, образует недостаточное основание для придания соответствующей структуры нарративу просто потому, что исторические явления обычно не имеют никакой цели. Кстати, можно заметить, что даже там, где перевод в (телеологическую) модель охватывающих законов действительно возможен, полученный результат имеет шероховатости, которые делают его гораздо менее привлекательным, чем исходный нарратив. Вернемся снова к мистеру Смигу и его машине. В исходном нарративе отчетливо различимы стадии (1)—(4), и, вероятно, именно в этом и состояло его назначение; перевод исходного нарратива, производимый сторонником модели охватывающих законов, напротив, соединяет эти четыре стадии в некий нечеткий перечень, в котором каждая стадия уже не представляет самостоятельного интереса.

Как, в таком случае, спросим мы, можно “добиться нарративной связности эпизодов” в нарративе? По мнению Фейна, ответ на этот вопрос дает разнообразная традиционная спекулятивная философия истории. Нам следует представить историческое прошлое в виде толстого и массивного стержня, состоящего из нескольких слоев, каждому из которых соответствует своя спекулятивная философия истории. Таким образом, есть слой истории идей, получившей свой *raison d'être* в гегелевской философии истории (вся история есть история Идеи, стремящейся к самоосуществлению), есть слой экономической истории, основанный на Марксовом спекулятивном истолковании истории (вся история есть история диалектиче-

⁷ По всей видимости, Анкерсмит имеет в виду собрание notableй (принцев, герцогов, пэров и других представителей дворянства), которое Людовик XVI созвал в 1787 г. и вынужден был распустить в 1788 г. из-за его открытого неповиновения. — Прим. ред.

ской борьбы между производительными силами и производственными отношениями²⁴) и т.д. Соответственно, каждая спекулятивная философия истории дает, по словам Фейна, свой особый срез “толщи истории”, и все происшествия внутри этого среза могут быть связаны в нарративе. Таким образом, спекулятивная философия истории в разных ее видах ведет историка сквозь хаос исторического прошлого и показывает ему, какие происшествия (события) он должен отбирать, чтобы достичь нарративной связности. Похожие идеи были предложены Мунцем в его недавней книге²⁷.

Этот очень интересный подход определенно содержит больше, чем просто зерно истины: если бы историк произвольно двигался сквозь эти разные слои, его нарратив был бы совершенно непонятным. Тем не менее, как известно любому, кто читал исторические труды, историки достаточно свободно перемещаются сквозь эти разные слои, и, вероятно, лучшим является историческое сочинение, в котором это перемещение проделано наиболее успешно. Поэтому я думаю, что в теории Фейна о метафизических слоях (“Schichten”) есть что-то ошибочное. Следует отметить, что имеется устрашающее сходство между теорией Фейна и учением Декарта о двух субстанциях. Декарт утверждал, что существуют две субстанции, к которым, в конечном счете, можно свести все наши утверждения о реальности (“res cogitans” и “res extensa”); сходным образом и Фейн постулирует существование несводимых друг к другу метафизических слоев внутри исторического прошлого. Поэтому следует ожидать, что “историческое картезианство” Фейна не защищено от той же критики, которая недавно была выдвинута (например Райлом и Стросоном) против картезианской психофизической дихотомии. Можно отметить, что историки используют большое количество по-

²⁴ Очень ясное и убедительное изложение мыслей Маркса об отношении между Produktivkräfte [“производительными силами”] и Produktionsverhältnisse [“производственными отношениями”] см. в кн.: W.H. Shaw, *Marx's Theory of History*, Stanford 1978; особенно гл. I.

²⁷ Подобно Фейну, Мунц приписывает спекулятивной философии истории задачу выявления тех сторон прошлого, которые могут быть осмысленно связаны. См.: P. Munz, *The Shapes of Time. A New Look at The Philosophy of History*, Middletown, p. 252: “настоящая цель философии истории состоит (...) в том, чтобы увеличивать число умпостижимых отношений”.

ятий, которые можно назвать "соединительными" (например "революция", "колониализм", "социализм" и т.д.), т.е. понятий, которые одновременно принадлежат к различным метафизическим слоям. Очевидно, границы между этими слоями не так уж четко прочерчены, как нас стремится убедить Фейн.

Давайте вернемся к нашему обсуждению трактовки нарратива, предложенной сторонником модели охватывающих законов. Из вышесказанного можно сделать вывод, что соответствие требованиям данной модели не является ни достаточным, ни необходимым условием для признания какого-либо текста приемлемым нарративом: мы можем представить себе набор предложений, который отвечает этим требованиям и, тем не менее, не является нарративом; с другой стороны, мы установили вместе с Фейном, что существует множество осмысленных нарративов, не имеющих четкой структуры, задаваемой моделью охватывающих законов. Конечно, я готов признать, что *некоторые* нарративы действительно обладают такой структурой, но делать отсюда вывод, что она всегда *присутствует* или *должна присутствовать*, чтобы набор предложений был осмысленным нарративом, непозволительно. Во многих отношениях этот вывод сродни предположению, что реальный мир в действительности таков, каким его обычно стремятся представить кубисты; но даже если бы последовательное применение кубизма дало, в конце концов, картину реальности, чрезвычайно близкую к тому, как мы эту реальность видим, это не оправдывало бы утверждения, что формы физической реальности действительно подобны квадрату. Поэтому тезис о том, что все нарративы должны в конечном итоге иметь структуру, задаваемую моделью охватывающих законов, поскольку такая структура есть у некоторых нарративов, служит прекрасным примером того, что можно назвать (если мне позволят ввести такой термин) "методологической метафизикой": здесь определенной методологической модели отдается такое же необоснованное предпочтение, какое традиционная метафизика всегда отдавала какому-то аспекту (или аспектам) реальности. Это не тот путь, которым должен идти непредубежденный философ. Ему не следует довольствоваться методологической моделью, которая так мало согласуется с действительной историографической практикой. Поэтому мы можем сделать вывод, что

следует отвергнуть модель охватывающих законов как образца идеального нарратива.

Наконец, напомню, что наше обсуждение достоинств модели охватывающих законов как образца идеального нарратива начиналось с предположения, что существует некоторое сходство между нарративом и аргументацией и что присутствию нарративу аргументативный элемент можно отождествить с логической структурой указанной модели. Однако весьма сомнительно, что такое предположение оправданно и что сходство между нарративами и аргументацией на самом деле существует. В отличие от аргументации нарратив имеет *конец*, а не заключение. Конец нарратива не является своеобразной стенограммой рассказанного ранее; невозможно восстановить и послышки, из которых следовал бы конец нарратива так же, как это имеет место в аргументации. Допустим, мы хотим определить энергию электрического поля вокруг заряда Q , если известно, что в этом поле заряд q перемещается из P_1 (находящемся на расстоянии r_1 от Q) в P_2 (находящемся на расстоянии r_2 от Q). С помощью интегрального исчисления мы можем установить, что эта энергия $W = f_0 q Q (1/r_1 - 1/r_2)$, где f_0 — константа. Итак, я хочу подчеркнуть, что для истолкования этой формулы нам не нужно знать, как она может быть доказана. Любой, кому известно, что означают ее переменные, может использовать эту формулу, даже если не знает, как ее можно вывести. Знание "вывода", ведущего к данной формуле, не имеет, так сказать, отношения к смыслу его "заключения" (т.е. к уравнению для W). Это определенно не так, когда мы имеем дело с нарративами. Хотя мы можем сказать, что какой-то нарратив имеет заключение (а большинство нарративов не имеют его в собственном смысле этого слова), такое заключение очень редко, если вообще, "отделимо" от нарратива как целого (Минк). Возьмем для примера хорошо известный тезис Пиренна, гласящий, что, с экономической точки зрения, Средние века начинаются не ранее VIII века. Этот тезис нельзя отделить от всей книги Пиренна²⁸; для его правильной трактовки мы должны достаточно хорошо знать ее, и каждый раз, комментируя или используя его, исто-

²⁸ J. O. Mink, *Philosophical Analysis and Historical Understanding, Review of Metaphysics* XXI (4) (1968), p. 638 ff.

рик должен будет пролистывать эту книгу. Поэтому если аргументация имеет "отделимое" заключение, а нарративы не могут быть "отделены" или "изолированы" от своих заключений, то, видимо, ошибочно предполагать, будто нарративы должны являться особой разновидностью аргументации.

(5) *Подход Минка*. Следующий подход к определению идеального нарратива мы нашли в пронизательных и побуждающих к размышлению работах Л.О. Минка о нарративе. Согласно Минку нарратив есть видение исторических событий и обстоятельств, "сводящее" всех их вместе в едином мысленном постижении³⁰. Разделенное в прошлом должно быть схвачено историком в едином сводном видении в форме исторического нарратива.

Как можно достичь такого сводного видения? Минк упоминает три различных способа, которые мы можем использовать для упорядочения нашего опыта (он называет их "способами понимания"): 1) категориальный, 2) теоретический и 3) конфигурационный³¹. Категориальный способ понимания задает концептуальный каркас, позволяющий осознать принадлежность разных вещей к одной и той же категории; теоретический способ понимания позволяет подвести несочетающиеся явления под одну и ту же теорию (даже если они принадлежат к разным категориям, согласно первому способу понимания). Например, в рамках второго способа понимания коррозия железа и горение бумаги — это явления, охватываемые одной и той же теорией (теорией окисления в данном случае). Конфигурационный способ понимания — именно он характерен для историографии — существенно отличается от двух предыдущих. Здесь мы имеем дело с видением, сводящим вместе вещи, которые с позиции первых двух способов (ими предпочли бы ограничить сферу историографического описания приверженцы социально-научного подхода к истории) кажутся совершенно несовместимыми.

Это сводное видение может быть осуществлено в рамках конфигурационного способа понимания, когда отдельные ком-

поненты нарратива, говорит Минк, подходят друг к другу "конфигурационно", подобно кусочкам составной картинки-загадки. Достигается такое конфигурационное соответствие различных компонентов нарратива тогда, когда делается все возможное, чтобы связать предложения (или множества предложений) "сетью частично совпадающих (overlapping) описаний"³². Мысль Минка можно пояснить следующим примером, который он приводит сам. Возьмем фразу "А принимает предложение"; это утверждение имеет смысл только в том случае, если прежде А было сделано предложение. Поскольку описание "некто (А в данном случае) принимает предложение" всегда предполагает прежде сделанное предложение, то описание "А принимает предложение" частично совпадает с описанием ситуации, когда А было сделано предложение. Поэтому Минк считает выражение "принимает предложение" (в противоположность, например, выражению "отправляет телеграмму") "типичной формулировкой рассказа". Благодаря неявной ссылке на события, не упоминаемые в самом высказывании, эти "формулировки рассказа" обладают свойством "ненасыщенности" (мой термин), которое превращает их в звенья нарративной цепи "частично совпадающих" описаний. Взаимосвязанные описания соединяют вместе отдельные предложения (наборы предложений) подобно кусочкам составной картинки-загадки. Отсюда следует, что идеальным является нарратив, отдельные составные части которого подогнаны друг к другу наилучшим образом.

Думаю, что этот подход к определению идеального нарратива несостоятелен, потому что он основан на тщетной, хотя и интересной, попытке охарактеризовать нарратив. Является ли теория Минка о роли этой "сети частично совпадающих описаний" действительно приемлемой моделью для нарратива? Я не думаю. На мой взгляд, теория Минка требует одновременно слишком малого и слишком многого. Начнем со "слишком малого". Ветхозаветная родословная ("Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил... и т.д.") может быть видоизменена таким образом: "Исаак был сыном Авраа-

³⁰ L.O. Mink, *The Autonomy of Historical Understanding*, in W.H. Dray ed., *Philosophical Analysis and History*, New York 1966 (2), 184 ff.

³¹ L.O. Mink, *History and Fiction as Mode of Comprehension*, *New Literary History* 1 (1969—1970), p. 550 ff.

³² *Ibid.*, p. 556.

ма, Иаков был сыном Исаака, Иуда был сыном Иакова, Фарес ... и т.д." Никто не может быть сыном, если нет того, кто является или был его отцом. Так что все описания для "Исаака", "Якова", "Иуды" ... и т.д., имеющие форму "... был сыном..." действительно частично совпадает друг с другом, как того требует Минк. Тем не менее, немного людей сочтут эту родословную приемлемым нарративом: в ней нет единого предмета рассмотрения, нет сюжетной линии и т.д. Таким образом, для приемлемого нарратива — и *a fortiori* для идеального нарратива — требуется больше, чем возможность соединения их составных частей посредством "частично совпадающих описаний". Кроме того, как ясно показывает наш пример, в своей теории частично совпадающих описаний Минк отдает явное предпочтение предикатам, выражающим отношения, т.е. предикатам, которым нужно по меньшей мере два объекта для образования истинного суждения. Но есть немного оснований полагать, что все сказанное историком можно во всех случаях передать с помощью такого рода предикатов. В действительности, как будет показано в главе VI, по своему характеру нарративная логика является строго лейбницевской. Следовательно, в согласии с соответствующей направленностью логики Лейбница нарратив представляет собой форму знания, для которой характерно как можно меньшее использование выражающих отношения предикатов: нарратив, как гласит хорошо известный историцистский афоризм, стремится "понять исторические события, исходя из них самих". С этой точки зрения, выражающие отношения предикаты составляют серьезное препятствие для наилучшего нарративного представления исторического прошлого.

С другой стороны, Минк требует слишком многого. Этому не нужно удивляться: *raison d'être* нарратива состоит в том, чтобы сообщать нам о том, чего нельзя знать или нельзя ожидать на основании уже сказанного. Новые, как бы привносимые, элементы необходимо включать в нарратив непрерывно, чтобы чтение ее имело смысл. Отсюда можно сделать вывод, что нарратив *sui generis** должен содержать больше, чем позволяет высказать предложенная Минком "структура частич-

но совпадающих описаний". Однако Минк мог бы возразить, что при введении новых подробностей, ситуаций и т.д., очень часто можно высказывать неизвестные или неожиданные вещи, даже если эти подробности и т.д. вводятся при поддержке "частично совпадающих описаний". Возьмем собственный пример Минка. То, что именно Генри сделал предложение, можно сказать, образует "новый" факт. И все-таки сам этот пример показывает, что такой ответ не будет убедительным. Ибо как имя собственное "Генри", так и все термины, обозначающие отдельных индивидов и т.п., введенные в рамках частично совпадающих описаний, будут выполнять референциальную, а не описательную функцию (только сами частично совпадающие описания выполняют описательную функцию). С этой точки зрения, референциальное выражение является, так сказать, конечной точкой, т.е. разрывом в цепи "формулировок рассказов", соединенных между собой частично совпадающими описаниями. Только если бы мы могли представить себе дескрипцию, которую можно повторно (или как парафраз) использовать в каждом предложении нарратива, подход Минка был бы применим на практике. Но я не представляю, как могли бы выглядеть такие дескриптивные термины, и даже если бы они действительно существовали, они несомненно порождали бы очень странные нарративы.

Тем не менее, нам не следует выносить слишком суровый приговор предложенному Минком подходу. Если его истолковать так, что между отдельными предложениями нарратива всегда должна существовать определенная связь, то можно только согласиться с ним. Трактую его таким образом, мы можем сказать, что для Минка идеальный нарратив представляет собой наиболее ясное и удобочитаемое нарративное описание прошлого (или фрагментов прошлого). И, безусловно, если существует такая вещь как идеальный нарратив, ясность и удобочитаемость принадлежат к его первостепенным свойствам. Однако, как мы все знаем, одной ясности недостаточно, чтобы нарратив был приемлемым. Мы должны помнить, что нарративы всегда описывают, что произошло в прошлом. В нашем поиске идеального нарратива мы еще не рассмотрели тот очевидный вопрос, каким в идеальном нарративе должно быть отношение между (исторической) реальностью и ее нарративным изображением. Поэтому следую-

* Тем более (лат.). — Прим. перев.

* Зд.: в силу своей особой природы (лат.). — Прим. перев.

щие три подхода к определению идеального нарратива будут попытками определить идеальное отношение между полным (или фрагментами прошлого) и его (их) нарративным описанием.

(6) *Подход на основе полного описания.* Наиболее естественно было бы предположить, что идеальное описание должно представлять (собой) *полное* описание прошлого (фрагментов прошлого) или что на любой вопрос, который может вызвать нарратив, ответом могут быть или сами предложения нарратива или выводимые из них следствия (см. раздел (2)). В таком случае отношение между (исторической) реальностью и ее нарративным изображением является оптимальным. Конечно, ни один историк и ни один философ истории никогда всерьез не отстаивали ту точку зрения, что историкам следует создавать нарративы, которые дают полное описание прошлого. Но более слабые варианты этого подхода не так уж непопулярны. Иногда высказывается мнение, что чем полнее нарративное описание прошлого, чем ближе оно к полному описанию прошлого, тем оно более истинное или приемлемое. Декарт писал, что историки допускают наибольший произвол, потому что всегда опускают определенные вещи, которые все же имели место³¹. Очевидно, с тех пор этот довод не оставляет в покое многих историков. Немало историков недовольны тем, что им приходится "производить отбор" и что, делая это, они вынуждены идти наперекор исторической реальности. Часто указывалось, что это воззрение, в конечном счете, обусловлено ошибочным представлением о "внутреннем характере всех отношений", т.е. той идеей, что мы обладаем знанием некоторой вещи только в том случае, если можем полностью описать все отношения между этой конкретной вещью и всеми другими вещами. Возможно, никакой другой философ истории не осмелился зайти так далеко в этом вопросе, как это сделал Майкл Оукшотт. "История, —

³¹ "Кроме того, сказки представляют возможными такие события, которые в действительности невозможны. И даже в самых достоверных исторических описаниях, где значение событий не преувеличивается и не представляется в ложном свете, чтобы сделать эти описания более заслуживающими чтения, авторы почти всегда опускают низменное и менее достойное славы, и от этого и остальное предстает не таким, как было" (Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 253. Пер. Г.Г. Слюсарева).

еще он, — объясняет изменение посредством полного его описания. Связь между событиями — это всегда другие события, и она устанавливается в истории посредством полного рассказа о событиях. Понятие причины, таким образом, замещается демонстрацией множества событий, внутренне связанных между собой и не допускающих никаких пропусков. (41) В истории "pour savoir les choses, il faut savoir le détail". И метод историка никогда не состоит в том, чтобы объяснять с помощью обобщений, но всегда — посредством более подробных и более полных описаний³².

Поэтому, с этой точки зрения, наилучший нарратив — это наиболее подробное историческое сочинение, т.е. сочинение, максимально приближающееся к полному описанию (фрагментов) прошлого. Идеальный же нарратив, при всей его недостижимости, — это нарратив, который дает точную и полную копию прошлого. Мне хотелось бы подчеркнуть, что и сторонники жесткого варианта этого подхода, и приверженцы его более слабых вариантов не расходятся во мнении относительно того, что следует считать идеальным нарративом; их разногласия касаются лишь степени достижимости этого идеала. Конечно, уже это ставит сторонников более слабых вариантов в неудобное положение: каков смысл в идеале, которого никогда нельзя достичь? Является ли их позиция лишь неудобной или же просто внутренне противоречивой, зависит от того, какие доводы приводятся в пользу недостижимости идеала. Однако можно показать неудовлетворительность как более слабых, так и более сильных вариантов в силу наличия серьезного противоречия в самом понятии полного описания (фрагментов) прошлого.

Некоторые авторы утверждают, что нарратив можно сравнить с картой: как нам не нужна карта, на которой отмечена каждая травинка, так нам не нужны и нарративы, в которых упоминаются самые незначительные подробности прошлого. Карта не должна быть копией реальности; будь она таковой, мы с тем же успехом могли бы обратиться к самой реальности. Только будучи результатом абстрагирования от реальности, карта может быть полезной. То же самое верно и

³² "Чтобы знать целое, следует изучать частное" (франц.). — Прим. перев.
M. Oakshott, *Experience and Its Modes*, Cambridge 1978; p. 143.

в отношении исторических сочинений: мы ожидаем, что историк расскажет нам только о том, что было важным в прошлом, а не обо "всем прошлом"³⁴.

И все же, в порядке рассуждения, я введу здесь гипотетического человека, довольно наивно полагающего, что хотя нужно уделять больше внимания важным вещам в наших нарративах, тем не менее, следует упоминать все известные детали прошлого, хотя бы в сносках. По крайней мере, так должно быть в идеальном нарративе. Мы можем ответить ему следующим образом. Если полное описание прошлого возможно, то для его выполнения должен существовать определенный объектный язык с определенной терминологией. Предположим, что L_0 — требуемый объектный язык. Тогда мы можем сказать, что всякое свойство (фрагмента) прошлого выразимо в языке L_0 (1). Далее, представим язык L_0' , отличающийся от L_0 . Если L_0 позволяет нам дать полное описание прошлого, в то время как L_0' — нет, то причина этого кроется в природе предмета, описываемого этими двумя объектными языками (т.е. в природе самого исторического прошлого). Отсюда можно сделать вывод: "быть полностью описываемым в объектном языке L_0 (и не быть полностью описываемым в любом другом объектном языке вроде L_0') является одним из свойств (фрагментов) прошлого" (2), ибо если бы прошлое можно было полностью описать, используя язык L_0' , L_0 и т.д., оно, определенно, должно было бы в важных аспектах отличаться от того, каким оно является сейчас. Как еще мы могли бы объяснить особый статус L_0 ? Каждому языку соответствует определенный вид универсума, полностью описываемого в рамках этого языка (если, конечно, полное описание возможно, но предположим пока, что оно возможно). Поскольку в предложении (2) упоминается свойство (фрагмента) прошлого, оно (предположение (2)) должно — в силу положения (1) — являться предложением L_0 . Но утверждение о том, что можно, а что нельзя описать в L_0 , невозможно сформулировать в самом объектном языке L_0 , но только в некотором метаязыке L_m , по отношению к которому, по крайней мере, L_0 является объектным языком. Таким образом, существует некоторое свойство (фрагмента) прошлого, которое не может быть выражено

в L_0 , но может быть выражено только, к примеру, в L_m . Это противоречит положению (1). Поэтому понятие "полное описание" должно быть отвергнуто как внутренне противоречивое. И, конечно, это верно в отношении всех других более слабых и более сильных вариантов определения идеального нарратива как (максимально) полного описания.

(7) *Подход архивариуса*. Если же полное описание невозможно, то мы могли бы занять более скромную позицию и определить идеальный нарратив как нарратив, корректно сообщающий всякую мало-мальски ценную информацию, содержащуюся в архивах по тому или иному аспекту прошлого. Очевидно, что этот подход в противоположность предыдущему довольствуется слишком малым. Предположим, в нашем распоряжении имеются только один или два факта (упоминаемых Геродотом) относительно некоторой древней империи; можем ли мы серьезно утверждать, что упоминание только этих двух фактов будет идеальным нарративом о данной империи? Ошибка этого подхода состоит в том, что здесь смешиваются прошлое и знание о прошлом; когда мы спрашиваем об идеальном нарративе для некоторого исторического явления, мы хотим знать, как изображать само прошлое, а не как демонстрировать наше знание о прошлом (следует или не следует упоминать все, что мы знаем о прошлом?).

(8) *Подход эссенциалиста*. В заключении я рассмотрю подход к определению идеального нарратива, который поражает своим правдоподобием и, видимо, согласуется со всеми разумными и здравыми представлениями о нарративе. По сути, это более практичный и реалистичный вариант подхода на основе "полного описания", рассмотренного нами в разделе (6). Как утверждают его сторонники, из-за невозможности полного описания историка должны указывать, что является важным или существенным для правильного понимания прошлого. Таким образом, идеальный нарратив определяется как нарратив, который излагает сущность (фрагментов) прошлого. Этот подход кажется безупречным, и лишь немногие историки усмотрят в нем недостатки. Он верно очерчивает то, что каждый историк стремится открыть в ходе своих исследований; более того, он позволяет достичь удобного компромисса между конкретностью и неопределенностью. Поэтому

³⁴ E. Nagel, *The Structure of Science*, London 1971; p. 577.

удивительно, что этот подход (насколько мне известно) никогда серьезно не отстаивали. Возможно, его достоинства считались настолько очевидными, что никому и не приходило в голову заняться его защитой. Фактически, этот подход неявно признавался во многих теориях относительно истории. Многие философы истории скрупулезно изучали, что считается или что следует считать важным или существенным в прошлом; в частности, они задавались вопросом, какие можно сформулировать критерии для установления того, что является или было важным в прошлом. Они выясняли, например, в чем состоит значение одних событий (обстоятельств) для других событий (обстоятельств), или изучали "подлинное" значение событий (обстоятельств), формулируя, таким образом, двойной набор критериев важности событий или обстоятельств". Это имеет смысла только при условии, что историк прежде должен показать в своем нарративе, что было важным или существенным. Но это условие никогда в явном виде не выдвигалось.

Подобно всем другим подходам к определению идеального нарратива, данный подход, очевидно, также содержит зерно истины. Разумеется, историка должно интересовать, что является важным или существенным в том фрагменте прошлого, который он изучает; он не должен утомлять своего читателя перечислением незначительных фактов. Однако это не означает, что из этого совершенно верного замечания о цели исторического исследования, мы можем вывести приемлемое определение идеального нарратива. То, что составляет неотъемлемую часть какой-то конкретной цели, необязательно надлежащим образом характеризует природу этой цели. Например, тот факт, что музыканты всегда надеются доставить эстетическое удовольствие своим слушателям, проливает немного света на то, что же именно они стараются делать. Тем более это касается науки: пытается ли физик ответить на аристотелевский вопрос, что является важным или существенным в природе? И если нет, то почему в случае историка все должно быть по-другому?

Рассмотрим же этот подход более внимательно. Если он приводит к затруднениям, то, возможно, это происходит из-за неопределенности понятий "важное" и "существенное". Стало

исследование его достоинств потребовало бы от нас перечислить все возможные интерпретации этих понятий. Поскольку каждая интерпретация предполагает свое определение идеального нарратива, такая процедура легко растянулась на целую главу. Однако я не вижу необходимости идти по этому пути: как бы ни интерпретировались понятия "важное" и "существенное", любое возникающее из них определение может протестовать.

Сначала мы должны прояснить смысл выражения "сущность прошлого" или "сущность фрагмента прошлого". Где находится эта "сущность", если она вообще есть? Наверняка, не в самом прошлом. У самого прошлого нет никакой "сущности": в прошлом не существует эпизодов или аспектов, которые к полному удовлетворению историка помечены ярлыком: "это сущность". Выражение "сущность (фрагмента) прошлого" не является идентифицирующей дескрипцией фрагмента или аспекта самого прошлого; будь это так, написание истории оказалось бы очень простым занятием. Нам следует сопоставить выражение "сущность (фрагмента) прошлого" с выражениями типа "длина или вес объекта O " и противопоставить его выражениям типа "верхняя или задняя сторона объекта O " (только последние выражения обозначают части объекта O). Рассматриваемое выражение обозначает нечто концептуальное, а не что-то в самом прошлом. Каждый раз, говоря: "Это является сущностью (фрагмента) прошлого", мы указываем на интерпретацию прошлого, а не на часть действительного прошлого (хотя, конечно, эти интерпретации содержат ссылку на само прошлое). "Сущность", если угодно, всегда есть творение историка. Стало быть, наше определение должно принять следующую форму: "после кропотливого изучения источников и вспомогательной литературы историк создает в уме "нечто" (что следует называть "сущностью" изучаемого им фрагмента прошлого) и потом представляет это "нечто" в своем нарративе. Звучит правдоподобно, но в действительности это не так. Здесь предполагается, будто мы имеем дело вовсе не с одной вещью (нарративом), а с двумя (нарративом и "сущностью" того, что представлено в нарративе). Но это странно. Возьмем художника: художник или рисует то, что видит (пейзаж или Людовика XIV), или рисует картину. Оба эти утверждения вполне резонны. Но мы не

³⁵ См., например, W.H. Dray, *Philosophy of History*, Eglewood Cliffs 1964; pp. 32 ff.

можем сказать, что помимо пейзажа и картины существует нечто третье — «сущность пейзажа или облика Людовика XIV», которую рисует художник. «Сущность» не рисуют. Пожалуй, мы можем лишь утверждать, что картина как таковая *показывает* нам, что художник считал сущностью того предмета, который он изобразил. Но опять же художник рисует пейзаж или облик человека, но не сущность пейзажа или облика. Сходным образом мы можем сказать и об историке, что он или описывает в своем нарративе реальность или создает нарратив, но мы не можем сказать, что он изображает «сущность» прошлого. Тем не менее, мы можем предположить, что нарратив историка *показывает* нам, что он считал сущностью фрагмента прошлого, о котором рассказывал. Я хочу сказать, что не существует двух вещей: 1) «сущности» прошлого и 2) нарративного представления этой «сущности». Есть только одна вещь или, скорее, один род вещей — нарративы. Мы можем по тем или иным причинам предпочитать один нарратив многим другим из имеющихся у нас по какой-то конкретной теме и поэтому оценивать его как выражающего «сущность фрагмента прошлого», но — и в этом моя главная идея — когда мы говорим о «сущности» прошлого, мы всегда говорим о *нарративах* и ни о чем более. Если понятие «сущность фрагмента прошлого» вообще имеет какой-нибудь смысл, то только тогда, когда оно обозначает нарратив. Даже если перед тем, как начать писать книгу, историк составил в уме нечто такое, о чем он может сказать своим коллегам: «Я уже представляю себе сущность того, о чем буду писать», даже тогда он имеет в виду некий *нарратив* в зачаточном состоянии.

Давайте вернемся к нашему определению. Оно гласит, что идеальным является нарратив, который сообщает сущность прошлого. Поскольку выражение «сущность фрагмента прошлого» всегда относится к какому-то конкретному нарративу, у нас имеются две возможности: либо считать обозначаемый данным выражением нарратив тождественным идеальному нарративу, либо нет. В последнем случае мы определяем идеальный нарратив как нарратив, сообщающий нарратив, отличный от идеального. Конечно, это абсурд. С другой стороны, если идеальный нарратив и нарратив, обозначаемый выражением «сущность фрагмента прошлого», тождественны,

мы определяем идеальный нарратив как нарратив, который является изложением идеального нарратива. Это определение либо содержит порочный круг (если мы говорим, что нарратив, предлагающий идеальный нарратив, тождественен идеальному нарративу), либо является внутренне противоречивым (если мы предпочитаем другое решение). Таким образом, этот многообещающий подход к определению идеального нарратива также оставляет нас ни с чем.

(9) *Заключение.* Мы рассмотрели восемь подходов к определению идеальной наррации. Большинство из них были сформулированы на основе идей, высказанных в имеющейся литературе по философии истории. Вероятно, можно предложить и большее число подходов, но на данном этапе моя изобретательность и — без сомнения — терпение читателя исчерпаны. Мы установили, что все эти подходы страдают неустранимыми недостатками.

Не думаю, что дальнейшие усилия по определению идеального нарратива будут более успешными. По моему мнению, общая для любых определений «идеального нарратива» ошибка состоит в том, что они обязательно начинаются с некоторого априорного интуитивного представления о нарративе, которое затем объявляется фундаментальной или «идеальной» структурой нарратива. Но такие априорные интуитивные представления всегда являются результатом абстрагирования от свойств реально существующих нарративов, в ходе которого очень многие из этих свойств исключаются как попросту неинтересные случайные эпифеномены. Кроме того, какими бы ясными и убедительными ни были аргументы в пользу таких интуитивных абстракций, мы не сможем обосновать их приемлемость, обращаясь лишь к природе действительных нарративов. Следовательно, такие аргументы просто показывают, какие нарративы являются предпочтительными для того или иного теоретика. Они говорят не о нарративе как таковом, а о литературных и историографических пристрастиях философов-нарративистов. На самом деле, явная угроза произвола и догматизма должна стать для нас предостережением от любых попыток определить «идеальный нарратив», тем более что они напоминают нам о бесплодных дискуссиях по поводу «сущности» человека или «идеального человека».

Следует отметить, что философия науки прошла через нечто подобное, и из того, как на это отреагировали философы науки, мы могли бы сделать вывод, что нам следует изучать практику исторических изысканий и исследовать, как реальные историки пишут свои нарративы. Однако в оставшейся части книги мы попытаемся благоразумно избежать этих двух крайностей. Мы не будем воспринимать нарративы как нечто данное, стараясь затем выяснить, как его составные части связаны друг с другом (определение "идеального нарратива"), как не будем и ограничивать наше исследование анализом истории историописания; вместо этого, мы начнем с рассмотрения ненарративных элементов (т. е. отдельных высказываний) и попытаемся из них строить нарративы. Другими словами, я постараюсь ответить на кантовский вопрос, как возможно нарративное знание исторической реальности, предполагая лишь, что историческая реальность может быть описана в констатирующих единичных высказываниях, являющихся либо истинными, либо ложными. Эту книгу можно рассматривать как попытку разработать Критику исторического разума — проект, вынесенный Дильтеем на обсуждение в философии истории. В действительности, мой подход не является в полной мере кантианским, он более близок к так называемой "дескриптивной метафизике" Стросона³⁶: меня главным образом интересует не то, как возможно знание прошлого, но, скорее, каким образом языковые средства, используемые нами для выражения такого знания, определяют его природу.

³⁶ См. P.F. Strawson, *Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics*, London 1971; p. 10. Стросон предлагает следующую характеристику "дескриптивной метафизики": "Ибо существует массивное центральное ядро человеческого мышления, не имеющее истории (или не зафиксированное в истории мысли), существуют категории и понятия, которые, в силу своего фундаментального характера, вообще не изменяются. Очевидно, они не составляют отличительную особенность наиболее рафинированного мышления. Они являются банальностями наименее рафинированного мышления и, тем не менее, образуют необходимую сердцевину концептуального инструментария наиболее утонченных человеческих существ. Именно они, их взаимосвязи и образуемые ими структура, представляют главный интерес для дескриптивной метафизики".

Я подчеркиваю откровенно формалистический характер этого метода. То, что будет сказано в последующих главах, основывается только на одном предположении, а именно что знание прошлого и знание социальной действительности выражается в (серии) единичных высказываний. В результате наше определение нарратива предполагается приемлемым для описания любого мыслимого типа социальной действительности, если только в этом описании используются высказывания. Предлагаемое мной имеет силу также и для жителей какой-нибудь планеты в галактике Андромеды, даже если их психический склад и социальная структура отличаются от наших любым мыслимым образом. Я уверен, что современная философия истории и философия социальных наук принимает слишком много серьезных допущений. Например, считается, что социальное поведение в своей сути является "подчиненным правилам" (Витгенштейн, Уинч), или что люди действуют рационально и могут, в принципе, понимать друг друга (герменевтическая теория), или что человеческие действия всегда направляются некоторыми целями (телеологическое объяснение), или что в своем поведении люди следуют руководством, открытым спекулятивными философами в прошлом, или что человеческое мышление и деятельность можно свести к глубинным структурам (структурализм), или что они всегда определяются социальными "фигурациями" (Элиас). При желании этот перечень можно продолжить. Однако необходимо любой ценой избежать влияния подобных идей; по сути, они должны быть окончательно, раз и навсегда, устранены из философии истории. Если угодно, такие допущения принадлежат к области истории и социальных наук как таковых. Философия может существовать и быть полезной только тогда, когда она занимается своим делом и не вмешивается в дела историков и обществоведов.

(1) *Введение.* Западная философия никогда не проявляла большого интереса к философским проблемам, связанным с нарративом. Исключения составляют софисты классической античности и некоторые авторы эпохи Ренессанса, например Лоренцо Валла. В обоих случаях делалась попытка “заниматься чем-то нечистым”, “покинуть сферу, где пребывает чистый разум и совершенная справедливость” и исследовать “неустойчивое и неопределенное поле действия и дискурса”¹. Такие устремления несомненно способствовали развитию нарративистской философии, которая исследует философские проблемы нарративного дискурса. Однако голос софистов был заглушен Платоном с его поиском “Вечно Истинного”, а интерес деятелей Ренессанса к риторике и нарративу был существенно подорван картезианской философией и успехами естественных наук.

Современная философия также не проявляла большого интереса к тому кругу проблем, который исследуется в этой книге. Это тем более поразительно, что нарративистская философия, несомненно, имеет дело с лингвистическими проблемами, а философия нашего столетия питает сильный интерес к таким проблемам. Однако современная философия языка занимается исключительно словами, предложениями или высказываниями, почти полностью пренебрегая изучением совокупностей единичных высказываний, т.е. рассказов или нарративов. И все же временами нарративистский подход просто сам собою напрашивался, так что трудно понять, почему им не воспользовались. “Философские исследования” Витгенштейна служат тому хорошим примером. Витгенштейн утверждает, что никакой удовлетворительный анализ предложения невозможен без учета контекста, в котором оно встречается. Положение Витгенштейна о том, что во многих случаях

“значению” можно дать такое определение: “значение слова — это его употребление в языке”², выражает его убеждение в том, что слова и предложения получают свое значение (отчасти) благодаря условиям, при которых они произносятся. Вполне естественно заключить, что предложения, которые окружают рассматриваемое предложение, образуют, по крайней мере, часть этого контекста. Это означало бы пойти по нарративистскому пути; однако Витгенштейн предпочитает определять контекст в терминах внеязыковых условий.

Мне представляется, что отсутствие интереса к нарративу объясняется двумя причинами. Во-первых, бытовало мнение, что наиболее важные и интересные проблемы философии языка возникают на уровне слов и предложений (или высказываний), который можно назвать “атомарным” уровнем. Во-вторых, хотя это и не признавалось открыто, нарративы рассматривались как “молекулярные” образования из более фундаментальных, “атомарных”, сентенциальных элементов, и поэтому считалось, что сами нарративы не ставят каких-то особых проблем. Я не буду рассматривать первое допущение. Принимать его или нет, — это дело вкуса, и, возможно, это допущение даже верно. Предложение и высказывание связаны с целыми областями философских исследований, которые либо представляют незначительный интерес, либо вообще не представляют интереса для изучения нарратива: сюда относятся эпистемологические проблемы, вопросы аналитичности или корректного анализа этических требований и т.д. Так что для первого допущения есть основания.

(2) *Предложение и нарратив.* Однако, я не согласен со вторым допущением. Нарративы представляют собой нечто большее, чем просто конъюнкции предложений, и если нарратив рассматривается как простая последовательность предложений, то упускается нечто очень существенное.

Возьмем некоторый нарратив *N* о прошлом (или о фрагменте прошлого) и пронумеруем все ее предложения: 1, 2, 3, ... и т.д. Составим текст T_1 посредством произвольного изме-

¹ Struever; p. 10.

² Struever; p. 6.

³ Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М., 1994. С. 99.

⁴ От английского слова “sentence”, которое означает “предложение”. — Прим. ред.

нения исходного порядка следования предложений; возможно, для сохранения истинности предложений придется заметить некоторые относительные и личные местоимения, а также слова, выражающие хронологический порядок, например "затем", "после", "прежде" и т.д. Предположим, что эти исправления были внесены в T_1 . Тогда, если нарратив является ничем иным, как конъюнкцией предложений, у нас не было бы никаких оснований предпочитать N тексту T_1 . Естественно, это не так. Однако "редукционист", т.е. сторонник определения нарративов как конъюнкций предложений, мог бы утверждать, что всегда можно восстановить N из T_1 , поэтому нельзя приписывать разный познавательный статус N и T_1 ; в обоих случаях мы имеем дело с конъюнкцией предложений, хотя, возможно, нам легче установить познавательное содержание N , чем T_1 . Но особый порядок предложений в N обусловлен лишь соображениями удобства. То, что восстановление N из T_1 всегда возможно, кажется маловероятным, но предположим в порядке рассуждения, что оно возможно. Но даже в этом случае против тезиса редукциониста можно выдвинуть два возражения. Во-первых, совершенно очевидно, что отдельные предложения помимо прочей информации содержат достаточно данных о том, каким должно быть восстановление из T_1 . Но достаточное количество данных для некоторого заключения (в данном случае для восстановления N из T_1) не является тождественным самому заключению (восстановлению N из T_1). Объяснением и интерпретацией этого различия занимается тот раздел философии науки, который изучает познавательный статус теорий. Таким образом, существует определенный разрыв между N и T_1 .

Это подводит меня к моему второму возражению против редукционистской позиции. Я исходил из того, что N является "единственным" нарративом, восстанавливаемым из T_1 . Однако возможно большее их число (например, N_1 , N_2 и т.д.), так что предложения T_1 допускают несколько "нарративных" интерпретаций. И все-таки, если прав редукционист, то же самое будет верно и для самого N . Отсюда следует такой вывод: мы никогда не можем с полным основанием сказать, что поняли нарратив, если не попытались уяснить его смысл при всех возможных перестановках предложений (и при внесении упомянутых выше исправлений для каждой перестановки).

Очевидно, неверно. Но, давайте предположим, что текст может быть восстановлен только одним способом, а именно в результате N . В таком случае N имеет особый статус, который отличает его от T_1 и других возможных текстов, полученных перестановкой его предложений. Это означает, что при произвольном смешивании предложений из N , мы утрачиваем нечто такое, чем обладает N и чем не обладают T_1 , T_2 , T_3 и т.д. А это может иметь место только в том случае, если N является чем-то большим, чем простая конъюнкция предложений.

Редукционист может пересмотреть свои крайние взгляды, отказываясь от самой редукционистской программы. Он может даже считать, что нарративы являются ничем иным, как конъюнкциями предложений, при этом добавляя, что предложения в нарративе должны располагаться в определенном порядке. Он может утверждать, что это дополнительное условие не означает существенного отхода от его исходной редукционистской позиции; аналогичным образом существует порядок следования натуральных чисел, но от того, перечисляем ли мы определенное множество натуральных чисел в соответствии с этим порядком или нет, не зависит информативное содержание нашего перечисления, которое в обоих случаях остается одним и тем же. Мы предпочитаем перечислять числа в соответствии с этим порядком только из соображений удобства. Но это неверно: как только редукционист заявляет о существовании одного или нескольких принципов "упорядочения" предложений в нарративе, он признает существование чего-то такого, что нельзя полностью свести к одним лишь предложениям нарратива. Подобным же образом, принцип "упорядочения" натуральных чисел нельзя обнаружить в самих этих числах, но только в чем-то внешнем по отношению к ним, например в отношении "... быть больше, чем...". Поэтому говорить о "порядке расположения предложений в нарративе" значит противоречить редукционистской программе.

Более того, когда редукционист ссылается на определенный "порядок" расположения предложений в нарративе N , он, очевидно, считает, что хотя, с точки зрения познавательного содержания, отдельные предложения нарратива N (или текста T_1 и т.д., в данном случае не важно) являются тем, что

они есть, все же существует внутренний порядок, связующий эти предложения. Этот "порядок" открыто проявляется в N , и мы можем использовать его, если хотим преобразовать $T_1, T_2 \dots$ и т.д. в нормальный нарратив (т.е. в M). Но как мы можем обнаружить этот внутренний порядок? Насколько я понимаю, только говоря примерно следующее: если у вас есть набор предложений с приблизительным значением A , за ним должен следовать набор предложений с приблизительным значением B , а предшествовать ему должен другой такой же набор со значением C и т.д. Только зная это, мы можем подтвердить (в случае M) или установить (в случае $T_1, T_2 \dots$ и т.д.) правильный порядок данных нам предложений. Но (в этом состоит мой главный довод против редуccionистской стратегии) такие наборы предложений уже будут небольшими нарративами, хотя и менее специфическими, чем исходный нарратив.

Сходное возражение может быть высказано и в отношении некоторых современных методов текстового анализа. Здесь принято различать четыре вещи: а) поверхностную структуру текста (нарратив как таковой), б) глубинную структуру ("семантическое ядро" нарратива), в) правила трансформации текста (т.е. правила перехода от б) к а) и д) грамматику текста (т.е. правила перехода от а) к б). Очевидно, что глубинные структуры фактически тождественны тем менее специфическим нарративам, о которых говорилось в конце предыдущего абзаца. Правила в) являются чисто формальными, а глубинные структуры нарративов, по-видимому, сами обладают нарративным содержанием. Это хорошо подтверждают примеры, приводимые сторонниками подобного текстового анализа: их глубинные структуры всегда являются небольшими рассказами, в которых опущены детали; правила в) обеспечивают, чтобы детали были вставлены в нужном месте. Отсюда понятно, почему эти глубинные структуры часто называют "рассказами" и "фабулами". Поэтому когда редуccionист стремится отождествить свои "принципы упорядочения предложений в нарративе" с правилами в), он ведет заведомо проигранный бой: нарративы уже проникли в его "ряды".

Метод текстового анализа имеет и другие недостатки. Во-первых, глубинные структуры — это нечто неопределенное. Во-вторых, в этом методе придается большое значение поис-

ку регулярностей в действительных нарративах. Но боюсь, результаты этого поиска будут не слишком блестящими. Это так если бы кто-то, желая узнать правила игры в шахматы, удовлетворился бы составлением перечня последовательных ходов, которые периодически повторяются в исследуемых им играх. Он будет не способен различить настоящие правила игры и простые регулярности в стратегиях шахматистов. Даже когда он установит ряд регулярностей, которые, как мы знаем, тождественны правилам игры, он никогда не сможет в этом удостовериться. Однако в этом методе текстового анализа есть и более существенный недостаток. Когда мы прочитали и поняли нарратив, нам известно его содержание. Исследователи, занимающиеся текстовым анализом, склонны отождествлять содержание нарратива с его глубинной структурой, и это вполне естественно. Они отмечают, что мы можем пересказывать, парафразировать, сокращать нарратив. Когда мы производим любое из этих действий, содержание исходного нарратива остается (по большей части) неизменным; по крайней мере, нам следует максимально сохранить его. Для подобных "трансформаций" исходного текста наготове истолкование: одна и та же глубинная структура (= содержание) используется для порождения разных поверхностных структур. Но нетрудно показать, что общие и абстрактные нарративы, образующие глубинные структуры, не следует отождествлять с содержанием нарратива. Ибо если мы хотим изложить нарратив (например, делая из него выжимку), мы приложим все усилия, чтобы сохранить его специфику. Конечно, многие детали мы опустим, но сохраним все те, которые считаем необходимыми для привязывания содержания исходного нарратива к определенной исторической ситуации, о которой в нем идет речь. Делать выжимку из нарратива не значит делать его менее специфичным. Совсем наоборот⁴.

Таким образом, мне хотелось бы отметить, что "содержание нарратива" нельзя связать с какими-то его предложениями, и *a fortiori* — с обобщенным содержанием этих предложений. Не одно отдельное предложение, но все предложения в

⁴ Ниже будет показано, что в отличие от рассматриваемых здесь предложений с буквальным смыслом, предложения с метафорическим смыслом иногда позволяют лучше резюмировать [содержание] нарратива.

целом определяют это содержание, хотя *одни* предложения определяют содержание нарратива в большей мере, чем другие. Очевидно, что понятие “содержание нарратива” нельзя свести к понятию “содержание (или, скорее, значение) отдельного предложения (или предложений)”. Отсюда следует, что нарратива нельзя свести к предложениям и для понимания природы нарратива нельзя ограничиваться исследованием на уровне предложений.

(3) *Могут ли нарративы быть (не)истинными? (I)*. Как следствие из вышесказанного, теперь необходимо проанализировать отношение между истинностью высказываний и истинностью нарративов. Если содержание нарратива нельзя свести к значению входящих в него высказываний, следует ожидать, что отношение между “истинностью нарратива” и “истинностью входящих в него высказываний” менее ясно, чем мы могли поначалу предположить. Прежде чем продолжить, мне бы хотелось напомнить читателю, что в данной работе предполагается, что нарратив состоит из высказываний, которые являются либо истинными, либо ложными (см. главу I, раздел (4)).

Редукционист, вероятно, не будет возражать против использования выражения “истинность или ложность нарратива”. Можно ожидать, что для него понятие “истинность нарратива” совершенно ясно и является функцией от истинности входящих в него высказываний. Однако мы сталкиваемся со следующим затруднением. Конъюнкция высказываний является ложной, если ложно одно из ее высказываний; отсюда следует, что мы должны отвергнуть целый нарратив, состоящий, скажем, из тысячи высказываний, из-за ложности только одного из его высказываний. Но это уж слишком. Мы могли бы тогда допустить, что существуют *степени* истинности и что истинностным значением нарратива является число от нуля до единицы, выражающее процентное содержание истинных высказываний в нарративе (и получаемое делением их количества на сто). Это редукционистское решение сталкивается с другими трудностями. Предположим, что у нас есть два нарратива N_1 и N_2 по одной и той же теме, например по естественному праву в XVII веке. N_1 сообщает, в качестве важнейшего факта, о стоическом характере естест-

венного права XVII века, но ошибочно приписывает Гроцию тот взгляд, что естественное состояние предшествует гражданскому обществу, в то время как N_2 верно передает взгляды Гроция, но не говорит о стоицизме естественного права XVII века. Редукционист вынужден предпочесть нарратив N_2 нарративу N_1 . Конечно, он не будет этого делать и поправит свою теорию, предположив, что высказывания в нарративе следует оценивать по важности сообщаемого в них. Если высказывание сообщает нечто важное и, кроме того, является истинным, то оно получает более высокую отметку, чем высказывание, которое не удовлетворяет одному или обоим этим условиям. Если, утверждает он, мы учтем это дополнительное условие при оценке упомянутых двух нарративов, то N_1 , несомненно, будет признан лучшим. Итак, мы имеем два критерия для оценки истинности нарратива: 1) истинность или ложность входящих в него высказываний и 2) степень важности данных, сообщаемых в отдельных высказываниях, для правильного понимания того, о чем говорится в нарративе. Однако, как мы видели при рассмотрении двух нарративов о естественном праве XVII века, эти два критерия могут приходиться в противоречие. Это не улучшает перспективы редукционистского подхода, ибо какой *третий* критерий позволил бы разрешить подобное противоречие?

Поскольку обсуждение этой проблемы не сулит никаких результатов, я намерен сосредоточить свое внимание на критерии 2). Тем более что, как мы предположили, высказывания в нарративе являются истинными и трудность написания нарративной истории связана с соблюдением не критерия 1), а критерия 2). Следовательно, мы могли бы утверждать, что нарратив является истинным, если он сообщает обо всем, или, выражаясь менее категорично, почти обо всем, что является важным для правильного понимания его предмета. Такая идея, действительно, была выдвинута некоторыми философами истории. Так, например, Фейн пишет, что под истинностью нарратива следует понимать то, что этот нарратив

* Гроций Гуго де Гроот (1583—1645) — голландский юрист, социолог и государственный деятель, один из основателей учения о естественном праве. — *Прим. ред.*

сообщает нам “значимую истину”⁵. Далее Фейн продолжает: “однако в праве или истории значимость не возникает из нагромождения фактов. Значимость, я полагаю, достигается в результате сложного взаимодействия факта и концептуальной системы”⁶. Впоследствии Фейн немного уточняет свое определение понятия “значимость”. Он пишет, что значимая истина имеет место тогда, когда сообщаемые факты соответствуют друг другу, как фрагменты картинка-загадки. Ранее мы встречались с этим удобным сравнением, но Фейн использует его иначе. Он напоминает нам, что существует два способа составления картинок-загадок: “можно перевернуть все фрагменты изображением вниз и попытаться сложить их, руководствуясь только их очертаниями [это, очевидно, имел в виду Минк. — Ф.А.]. Другой метод состоит в том, чтобы собрать картинку-загадку по информации, сообщаемой цветной стороной фрагмента, стараясь определить его место в картинке”⁷. В этом случае имеет значение не форма фрагментов, а тот вклад, который каждый из них вносит в картинку как целое. Мы обладаем концептуальным знанием того рода объектов, которые изображены на картинке (коров, гномов, кораблей XVII века и т.п.), и мы применяем это знание при составлении картинка-загадки. Это сравнение, видимо, означает (я намеренно пишу “видимо”, поскольку у Фейна нет достаточно определенных указаний на то, в каких отношениях он считает картинка-загадки и нарративы сходными между собой), что наше концептуальное знание о мире служит нам руководством, когда мы пытаемся высказать *значимую истину*. Как мы ожидаем, что красный колпак должен располагаться рядом с белой бородой гнома, точно так же мы ожидаем, что историк романтизма расскажет что-нибудь о неоплатонизме, пиетизме, “Буре и натиске” и т.п. И если историк оправдывает эти ожидания, мы считаем его нарратив сообщаемым значимую истину (при условии, конечно, что истинны высказывания, которые он использует).

Можно привести ряд возражений против этой точки зрения. Во-первых, Фейн показывает, не как высказывать зна-

чимую истину, а как писать согласованный нарратив. Но нетрудно представить себе согласованный нарратив, все части которого образуют логически стройное единство, но который, тем не менее, не обеспечивает знания, принимаемого нами за значимое (в любом обычном смысле этого слова). Во-вторых, благодаря нашему знанию о гномах, мы ожидаем увидеть красный колпак, как только заметили белую бороду; но обычно мы не обладаем подобным знанием о прошлом. Перед тем как начать чтение исторического сочинения, мы не знаем, что будет иметь значение для понимания того или иного фрагмента прошлого. Предполагается, что историк расскажет нам об этом. Конечно мы ожидаем, что историческое сочинение о романтизме не будет сообщать нам цены на зерно в 80-е годы XVII века. Но если искать критерии значимости на этом уровне, то все исторические сочинения, можно сказать, сообщают нам значимую истину, поскольку в этом отношении историки всегда оправдывают ожидания. Таким образом, если значимая истина об историческом явлении *P* должна состоять главным образом из таких истин о *P*, относительно которых читатель не знает, являются ли они значимыми для понимания этого явления (если бы это допущение было неверным, было бы неясно, зачем людям вообще нужно читать историю), тогда сравнение Фейном нарратива с картинкой-загадкой попросту сбивает с толку. Поэтому данная попытка дать приемлемое истолкование выражению “истинность или ложность нарратива” является безуспешной.

Сходная попытка определить эти понятия была предпринята в блестящей статье Гормана. Горман также считает, что истинность входящих в нарратив высказываний не является ни достаточным, ни необходимым условием его истинности (Горман предпочитает термин “приемлемость”). Горман весьма остроумно сопоставляет два описания жизни Уильяма Джойса (“господина хо-хо” во вторую мировую войну)^{*} и затем утверждает, что они содержат только истинные высказывания, хотя

* Гражданин Великобритании американского происхождения Уильям Джойс (1906—1946) в годы второй мировой войны возглавлял расположенную в Берлине т.н. “Новую Би-Би-Си”, являвшуюся подразделением службы пропаганды нацистской Германии. Получил от слушателей прозвище “господин хо-хо”. В апреле 1945 года был схвачен англичанами; 3 января 1946 года по приговору суда был повешен за измену. — *Прим. перев.*

⁵ Fain; p. 247.

⁶ Fain; p. 247.

⁷ Fain; p. 249.

и не могут быть одновременно истинными: он даже определяет их как “несовместимые” (позже я вернусь к этой жесткой характеристике). Делая вывод о ненадежности истинности и ложности входящих в нарратив высказываний в качестве критерия его приемлемости, он ведет поиск иного более подходящего критерия.

Горман предлагает считать приемлемость нарративов зависимой от “значимости” входящих в нее высказываний. Далее, он пытается найти критерий значимости для нарративных высказываний. Он уверен, что существует “рациональный критерий” этой значимости, но помимо не слишком плодотворных рассуждений о подобных “рациональных критериях” в естественных науках (например, о критерии фальсифицируемости Поппера) ничего существенного он по этому поводу не говорит. Однако следует отметить, что согласно Горману эти “рациональные критерии” (какого бы характера они ни были) определяют значимость высказываний для всего нарративного описания в целом (т.е. не определяют их значимость для понимания исторического явления).

Следовательно, для Гормана (и для Фейна, демонстрирующего похожую тенденцию) значимость высказываний зависит не от их связи с самой исторической реальностью, а от их места или функции в нарративе, взятом как целое. Его предложение уподобить понятие “истинность нарратива” (через “приемлемость нарратива”) понятию “значимость входящих в нарратив высказываний” заставило бы нас, таким образом, пренебречь вопросом о соответствии между нарративом и исторической реальностью при рассмотрении его истинности или ложности. Это идет вразрез даже с наиболее либеральными истолкованиями слова “истинный”. Горман будет вынужден признать, что романы могут быть “истинными”, даже если они чистый вымысел.

Можно было бы устранить эту опасность, определив значимость высказываний как степень существенности или важности сообщаемой ими информации для понимания действительного исторического явления. Таким образом можно было бы восстановить связь между нарративом и исторической реальностью. Однако, как мы убедились в разделе (8) главы II, такая стратегия не принесет успеха.

(4) *Могут ли нарративы быть (не)истинными?* (Ш). Мы можем сделать вывод, что попытка узаконить понятие “истинность нарратива”, истолковав его как “значимая истина о предмете нарратива”, имеет мало шансов на успех. Поэтому попробуем другой подход. Существует четыре теории истины: корреспондентная, когерентная, прагматистская и перформативная. Каждая из них анализирует, что мы подразумеваем, когда говорим, что высказывание является истинным. Мы попытаемся применить их к нарративу и посмотрим, какой получится результат. Если ни одну из этих четырех теорий нельзя с пользой применить к нарративу, то мы, я полагаю, вынуждены будем заключить, что понятие “истинность нарратива” должно быть отвергнуто.

Согласно перформативной теории истины выражение “... истинно” является избыточным: в познавательном отношении нет никакой разницы между (1) “*p*” (где “*p*” — высказывание) и (2) “*p* истинно”. Когда же мы говорим или предпочитаем высказать (2) вместо (1), мы лишь совершаем некоторый “речевой акт”, желая выразить наше согласие с *p* или стремясь напомнить кому-то о *p* и т.д. Но, с познавательной точки зрения, выражение “... истинно” является избыточным: оно ничего не добавляет к тому, что можно подставить вместо многоточия. Так что мы можем, ничем не рискуя, исключить слово “истинный” из нашего словаря. Разумеется, если бы мы так поступили, мы также устранили бы и нашу проблему. Таким образом, перформативная теория не приближает нас к решению нашего исходного затруднения.

А что можно сказать о прагматистской теории истины, которая, по сути, развивает хорошо известное изречение Гёте: “was fruchtbar ist, allein ist wahr”? Согласно этой теории высказывания являются истинными, когда они оказываются надежным руководством к (научному) действию: мы можем опереться только на “различия в практике” (Пирс⁸), когда обсуждаем истинность высказываний, теорий и т.п. Если два

⁷ “Истинно лишь то, что полезно” (нем.). — Прим. перев.

⁸ Источником вдохновения для прагматистской теории истины служит высказывание Пирса: “(...) различие в значении не состоит ни в чем более тонком, помимо возможного практического различия”. Цит. по: G. Ezorsky, *The Pragmatic Theory of Truth*, in P. Edwards ed., *The Encyclopedia of Philosophy*. London 1967. Vol VI. P. 427.

человека P_1 и P_2 придерживаются противоположных мнений по предмету S (P_1 верит, что истинно O_1 , а P_2 верит, что истинно O_2), их разное обращение с S (и родственными предметами) является самым ясным свидетельством их разногласия. Утверждение о том, что P верит в истинность O , просто означает, что P склонен вести себя определенным образом в ситуации, связанной с O (следствие, гласящее, что истина всегда имеет отношение к людям, которые во что-то верят и соответственным образом поступают, было горячо воспринято большинством сторонников прагматистской теории истины и, в частности, Ч. С. Пирсом). Короче говоря, действие, основанное на определенном веровании, служит лучшим свидетельством того, каким именно является это верование. Следовательно, точная оценка действия, вызванного определенным верованием, служит наилучшим критерием для установления истинности этого верования. Успешное действие вдохновляется истинным верованием.

Я не собираюсь обсуждать здесь достоинства всех этих четырех теорий истины. Я рассматриваю их такими, какие они есть, стараясь выяснить, имеет ли смысла их применять к нарративу. Тем не менее, я должен отметить, что как бы мы ни относились к прагматистской теории, нет оснований отрицать, что она наилучшим образом подходит к экспериментальным и, в особенности, к *прикладным* наукам. Несомненно, когда физики придерживаются различных теорий, они по-разному организуют и свои экспериментальные проверки. Вполне вероятно, а) что характер этих проверок наилучшим образом свидетельствует о сути их разногласия и б) что на наиболее успешные эксперименты (или приложения соответствующих теорий) вдохновляют те теории, которые мы с наибольшим правом называем "истинными".

Но вовсе не очевидно, что применение этой теории истины к *истории* окажется равно оправданным. Историк не подвергает свой предмет, прошлое, проверкам: он не властен экспериментировать над прошлым. Он не может упорядочить определенные аспекты прошлого таким образом, чтобы получить конкретные ответы на конкретные вопросы. В итоге, трудно понять, какого рода соответствие могло бы существовать между экспериментированием историка над прошлым и его взглядами на прошлое. Следовательно, согласно представ-

лениям прагматиста было бы невозможно различить истину и ложь в истории.

Я должен подчеркнуть, что мою позицию не следует воспринимать как сожаление о неспособности историка проводить эксперименты; Нагель был совершенно прав, когда предостерегал против склонности преувеличивать необходимость экспериментов и подчеркивал, что в таких науках, как астрономия, истину можно достичь и другими методами⁹. Однако (и это главное) трудно понять, как прагматистскую теорию истины можно было бы приспособить к этим, по сути своей, неэкспериментальным наукам. Можно предположить, что то, как ученый изучает вселенную или историю, само является научной или исторической практикой, из которой мы выводим его мнение о том, что является истинным или ложным. Но факт наличия у кого-то определенного верования не является достаточным свидетельством в пользу истинности этого верования.

Если прагматист согласится с этим возражением, он может противопоставить нам следующую ситуацию. Когда исследователь предлагает интерпретацию I_1 для (фрагмента) прошлого, отвергая при этом интерпретацию I_2 , его приверженность I_1 приведет к иному исследованию этого фрагмента прошлого, нежели если бы он принял I_2 . Следовательно, даже в историографии разногласия влекут за собой различия в исследовательской практике. После сравнения результатов различных "обработок" прошлого, вдохновляемых различными его интерпретациями, можно определить, какая "обработка" прошлого оказалась наиболее успешной, и тогда мы получим наш "истинный" нарратив. По существу, я ничего не имею против этого предложения, за исключением того, что в нем неявным образом отвергается основополагающая идея прагматистской теории истины. Ибо как мы можем определить наиболее успешную "обработку" прошлого? Отнюдь не через оценку "практических" результатов такой "обработки". Действительно, мы можем составить мнение об истинности, например, теорий механики, проверяя, разрушаются или нет мосты, построенные в соответствии с этими теориями. Но выбрать наиболее успешную "обработку" прошлого мы можем

⁹ Nagel; p. 452.

лишь сравнивая ее результаты с другими интерпретациями прошлого, которые у нас уже имеются. Не *реальность*, а другие *интерпретации* прошлого являются нашим арбитром. Поэтому согласованность с другими интерпретациями прошлого является окончательным критерием истинности для какого-то конкретного нарратива, если мы приняли прагматистскую теорию истины с указанными выше поправками. Однако это уже больше не прагматистская, а когерентная теория истины. Таким образом, мы можем сделать вывод, что прагматистская теория истины либо неприменима к нарративу (если ограничить ее надлежащей областью использования — экспериментальными или прикладными науками), либо она вырождается в когерентную теорию истины, если ее, действительно, применить к нарративу.

Теперь мы займемся корреспондентной и когерентной теориями истины. Поскольку в настоящее время они пользуются наиболее широкой поддержкой, мы можем предположить, что у них есть все шансы дать приемлемую трактовку понятию “истинность нарратива”. Начнем с корреспондентной теории. Формулировка этой теории Остином выявляет некоторые наиболее интересные ее следствия применительно к нарративу. Вот почему я начну с определения Остина; более общее изложение этой теории будет дано позже. Остин пишет: “о высказывании говорится, что оно является истинным, когда историческое положение дел, соотносимое с ним посредством указательных конвенций (положение дел, на которое оно (высказывание) “указывает”), относится к тому их типу [т.е. достаточно похоже на стандартные положения дел. — Ф.А.], с которым соотнесено, с помощью дескриптивных конвенций, предложение, используемое для выражения данного высказывания”¹⁰. Суть этого определения состоит в том, что, в отличие от высказываний, предложения в своей истинности или ложности не зависят от условий, в которых они произносятся (сравните предложение “мне больно”, когда его произношу я и кто-то другой, или когда я произношу его при разных обстоятельствах). Дескриптивные конвенции определяют этот общий или стандартный тип положений дел. Высказывание, с другой стороны, указывает на конкретное по-

ложение дел и связано с ним посредством указательных конвенций (например, когда я говорю во время t “мне больно”, тогда это Анкерсмиту больно во время t). Поэтому высказывание является истинным, когда историческое положение дел, с которым оно связано посредством указательных конвенций, достаточно похоже на это “стандартное” положение дел, которое задается посредством дескриптивных конвенций в отношении предложения.

В обычных констатирующих высказываниях, которые могут быть или истинными, или ложными, это “стандартное” положение дел чаще всего определяется значением слов. Когда мы говорим “красный” в предложении “ x является красным”, дескриптивные конвенции определяют значение этого слова, указывая диапазон определенной ширины в некотором цветовом спектре (если x является пурпурным и если предполагаемый спектр позволяет различать разнообразные оттенки, например пурпурный, то высказывание “ x является красным” ложно, поскольку в этом случае предполагается, что нечто не может быть одновременно красным и пурпурным; если же дескриптивные конвенции в отношении употребления слова “красный” таковы, что не позволяют провести различие между красным и пурпурным, то данное высказывание истинно). Предположим, что все это приемлемо для содержащихся в нарративе высказываний, как они были определены в главе I, раздел (4).

Однако с нарративами дело обстоит иначе. Во-первых, по отношению к нарративу нельзя провести различия, аналогичного различию между высказыванием и предложением. Но как бы то ни было, нарратив имеет определенное сходство с высказываниями (но не с предложениями), поскольку он не может отсылать к различным историческим обстоятельствам. Нарратив нельзя использовать для характеристики определенного класса исторических положений дел, а если “нарратив” можно использовать таким образом, то с ним что-то не в порядке. Нарративы всегда описывают только одну конкретную историческую ситуацию.

Во-вторых, можно было бы возразить, что для нарратива также существуют дескриптивные конвенции, определяющие, так сказать, границы, в которых должно находиться действительное прошлое, чтобы нарратив был истинным. Од-

¹⁰ Austin; p. 122.

нако мы не можем говорить о “*дескриптивных конвенциях*” в связи с каким-то конкретным нарративом. Такие слова, как “*красный*”, “*круглый*”, “*тяжелый*” и т.д. имеют свои “*дескриптивные конвенции*”, поскольку мы можем, по крайней мере, в принципе использовать эти слова во многих различных контекстах, но бессмысленно говорить, что нарративы используются в различных контекстах. В известном смысле нарратив подобен слову, которое произносится только однажды. Или, точнее сказать, хотя нарративы содержат истинные высказывания и хотя о них самих можно высказывать истинные утверждения, их нельзя использовать для составления истинных высказываний (как слова), и потому нельзя представить себе “*дескриптивные конвенции*” в отношении их правильного использования. Если же мы не можем утверждать, что существует определенный *тип* исторических положений дел, который соответствует нарративу таким же образом, как это имеет место в случае предложений, то отсюда следует, что у нас нет критериев оценки истинности нарративов наподобие тех, которые постулировал Остин. Ибо на что был бы похож такой критерий? Предположим, что какой-то историк пишет историю британских колониальных захватов в XVIII веке. Какой критерий истинности имеется у нас для того, чтобы судить об истинности или ложности представленного им описания данного исторического явления? Конечно, каждый конкретный исторический нарратив по этой теме можно рассматривать как попытку установить такой критерий. И если мне позволят в виде исключения взять на себя употребление слова “*истинный*”, то скажу, что каждый нормальный историк считает свой нарратив истинным. Однако, в отличие от предложений и высказываний, нарративы не имеют нарративного “*значения*”, которое служит критерием определения их истинности или ложности.

Далее, мне хотелось бы придать этому обсуждению немного более общий характер. По существу моя аргументация останется прежней, но в последующем адаптированном виде она будет иметь более широкое значение. Давайте сформулируем корреспондентную теорию более традиционным образом, чем это сделал Остин. Тогда, согласно этой теории, высказывание является истинным, если оно соответствует тому конкретному положению дел, о котором в нем идет речь. Если

мы заменим “*высказывание*” на “*нарратив*”, то получим: нарратив является истинным, если он соответствует тому конкретному положению дел, о котором в нем идет речь.

Думаю, это неприемлемо. Ибо когда корреспондентная теория применяется к нарративу, она порождает странную двусмысленность, которая отсутствует в случае высказываний. Возьмем совершенно недвусмысленное высказывание какой угодно сложности. Наиболее удобное свойство высказываний — поскольку они являются недвусмысленными и поэтому могут быть либо истинными, либо ложными — заключается в том, что они всегда безошибочно указывают, о каком положении дел в них идет речь. Если, подчеркиваю — если, мы имеем дело с высказываниями, которые являются либо истинными, либо ложными, мы всегда точно знаем, какие положения дел или их аспекты, в самом деле, соответствуют рассматриваемым высказываниям. Затем мы можем обратиться к (существующей) реальности и установить истинность этих высказываний. Поэтому высказывания, которые мы можем охарактеризовать либо как истинные, либо как ложные (правда, есть много высказываний, не обладающих этим свойством, но они, конечно же, несущественны для нашего обсуждения применимости понятия “*истина*” к нарративу), всегда безошибочно определяют один или множество аспектов реальности. И то, что они должны это делать, является важным, если не самым важным, условием для того, чтобы они были истинными или ложными.

Когда же мы имеем дело с нарративом, мы вынуждены обходиться без такой удобной ясности. Каким является историческое положение дел, соответствующее нарративу? Если два историка H_1 и H_2 пишут нарративы о британской колониальной экспансии с 1702 по 1763 г., они оба пишут вроде бы об одном и том же сложном положении дел; тем не менее, их нарративы могут быть очень разными. Следует ли нам тогда говорить, например, что H_2 , очевидно, не знает, какой была британская колониальная экспансия с 1702 по 1763 г., и поэтому создает ошибочный нарратив? Но что позволяет нам быть столь уверенными в том, что H_1 точно знает, какой была эта колониальная экспансия? Мы не можем просто установить или “*доказать*” свою правоту, мы можем только привести доводы в пользу нашего утверждения. И вновь у

нас нет никаких критериев. Споры историков не разрешаются простой проверкой, соотносится ли правильный нарратив с тем, что было в прошлом. Мы не можем уподобить то, что было в прошлом, картинам, которые известны нам только по описаниям в музейных каталогах. Чтобы установить, какое описание к какой картине относится, мы могли бы просто сходить в музей. Подобное решение, к сожалению, невозможно в случае споров между историками.

Удивляет отсутствие устойчивости в отношении соответствия между нарративом и представленным в нем прошлым. Нарратив не производит отбора — способом, известным и признанным всеми, кто говорит на языке, на котором он написан — особого и четко определенного набора аспектов прошлого, относительно которых согласны все его читатели и которые впоследствии можно было бы проверить при установлении его истинности. Читатель мог бы здесь заметить, что каждое отдельное высказывание, как мы предположили, является либо истинным, либо ложным и его истинность (или ложность) является и должна быть критерием истинности того нарратива, частью которого оно является. Но мне хотелось бы напомнить, что мы отвергли этот наивный взгляд в самом начале нашего обсуждения истинности нарратива. Вследствие отсутствия устойчивого соответствия мы не можем, прочитав нарратив, претендовать на точное знание того, “что же имело место”. В когнитивном отношении нарративы, так сказать, весьма уязвимы. И в этом состоит их наиболее заметное отличие от высказываний. Это объясняет, почему мы не можем говорить о “плохих” или “хороших” высказываниях, но можем вполне осмысленно говорить о “плохих” или “хороших” нарративах. Высказывание способно выражать свое значение точно и полно, в то время как в сложных исторических нарративах кажется неизбежной некоторая неоднозначность. Мы можем знать наверняка, правильно ли передано в парефразе значение исходного высказывания, но мы никогда не можем быть столь же уверенными в случае нарратива. Мы считаем язык прекрасно отвечающим своей задаче, пока имеем дело с отдельными высказываниями, но, видимо, мы взваливаем на него невыносимое бремя, когда используем в нарративах. Кажется, что язык в своей “эволюционной” борьбе за изображение реальности достиг этого изображения на

уровне предложений, но еще не достиг на уровне нарративов. В нарративе высказывания, очевидно, “делают больше”, чем просто соединяют свои отдельные значения. Они сообщают нарративу познавательную ценность, которую следует отличать от суммы значений отдельных высказываний.

Сказанное не следует воспринимать как выражение сожаления по поводу удручающей понятийной анархии, существующей в историографии. В главе VII мы увидим, что нарратив не только описывает прошлое (так же, как высказывания описывают реальность), но и предлагает “метафорический” взгляд на историческую реальность. Тот факт, что нарратив одновременно делает эти две вещи, и является причиной отсутствия устойчивости в отношении между нарративом и исторической реальностью. Требование устранить из нарратива этот недостаток равносильно требованию отказаться от нарративного употребления языка в целом. Критиковать нарратив за отсутствие устойчивости значит оценивать его по меркам высказывания. Однако нарратив может быть очень точным как в описательном, так и метафорическом отношении. Нарратив можно обвинить в отсутствии точности, только если к нему применяются неверные критерии (т.е. относящиеся к высказыванию) и если утверждается — пусть и справедливо, — что в нарративе отсутствует то устойчивое отношение, которое имеет место между высказыванием и указываемым им историческим положением дел.

Хотя на данном этапе я еще не могу полностью изложить свою точку зрения по этому вопросу, мне бы хотелось высказать короткое замечание относительно отсутствия устойчивого соответствия в историографии или, иначе говоря, относительно примечательного отсутствия критериев истинности в случае нарратива. Историки пишут о таких событиях, как Великая французская революция, британская колониальная экспансия в XVIII веке, охота на ведьм в XVI веке и т.п. К счастью, историки и их читатели не возражают против использования этих и сходных с ними понятий, поскольку без них невозможно было бы писать историю. В повседневной жизни мы знаем, как выделять вещи (которым мы дали имена) с помощью идентифицирующих дескрипций. Мы не колеблясь допускаем, что в историографии дело обстоит похожим образом. Чем же еще могла быть Великая французская

революция, как не социальным и политическим переворотом во Франции в конце XVIII века, который разрушил древнюю монархию и привел к власти новый класс? Поэтому мы (подсознательно) верим, что все мы имеем в виду одно и то же, когда употребляем имя “Великая французская революция”. Тот неопровержимый факт, что все существующие по этой теме исторические сочинения нередко “частично совпадают” друг с другом, подкрепляет эту веру. Однако это неудовлетворительное определение имеющейся ситуации. Референт имени “Великая французская революция” (примем пока, что такой референт существует; позже мы увидим, что это не так) не может быть “выделен” среди других “вещей” прошлого, как можно выделить референты обычных имен собственных. Разнообразные способы употребления имени собственного “Великая французская революция” имеют определенную аналогию с хорошо известными “семейными сходствами” Витгенштейна: “Что еще остается игрой, а что перестает ею быть? Можно ли здесь указать четкие границы? Нет. Ты можешь провести какую-то границу, поскольку она еще не проведена. (Но это никогда не мешало тебе пользоваться словом “игра”).”¹¹ Эта аналогия означает, что если бы мы пожелали говорить о (не)истинных нарративах, нам пришлось бы выбирать: либо утверждать, что *каждый* нарратив истинен (поскольку он принадлежит к “семье” нарративных описаний предмета *S*), либо утверждать, что *каждый* нарратив ложен (поскольку каждый нарратив претендует быть единственным изображением *S*)¹². Оба варианта равно абсурдны, и это еще одно сильное свидетельство против использования выражения “(не)истинные нарративы”. Как странно, что когда мы используем это выражение, историографические дискуссии относительно истинности и ложности нарративов превращаются в философские дебаты!

¹¹ Здесь и далее слово “референт” употребляется в значении “объект (или сущность), обозначаемый (ая) тем или иным языковым выражением”. — Прим. ред.

¹² Витгенштейн Л. Философские работы. (Часть I), М.: Гнозис, 1994. С. 112.

¹³ Следует отметить, что нас интересует не вопрос: “Если дано *a* (например Великая французская революция), то что можно или следует сказать о нем?”, а, скорее, вопрос: “Где проходит граница между *a* (например Великой французской революцией) и *не-а* (например Старым порядком)?”.

Странный характер исторических терминов (остальная часть этой книги будет посвящена исследованию природы этих терминов) дает нам еще один ключ к пониманию того, почему традиционные теории истины не применимы к нарративу. Помимо соответствия между отдельными высказываниями нарратива и исторической реальностью (это соответствие не вызывает сомнений), мы не можем говорить об особом “нарративистском” соответствии между нарративом во всей его целостности и исторической реальностью, о которой в нем идет речь. Если нам нужно выбрать между двумя конкурирующими нарративами N_1 и N_2 о предмете *S*, мы не можем решить эту проблему, просто посмотрев на *S* и установив, каким является “соответствие” между *S* и N_1 и *S* и N_2 , ибо само понятие “*S*” отмечено двойственностью, являющейся точным коррелятом различий между N_1 и N_2 . Тот факт, что нечто аналогичное можно сказать и о научных теориях, только подтверждает эту точку зрения. Поэтому при рассмотрении содержания нарративов мы не можем требовать соответствия между действительным положением дел и его нарративным представлением. На этом мы можем спокойно расстаться с корреспондентной теорией.

У нас остался последний кандидат — когерентная теория истины. По этой теории высказывание является истинным, если оно согласуется с системой других высказываний, которые мы готовы принять. Нетрудно понять, что это значит для нарратива. Основная проблема, на мой взгляд, будет состоять в прояснении выражения “согласованность нарративов”. Когда нарративы (не) согласованны? То, что высказывания (не) согласуются друг с другом, признает любой. Но можем ли мы то же самое сказать и о нарративах? В связи с этим мне хотелось бы напомнить о статье Гормана, о которой шла речь на с. 99—100 настоящей книги. Два нарратива о жизни Уильяма Джойса, состоящие только из истинных высказываний, по мнению Гормана, не согласуются друг с другом. Он даже называет их “несовместимыми”, не объясняя, правда, что он понимает под этим термином. Словарь Вебстера дает следующее определение “несовместимого”: “то, что не может появляться или быть мыслимым вместе, или входить в одну и ту же систему, теорию или практику (несовместимые идеи); то, что

не может быть гармонично связано"¹³. Замечу попутно, что неспособность "входить в одну и ту же систему" в приведенном определении делает понятие (не)совместимости хорошим кандидатом на роль критерия истины, когда истина понимается в соответствии с когерентной теорией. Если мысль об *a* исключает мысль о *b*, то мысль о них, вместе взятых, содержит противоречие. А утверждение о том, что конъюнкция двух высказываний ведет к противоречию, равносильно тому, что истинность *a* исключает истинность *b* (и наоборот). Итак, мы определяем отношение несовместимости между *a* и *b* следующим образом: *a* и *b* несовместимы, когда истинность *a* влечет ложность *b*, и наоборот. Иначе говоря, кто бы ни употреблял слово "несовместимый", он всегда имеет в виду слова "истинный" или "неистинный". Применительно к нарративам все это означает, что если допустимо говорить об их "несовместимости", то это также служит достаточным подтверждением той точки зрения, что нарративы можно охарактеризовать либо как истинные, либо как ложные. Так что для нас сейчас наиболее оправданный путь — это исследовать, имел ли Горман основания характеризовать два нарратива об Уильяме Джойсе как "несовместимые".

Далее я изложу свою собственную позицию. Я допускаю, что мы можем говорить о "несовместимости нарративов", но отвергаю, что отсюда должно следовать, будто нарративы могут быть либо истинными, либо ложными. Не сомневаюсь, что вызвал некоторое замешательство столь резким отрицанием только что сказанного. Все же я надеюсь показать, что я не противоречу себе. Что заставляет Гормана говорить о "несовместимости" двух описаниях биографии Джойса? Хотя он и не говорит об этом прямо, контекст, в котором он употребляет слово "несовместимый", указывает на то, что он имеет в виду отношение между упомянутыми нарративами и (моральным) воздействием, которое они оказывают на читателя. Так, первая из двух биографий, видимо, подразумевает, что Джойс был осужден несправедливо. Второй нарратив, с другой стороны, убеждает нас в том, что Джойса следовало повесить. Судья Джойса должен был выбирать между тем, чтобы приговорить его к повешению или не приговорить. В самом

деле, имеет место "несовместимость" этих двух альтернатив. Я считаю, что термин "несовместимый", правильно использованный для описания отношения между двумя возможными судебными решениями по делу Джойса, был взят Горманом из надлежащего контекста и применен для характеристики нарративов, которые фактически служили обоснованием для каждого решения. Но такой шаг непозволителен. Несовместимость двух вердиктов обусловлена определенным различием, проводимым в правовой системе. Такие различия имеют другое происхождение и другую роль, нежели различия, которые историк обнаруживает в реальности. Поскольку судья — не историк, его, собственно говоря, не интересует (по выражению Ранке) "wie es eigentlich gewesen". Его интересует вопрос, как правовая норма и какая правовая норма применяется к определенному случаю. Можно сказать, что уголовный кодекс обеспечивает судью большим количеством "стандартных нарративов", и, когда он выносит приговор, ему приходится решать, подходит ли происшедшее больше к тому или иному "стандартному нарративу". Подчеркиваю, эти "стандартные нарративы", конечно же, не являются нарративами в собственном смысле слова: в силу своего гипотетического характера они не сообщают о действительных исторических явлениях; они даже не предлагают их обобщений. Тем не менее, я осмелюсь назвать их "нарративами" (пусть и "стандартными"), поскольку они образуют наилучший, на мой взгляд, нарративный аналог "предложениям" Остина, когда последние противопоставляются "высказываниям": то, как "стандартные нарративы" соотносятся с общим типом ситуаций, конкретным описанием которых являются нарративы в собственном смысле слова, очень похоже на то, как предложения соотносятся с высказываниями.

Однако (и на этом аналогия заканчивается) "стандартные нарративы", обеспечиваемые нашими этическими и правовыми системами, не предоставляют нам критерия истинности или ложности для действительных нарративов. Напротив, идея "научной историографии" (как ее любят называть немецкие ученые) возникла в начале XIX века только после окончательного отказа от этических интерпретаций истории.

¹³ Webster's Third International Dictionary. Chicago 1971; Vol II, p. 1144.

¹⁴ "Как оно было на самом деле" (нем.). — Прим. перев.

В свете нашего обсуждения мы могли бы истолковать эту революцию в историографии как результат растущего среди историков осознания присущей нарративу самобытности или, выражаясь метафорически, как результат усиливающегося преимущества высказывания перед предложением (по терминологии Остина). А это растущее осознание, в свою очередь, могло произойти лишь как следствие нового истолкования различий между процедурами, которые выполняют судьи и которые выполняют историки. Судья рассуждает от своих (стандартных) нарративов к прошлому, историк — от прошлого к нарративу; нарративы судьи даны ему готовыми, нарративы историка создаются им самим. Этические или правовые системы не предоставляют “критерии” или “образцы”, которые историк применяет для достижения истины.

Подытожим наши рассуждения: понятие “согласованности” побудило нас обсудить проблему “несовместимости” нарративов. Однако мы обнаружили, что использование этого термина в историографии оправдано только тогда, когда нашей целью являются этические и правовые интерпретации. Поскольку почти все историки согласны с тем, что следует избегать таких интерпретаций, мы должны заключить, что попытка оправдать понятия “истинность или ложность нарративов” с помощью понятия “несовместимость” оказалась безуспешной.

Давайте еще раз начнем с самого начала. Наши трудности возникли при попытке дать истолкование глаголу “согласовываться”: когда нарративы (не) согласуются друг с другом? Уайт разъясняет этот термин следующим образом: “согласованность внутри большой системы требует, чтобы элементы этой системы были связаны между собой отношением логической импликации, как связаны между собой элементы в чисто математических системах”¹⁴. Очевидно, что это требование является слишком строгим для его применения к истории. Абсурдно утверждать, что история Просвещения, написанная Питером Геом, является истинной (или ложной), потому что она логично следует (или не следует), например, из нарративов Кассирера или Вентури по этой же теме (если

¹⁴ A.R. White, Coherence Theory of Truth, in P. Edwards ed., *The Encyclopedia of Philosophy*. London, 1967. Vol. II, p. 130.

считать, что логическая импликация должна иметь место между нарративами об одном и том же предмете) или из книги Хэзарда, посвященной кризису европейского сознания в 1680—1715 гг., и книги Джонса “Революция и романтизм” (если считать, что логическая импликация должна устанавливаться на основе нарративов по разным, но тесно связанным темам). Даже если мы ослабим это требование и “отношение логической импликации” будем понимать как “связь, приемлемую для всех здравомыслящих людей”, устранив, таким образом, все ссылки на чистую математику, все равно трудности останутся. Они являются следствием недостатка, присутствующего когерентной теории истины. Иногда утверждают, что если корреспондентная теория истины определяет значение слова “истинный”, то когерентная теория только показывает, каким образом следует устанавливать истину или ложь. Здравость этого суждения становится очевидной, когда мы осознаем, что когерентная теория имеет, только если в нашем распоряжении уже есть высказывания, которые мы считаем истинными. Только тогда мы можем говорить о согласованности других высказываний внутри этого корпуса истинных высказываний. Но если это так, то мы присвоили себе право употреблять слова “истинный” и “ложный” до того, как начали наше исследование достоинств когерентной теории. В случае высказываний это не очень предосудительный образ действия: представляется вполне безобидным принять без доказательства истинность каких-то очень простых высказываний. В любом случае мы же должны с чего-то начинать. Однако непозволительно поступать так в отношении нарративов. Мы хотим знать, законно ли вообще говорить о нарративах как об истинных или ложных. И если нам приходится допустить, что, по крайней мере, некоторые нарративы являются истинными или ложными, с тем, чтобы узаконить понятие истинности и ложности нарративов, тогда мы уже согласились с тезисом, приемлемость которого является здесь *sub judice*.

Думаю, из предыдущего рассуждения следует вывод, что мы не можем и не должны говорить об “истинности или ложности” нарративов в том смысле, в каком мы говорим об “истинности или ложности” высказываний. Тем не менее, в не-

¹⁵ В стадии обсуждения, расследования (лат.). — Прим. перев.

котором смысле выражение “(не)истинный нарратив” может обладать значением, а именно в случае этической или правовой аргументации, когда имеются “стандарты”, по образцу которых создаются нарративы. Если нарратив содержит правильный ответ на все вопросы, возникающие из “стандартного нарратива”, применяемого к конкретной исторической ситуации, не будет так уж неправильно говорить, что получающийся нарратив истинен. Но в той мере, в какой историография отличается от этических и правовых дискуссий, такие обороты речи неприемлемы. Таким образом в ходе нашего рассмотрения мы достаточно ясно установили, я надеюсь, что выражения “истинность (и ложность) нарратива” нужно отвергнуть.

Конечно, мы не можем запретить употребление слов “истинный” и “ложный” в нарративном смысле, и я не стремлюсь усовершенствовать обычный язык. Цель моего рассмотрения состояла только в том, чтобы продемонстрировать, что в философской аргументации следует остерегаться выражений “истинность (ложность) нарратива”. По крайней мере, необходимо понять, что термины “истинный” или “ложный”, когда они используются для характеристики нарратива, имеют другое значение, чем когда они используются для характеристики высказываний. Я очень хорошо осознаю, что у нас есть естественная склонность употреблять слова “истинный” или “ложный” для указания ценности нарратива, поскольку при наличии нескольких нарративов по одному и тому же предмету их качество должно быть различным. Большинство людей, наверное, согласится, что при всех его достоинствах описание К. Х. Де Витом последних лет Голландской республики по качеству уступают книге Леба “Идеологические истоки батавской революции”. За неимением лучшего термина приходится употреблять термины “истинный” и “ложный” в таких случаях: “Леб ближе подошел к “истине”, описывая старческую немощь Голландской республики, нежели де Вит (или Шама в своей недавней книге)”. Однако во избежание ошибочных аналогий при философском анализе лучше выбрать специальный термин для обозначения качества нарратива. Далее я буду употреблять слова “истинный” и “ложный” только применительно к высказываниям, а в качестве их нарративных аналогов я предлагаю термины “субъективный” и “объективный”. Нарратив хорошего качества, ко-

торый в обычном языке назывался бы “истинным”, будет называться “объективным”, нарратив же низкого качества — “субъективным”. Конечно, термины “объективный” или “субъективный” уже находятся в употреблении. Поэтому нужно будет очистить их от привычных коннотаций; как только это будет сделано, окажется, что они превосходно подходят для того, чтобы служить нарративными эквивалентами относящихся к высказываниям понятий “истинный” или “ложный”. Однако этим мы займемся только в конце VIII главы, когда можно будет тщательно проанализировать выражение “объективность нарратива”.

(1) *Введение.* Философа-нарративиста, который (подобно Фейну или Горману) не осмеливается отказаться от понятий “истинность (или ложность) нарратива”, преследует *idee fixe*: идея высказывания. Истинные высказывания соответствуют внеязыковой реальности так, как это определяется значением и референцией высказывания; сходным образом приверженец понятия “истинность (ложность) нарратива” надеется, что между содержанием нарратива и изображенной в нем исторической реальностью существует некоторого рода соответствие. Он рассматривает нарратив как некую картину прошлого: ведь существует верифицируемое соответствие между фотографиями или картинами (взятыми как целое и в деталях) и фрагментом зримой реальности, изображенным на них. Я буду называть сторонников этой “изобразительной теории” (“picture theory”) нарративными реалистами¹. Нарративный идеализм, с другой стороны, отвергает изобразительную теорию; последствия неприятия этой теории будут обсуждаться в разделе (3) настоящей главы.

(2) *Прошлое не имеет нарративной структуры.* Нарративный реализм является весьма правдоподобной теорией, и я думаю, что все мы интуитивно склонны согласиться с ней. Поскольку таким общим убеждениям свойственно быть неясными и неопределенными, я тщательно анализирую те

¹ Неотступная, навязчивая идея (франц.). — Прим. пер.

² В своем “Трактате” Витгенштейн разрабатывает “изобразительную теорию” отношения между истинным высказыванием и описанным в нем фрагментом реальности (см., в частности, пункты 2.1, 2.12, 2.141, 2.1513, 2.1514 и 2.17). Преобразование этой теории в теорию отношения между нарративом и исторической реальностью дает хорошее представление о том, что означает термин “нарративный реализм”. Можно было бы добавить, что научный идеал разработчиков моделей в “новой экономической истории” идентичен эпистемологии, развиваемой Витгенштейном в “Трактате”.

невывыказываемые и неявные допущения, которые стоят за нарративным реализмом. Наше самое наивное нарративно-реалистическое предположение состоит в том, что нарратив следует рассматривать как вербализацию всех образов в фильме, сделанном о прошлом. Каждый такой образ, согласно этой концепции, является аналогом высказывания, а фильм в целом — аналогом нарратива. Очевидно, что нарративный реализм вдохновлен редукционистской программой, которую мы обсуждали в главе III: приняв редукционизм, кажется оправданным утверждать, что истинность нарратива в целом является функцией от истинности высказываний, служащих вербализациями всех отдельных образов фильма. Модель повествования, соответствующая этому нарративистско-реалистическому предположению, имеет следующую форму: во время t_1 — (ситуация) S_1 , во время t_2 — S_2 и т.д. Однако мы забываем, что у режиссера фильма имеются очень четкие представления о том, что следует и что не следует снимать. Поэтому показанное в фильме соответствует не действительному прошлому, как предлагает этот вариант нарративного реализма, но подборке из прошлого.

Позицию нарративного реалиста труднее критиковать, когда он основывает свои доводы на следующем сопоставлении. Возьмем машину и чертеж этой машины. Для нарративного реалиста отношение между действительным прошлым и его нарративным описанием по своему типу совпадает с отношением между машиной и ее чертежом. Мы можем на основе чертежа заключить о действительной работе машины; точно так же, согласно нарративному реалисту, мы можем сделать вывод о действительной “механике” прошлого из сообщаемого в нарративе. Существенным в этом сопоставлении является следующее. Аналогия между нарративом и чертежом подразумевает, что должны существовать определенные правила, которые мы могли бы назвать “правилами перевода” и которым нам следует подчиняться при “переводе” или “проецировании” действительного прошлого на лингвистический уровень нарратива. Так же как существуют правила, которые позволяют нам восстановить действительную работу машины по ее чертежу, и правила, которые предписывают, как следует изображать машину на чертеже.

Характер этих правил перевода был очень удачно охарактеризован Перельманом. Он говорит, что задача дать объективное описание прошлого и прошлых событий заставляет историка представлять себе "une carte à relief qui correspondrait avec exactitude au relief du terrain: tout comme l'on représente l'importance d'une chaîne de montagnes par sa projection sur une carte, on devrait pouvoir déterminer d'une façon univoque l'importance de chaque événement historique et de chaque facteur qui a contribué à sa production. L'idéal de la connaissance historique consisterait en une représentation aussi fidèle que possible d'un réel historique préalable: ce serait là le sens de l'objectivité en histoire"². Перельман признает, что этот идеал недостижим; исторические документы содержат слишком много пробелов, у нас слишком мало или вообще нет информации о многих сторонах прошлого. Однако он исходит из предположения, что историография должна иметь в своем распоряжении правила перевода, аналогичные правилам картографической проекции, которые позволили бы нам переводить прошлое на нарративный язык. Прошлое считается чем-то *данном* историку, оно лежит перед ним как ландшафт; его нужно лишь перенести в нарратив с помощью этих правил перевода, обеспечивающих создание "историографической проекции".

За многими философскими рассуждениями об истории кроется нарративно-реалистическое убеждение в том, что есть определенные "правила перевода", регулирующие отношение между прошлым, однозначно данным историку, и нарративным изображением этого прошлого. Следующие три иллюстрации помогут понять истинный смысл нарративного реализма. Недавние призывы превратить историю в "социальную науку" во многом, если не во всем, обязаны своей привлекательностью неявной, хотя и повсеместной, вере в

существование таких правил перевода. Многие историков беспокоила (и продолжает беспокоить) "неискоренная субъективность", присущая, по их мнению, создаваемой ими нарративной историографии. Если бы можно было найти интерсубъективно признаваемые правила перевода, то появилась бы возможность переводить историческую реальность на нарративный язык так, чтобы с этим согласились все сторонники таких правил. Очевидно, теории или модели социальных наук являются наиболее подходящими кандидатами на роль обеспечения историков этими интерсубъективно признаваемыми правилами перевода. Какие бы данные о прошлом ни подставлялись вместо переменных в этих теориях или моделях, они могут быть "объективно" спроецированы на уровень лингвистической репрезентации прошлого.

Как это не странно, тот же ход рассуждений мы находим в немецкой философии ценностей начала XX века. Поэтому замечательная лекция Риккерта о различиях между точными науками и науками о культуре является моей второй иллюстрацией. У Риккерта история служит образцом для наук о культуре, поскольку психология, социология и т.д. имеют слишком много общего с точными науками, чтобы оказывать им подобную честь. Как, согласно Риккерту, историк получает свое знание о прошлом? Понимая, что историк не может предоставить копию или дубликат прошлого "an sich", Риккерт приходит к выводу, что работа историка должна рассматриваться не "als ein Abbilden, sondern nur als ein Umbilden des gegebenen Vorstellungsmaterials"³. Как историк достигает этого "Umbildung"⁴? Риккерт отвечает: "die Wissenschaft bedarf (...) für die Auswahl des Wesentlichen eines leitenden Prinzips"⁵. И чем мог бы быть этот "leitende Prinzip"⁶,

² "Карту, которая точно соответствовала бы рельефу местности: подобно тому, как масштаб горной цепи представлен ее проекцией на карте, так и значение каждого исторического события и всех создающих его факторов должно быть однозначно определено. Идеал исторического знания состоял бы в максимально достоверном изображении предшествующей исторической реальности: в этом смысле исторической объективности." (франц.). — Прим. перев.

³ Perelman (2); p. 361.

⁴ "Самого по себе" (нем.). — Прим. перев.

⁵ "Как отображение, но как преобразование данного содержания представленный (нем.). — Прим. перев.

⁶ Rieckert; p. 28.

⁷ Преобразования (нем.). — Прим. перев.

⁸ "Для выбора существенного наука нуждается в руководящем принципе (нем.). — Прим. перев.

⁹ Rieckert; p. 35.

¹⁰ Руководящий принцип (нем.). — Прим. перев.

как не высшим критерием отличия наук о культуре от точных наук, а именно принципом ценности? Рассматривая историю с точки зрения ценностей (это и образует особую природу исторического исследования), мы наделяем историческую реальность "трансцендентальной структурой", которая позволяет историку описывать прошлое. Риккерт пишет: "aus der unübersehbaren Fülle der Objekte [прошлого. — Ф.А.] berücksichtigt der Historiker zunächst nur die welche in ihrer individuellen Eigenart etweder selbst Kulturwerthe verkörpern oder mit ihnen in Beziehung stehen, und aus der unübersehbaren Fülle, die jedes Einzelne ihm darbietet, wählt er sodann wiederum nur das aus, woran die Beziehung für die Kulturentwicklung hängt. Für die historische Begriffsbildung liefern die Kulturwerthe also das Prinzip zur Auswahl des Wesentlichen mit Rücksicht auf das Allgemeine dies für die Naturwissenschaften thut"⁵. Подобные замечания о природе истории можно найти в работах таких философов, как Вебер, Зиммель или Майнеке. Основная мысль всегда состоит в том, что ценности могут выполнять функцию правила перевода, которые позволяют историку транслировать разнообразные исторические явления в осмысленный исторический нарратив. Очевидно, что рекомендации Риккерта историку равнозначны тем, что дают поборники "истории как социальной науки". В обоих случаях историку предлагается набор правил перевода либо в виде систем ценностей, либо в виде социально-научных теорий, которые призваны показать, как переводить историческое прошлое на язык историографии. И та и другая фило-

⁵ Среди необозримого богатства объектов [прошлого. — Ф.А.] историк принимает во внимание только те, которые в своем индивидуальном своеобразии или воплощают ценности культуры, или имеют к ним отношение, а из необозримого богатства, предлагаемого ему каждым отдельным объектом, историк выбирает затем только то, что имеет отношение к развитию культуры. Таким образом, культурные ценности обеспечивают образование исторических понятий принципом отбора существенного так же, как это делает понятие природы в естественных науках, если учесть их обобщающий характер. (нем.). — Прим. перев.

⁵ Rickert; p. 47. Более подробное изложение соответствующих взглядов Риккерта можно найти в H. Rickert, *Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung*, Tübingen 1921; pp. 231–256 [См. русск. изд.: Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. СПб.: Издатель Е.Д. Кускова, 1903].

софия истории основываются на (неявном) убеждении в том, что историография в своей сути является языковой проекцией, осуществляемой согласно правилам перевода.

Широко обсуждаемое исследование Хейдена Уайта об историческом воображении XIX века является моей третьей иллюстрацией. Позиция Уайта интересна потому, что она представляет собой что-то вроде переходной ступени между нарративным реализмом и нарративным идеализмом. Для двух предшествующих иллюстраций были важны определенные допущения относительно природы исторической реальности: историческую реальность следует отождествлять или с тем, о чем говорят социально-научные теории, или с тем, что известно как "Kulturwerthe". Только на основе этих допущений предлагаемые правила перевода действительно имеют смысл. Уайт, напротив, открыто отвергает все заявления относительно природы исторической реальности и, стало быть, стоит ближе к нарративному идеализму. Тем не менее, он не может заставить себя отказаться от правил перевода, признаваемых нарративным реализмом.

Я не хочу здесь вдаваться во все тонкости нарративистской философии Уайта и ограничусь тем, что имеет отношение к настоящему обсуждению. Прошлое как таковое, утверждает Уайт, не может быть нами понято: само по себе прошлое — это мириады фактов, состояний и событий, бесформенный хаос данных, который успешно сопротивляется его "осмыслению" историком⁶. Поэтому историк вынужден переводить "прозу" исторического прошлого в нарративную "поэзию" историографии. Четыре риторических тропа: метафора, метонимия, синекдоха и ирония — позволяют осуществлять этот перевод. Эти четыре тропа, каждый по-своему, позволяют произвести отбор или отвлечься от исходного хаоса исторической реальности и, таким образом, делают историю умопостигаемой. Например, метафора позволяет сформировать отношение части (прошлое, описываемое в нарративе) к целому (самому историческому прошлому). Это отношение может быть охарактеризовано как "символическое":

⁶ "Ценности культуры" (нем.). — Прим. перев.

⁶ White (1); p. 34.

так, для Мишле "Le Peuple" являлся символом Великой французской революции; следовательно, процедура отвлечения, которую он выполняет, могла бы называться "метафорической". С другой стороны, с помощью метонимии мы упорядочиваем явления прошлого в соответствии с критериями, которые в некотором смысле являются внешними по отношению к самой истории: научный или теоретический подход к прошлому (ведь теории — это мысленные построения, не принадлежащие самому прошлому), несомненно, включает в себе метонимический анализ прошлого. К сожалению, Уайт не объясняет, почему четыре тропа обладают замечательными способностями, которыми он их наделяет. Возможно, это происходит из-за его частичного отказа от нарративного реализма. Прими он допущение относительно природы исторической реальности и отношения между ее составными частями, он смог бы найти хорошее обоснование своим тропам. Но пока что его выбор четырех тропов в качестве правил перевода, позволяющих историку переводить прошлое в нарратив, остается совершенно произвольным.

Я признаю, что у Уайта есть еще один выход. Он мог бы предложить (если воспользоваться термином Канта) "трансцендентальную дедукцию" четырех своих тропов, т.е. он мог бы попытаться доказать, что знание о прошлом становится возможным только благодаря этим четырем тропам. Вполне вероятно, что Риккерт, будучи неокантианцем, мог бы воспользоваться такой стратегией в своей аргументации в пользу "Kulturwerthe" как правил перевода. Однако, провозгласив задачей историка изучение особого рода исторических объектов (т.е. объектов, в которых "irgend ein vom Menschen anerkannter Werth verkörpert ist"⁷), он фактически отказался от этого трансцендентального подхода в пользу метафизического. В связи с этим следует отметить, что в оставшейся части настоящей книги будет осуществлена эта трансцендентальная процедура (см. главу II, раздел (9)). Мы обнаружим, что, в отличие от правила перевода, постулируемых narra-

тивным реализмом, правила трансцендентального нарративизма не претендуют на то, чтобы направлять историка в решении проблемы "перевода" прошлого в нарратив, но они лишь определяют логическую структуру нарративных описаний прошлого. Конечно, о таких правилах уже нельзя сказать, что они являются правилами перевода.

Помимо этих соображений, у меня есть еще два возражения против изобразительной теории нарративного реализма. Во-первых, нарративному реализму свойственно смешивать то, что следует разделять. Нарративный реализм является философской теорией о том, как связаны или как должны быть связаны между собой историческая реальность и ее нарративное описание. Как таковой, он имеет, или предполагается, что имеет, следствия для онтологии, эпистемологии и социальных наук. Если мы более внимательно рассмотрим взгляды нарративного реалиста, то обнаружим, что они содержат ряд двусмысленностей, которые легко приводят к смешению этих трех областей. Как объяснялось на с. 121, социальные науки являются наиболее подходящими кандидатами на роль предоставления интерсубъективно признаваемых правил перевода. Помимо достоинств, присущих социальным наукам самим по себе, нарративный реалист склонен придавать им эпистемологический статус, утверждая, что только эти правила позволяют нам знать прошлое. Таким образом, социально-научный и эпистемологический уровни легко смешиваются; программа превращения истории в "социальную науку" во многом обязана своим видимым правдоподобием этой склонности.

Во-вторых, как утверждают сторонники герменевтической теории, мы можем понимать историю (эпистемологический уровень) только постольку, поскольку существует онтологическое равноправие между объектом (историческим деятелем прошлого) и субъектом (историком). Здесь идеализм, присущий всем герменевтическим теориям, приводит к смешению онтологии и эпистемологии. В действительности, вечная неприязнь сторонников герменевтической теории к механистическим истолкованиям исторического знания не должна скрывать от нас того факта, что герменевтика в той же мере является нарративно-реалистической теорией (заключая в себе правила перевода), как и, к примеру, идеал со-

⁷ Народ (франц.). — Прим. перев.

⁸ "Воплощена некоторая признаваемая людьми ценность" (нем.). — Прим. перев.

⁹ Rickert; p. 20.

циально-научной историографии. Ибо в герменевтической теории жизненный опыт историка устанавливает правила перевода, которые позволяют ему понимать и описывать прошлое.

В-третьих, имеет место смешение онтологического и социально-научного уровней. Его следствием является убеждение в том, что правила перевода способны переносить на уровень лингвистической репрезентации саму сущность прошлого. Конечно, как и в первом случае, в этом смешении зачастую кроется призыв превратить историю в социальную науку. Однако пропаганда, которой занимаются сторонники этой точки зрения, является просто современным вариантом гораздо более древней традиции, а именно спекулятивной философии истории. Оба подхода приводят к онтологии истории, которая основывается на (молчаливом) признании особых правил перевода. Поэтому давайте рассмотрим спекулятивную философию как более общую форму этого смешения⁸.

Популярность некоторых наиболее влиятельных вариантов спекулятивной философии во многом способствовала утверждению изобразительной теории по той причине, что а) они рисуют нам прошлое в виде механизма, управляемого хитростью Разума или классовой борьбой и, б) таким образом, предоставляют историку набор правил перевода в виде матриц для описания прошлого вроде развития Абсолютного Духа или классовой борьбы. В последние годы спекулятивная философия была подвержена суровой критике, в особенности, за то, что часто, хотя и не всегда, претендовала на предсказание будущего. Поппер в своей хорошо известной книге о спекулятивных системах убедительно показал, что спекулятивные философы, стремясь предсказать будущее, совершают “холистскую ошибку” и/или усматривают сходство между историей и наукой, которого не существует⁹. Однако Поппер не отвергает использования спекулятивной философии исключительно в области самой историографии (т.е. без ссылок на будущее). По сути, его, видимо, вполне устраивает такое

⁸ Сходство в подходе к истории у спекулятивных философов и сторонников социально-научной историографии уже было отмечено Уайтом. Ср. Н. White (4); p. 5 ff.

⁹ Popper (2); Chapter III, section (4).

применение спекулятивной философии¹⁰; он даже подчеркивает необходимость выбора точки зрения в соответствии с какой-нибудь философией истории при написании нарратива. Мы уже видели, что эта идея разрабатывалась Хаскелем Фейном: согласно Фейну, историк, стремящийся рассматривать прошлое как социально-экономический процесс, не может не опираться на марксистскую спекулятивную философию истории, осознает он это или нет. В главе II я утверждал, что в подобных концепциях прослеживается особый вид историографического картезианства. Однако в свете настоящего обсуждения можно отметить, что уже сам нарративный реализм, присущий спекулятивной философии, должен вызывать у нас подозрение. Варианты спекулятивной философии либо рассматриваются как обычные, пусть и интересные, нарративы (но тогда они не могут претендовать на те особые функции, которыми наделяют их Поппер и Фейн), либо считаются “главными нарративами” (но тогда обращение к нарративному реализму становится неизбежным) (см. также главу VII, раздел (4)).

Стоит подчеркнуть, что эти три вида смешения не являются простой случайностью для изобразительной теории нарративного реализма. Они не представляют собой печальное последствие некоторой достойной сожаления небрежности со стороны части нарративных реалистов. Напротив, самим своим существованием изобразительная теория обязана смешению онтологической, эпистемологической и социально-научной областей. Ибо как только проводится различие, например, между эпистемологическим и социально-научным уровнем, появляются два отдельных набора правил перевода (если этот термин еще уместен), а именно по одному для каждого из двух уровней, и вся модель рушится. Преимущество социо-научных правил перевода можно обосновать только с помощью эпистемологических доводов, и наоборот; таким образом, эти области безнадежно связаны друг с другом. То же самое верно и для двух других случаев смешения.

Теперь я перехожу к моему второму, более принципиальному, возражению против изобразительной теории нарративного реализма. Отнюдь не в соответствии с каким-нибудь

¹⁰ Popper (2); Chapter IV, section (5); см. также Popper (4).

современным истолкованием слов “проекция” или “картина” нарратив может быть назван “проекцией” или “картиной” исторической реальности. И какое бы конкретное содержание мы ни вкладывали в правила перевода, они всегда будут лишь произвольными правилами отбора, приемлемыми для одних историков и неприемлемыми для других. Прошлое никоим образом не подобно машине: оно не имеет никакого скрытого механизма, работу которого должен отследить историк. Не подобно прошлое и ландшафту, который должен быть спроецирован на лингвистический уровень с помощью правил проекции или перевода. Ибо “исторический ландшафт” не дан историку; историк должен его *построить*. Нарратив не является проекцией исторического ландшафта или некоего исторического механизма, прошлое лишь *конституируется* в нарративе. Структура нарратива — это структура, которая *придается* или *навязывается* прошлому, она не является результатом рефлексии над родственной структурой, объективно присутствующей в самом прошлом. Мы должны отвергнуть “представление о том, что существует определенная историческая действительность, сложный референт всех наших повествований о том, что “что действительно произошло”, нерассказанная повесть, которой приблизительно соответствуют нарративные истории” (Минк)¹¹. В таком же духе высказывался и Хейзинга, по мысли которого неправильно, хотя и очень заманчиво, считать, что “*es*” в изречении Ранке о долге историка изображать прошлое “*wie es eigentlich gewesen*”¹² должно отсылать к чему-то неизменному и бесспорно имеющему одни и те же очертания для всех историков¹³. Напротив, историки спорят не о том, как воспроизвести это “*es*”, а о том, какое нарративное содержание ему лучше придать.

Все это означает, что у прошлого как такового нет нарративной структуры — нарративные структуры появляются только в нарративе. Мунц, вспоминая в связи с этим замечание Пуанкаре, пишет, что “не существует никакого времени, помимо того, которое показывают наши часы. Мы можем

¹¹ Mink (6); p. 148.

¹² Оно, это (нем.). — Прим. перев.

¹³ Как оно было на самом деле (нем.). — Прим. перев.

¹⁴ Huizinga; p. 44.

сверять одни часы с другими, по мысли Мунца, со временем, поэтому бессмысленно спрашивать, какие из множества имеющихся у нас часов *правильные*. То же верно и по отношению к любому рассказу, включая и исторические повествования. Мы не можем взглянуть на саму историю. Мы можем только сравнивать одну книгу с другой”¹⁴. При таком морфологическом или структурном различии между прошлым и нарративом как можно надеяться, что какие-то правила перевода свяжут их вместе? Правила проекции или перевода могут существовать только там, где есть две соответствующие друг другу области, имеющие структурное сходство. Но объекты прошлого, о которых так часто говорят историки, например интеллектуальные, общественные, политические движения и даже нации или социальные группы, не имеют в самом прошлом независимого от нарратива статуса: они происходят из нарратива и удостоверяются исключительно нарративом. Описывая эти “вещи”, историк в каком-то смысле действительно описывает прошлое; однако он показывает его скрытым под маской. Задача историка подобна, если воспользоваться довольно банальным сравнением, задаче модельера, который желает показать свои работы. Модельер использует манекены или, еще лучше, манекенщиц, чтобы продемонстрировать достоинства своих работ, т.е. он

¹⁵ Munz (2); p. 221. См. также pp. 16—17: “по правде говоря, за разнообразными масками, которые создает любой рассказчик, будь то историк, поэт, новеллист или мифотворец, нельзя различить лица. Он рассказывает историю, и все, что у нас есть, это история. Эту проблему нельзя решить, трактуя ее как проблему перевода. Ибо хотя мы можем перевести фотографию в живописное изображение, а живописное изображение, лишив его жизни, — в словесное высказывание, английский текст — в русский текст, мы ни во что не можем перевести действительно произошедшее (т.е. поток времени). Мы можем перевести на другой язык то, что кто-то *считает* произошедшим, и постараться установить эквивалентность различных переводов, по крайней мере, до определенной степени. Но мы не можем переводить реальность; ибо для этого нам в первую очередь потребовалось бы ее изображение или текст о ней. (...) Но горькая правда состоит в том, что за маской нет лица, а вера в то, что оно есть, обосновательна. Ибо любое описание лица, определенно, было бы еще одной маской. Мы не можем представить доказательство, что это подлинное “описание” лица, и каждый возможный мимолетный его образ был бы, в силу своей природы, еще одной маской”.

использует вещи или женщин, которые не являются частью самой одежды или платьев. Если просто оставить платья лежать беспорядочной кучей, это ничего не даст. Аналогичным образом и историк использует такие понятия, как "интеллектуальное движение", "Ренессанс", "социальная группа" или "промышленная революция" для того, чтобы "одеть прошлое". Прошлое показывается при помощи таких сущностей, которые не составляют части самого прошлого и даже не отсылают к действительным историческим явлениям или аспектам этих явлений. Именно это я хотел бы назвать нарративным идеализмом. Он требует от нас постоянно помнить о структурном разрыве между прошлым и нарративом; он провозглашает структурную самобытность нарратива и привлекает внимание к чисто языковым нарративным правилам, которым подчиняется нарратив. Я допускаю, что существуют определенные правила демонстрации достоинств одежды; точно так же, согласно нарративному идеализму, можно обнаружить нарративистские правила или "нарративную логику", определяющую, как надлежит показывать в нарративе то, что исторические источники говорят нам о прошлом.

(3) "Видение как..." в историографии. Нам следует остерегаться интуитивного восприятия нарратива как результата рефлексии о структуре, внутренне присущей прошлому. Мы не "видим" прошлое, как оно есть и как мы видим дерево, машину или ландшафт; мы видим прошлое только сквозь маскарад нарративных структур (хотя за этим маскарадом нет ничего, что обладает нарративной структурой). В этом кроется различие между "видением как..." в точных науках и "видением как..." в историографии. Никакое "видение как..." не дано в качестве начального пункта исторического исследования (как полагают спекулятивные философы и их нерешительные сторонники в лице Поппера или Фейна), хотя это имеет место в точных науках. В точных науках знакомые, повседневные теории и регулярности образуют наше исходное "видение как...", и потому нам дана отправная точка. Кроме того, наше исходное "видение как..." может совершенствоваться и действительно совершенствовалось на протяжении всей истории точных наук. Эволюцию точных наук можно было бы описать как непрерывный процесс разработки новых и совершенствования прежних способов "видения как...". Каждый

новый этап в их развитии представляет собой исправление прежнего "видения как...".

В историографии же все по-другому. Определенное "видение как..." не является отправной точкой в историческом исследовании (предпринимаемом с целью выработать, применить или улучшить его): "видение как..." появляется в конце как результат исторического исследования. Это объясняет, почему историография редко бывает, если вообще бывает, кумулятивной по своему характеру; хотя в каких-то деталях историк и может опираться на чужие работы, но когда он пишет свою статью или книгу, он, по сути, вынужден начинать все с самого начала. В историографии нет неизменных результатов; нет — и никогда не будет — такой книги по какой-то общей исторической теме, которую все историки признают выражением окончательного "видения как..." и которая оставала бы лишь возможность изучения некоторых подробностей. В отличие от точных наук, в историографии общим признанием пользуются не "видения как...", а подробности. Со времени возникновения "научной историографии" в ней никогда не было ньютонов и эйнштейнов, и если бы какой-нибудь историк удостоился такой чести, то историография пережила бы временную смерть. Конечно, в "научной" историографии есть свои выдающиеся историки такие, как Ранке, Пиренн, Хэзард, Февр, Нэмир, Бродель, Тальмон или Дюби. Однако даже во время их жизни предложенные ими "видения как..." часто уступали место другим. С другой стороны, такие выдающиеся физики, как Ньютон, Эйнштейн, Планк или Шрёдингер определили характер научных исследований на многие десятилетия. Причина здесь в том, что, в отличие от ученого, историк не начинает с "видения как...", а только заканчивает им. И результаты исследования (т.е. само "видение как...") не могут и не должны определяться тем, что утверждали другие историки (т.е. другими "видениями как..."). Ибо что могло бы быть целью таких исследований? В науке же принято *разрабатывать и уточнять* некоторое данное или общепризнанное "видение как..."; так что там, как правило, неизбежно начинают с принятия предшествующего "видения как...".

Мне известно, что недавние разработки в философии точных наук, видимо, свидетельствуют о том, что различий

между историографией и точными науками меньше, чем я предполагаю. Даже в точных науках предшествующее “видение как...” иногда уступает место радикально новому. Следовательно, когда я характеризую точные науки как форму исследования, для которой присуща исключительно постепенная разработка предшествующего “видения как...”, то это может быть только частью правды. Я допускаю возможность определенной аналогии между обычным развитием в историографии и тем, что происходит в точных науках в периоды так называемых “научных революций”. И хотя не в моей компетенции высказываться по этому вопросу моей естественной реакцией на подобные аналогии является крайнее недоверие: в прошлом они уже породили массу досадных недоразумений. Кроме того, различие между непрерывным развитием научного знания в периоды “нормальной науки” и привычкой историков постоянно пересматривать свое истолкование прошлого является слишком значительным, чтобы им пренебрегать. Пожалуй, историография в каком-то смысле действительно напоминает науку в ее “допарадигмальный” период (конечно же, это замечание не нужно понимать так, будто история когда-нибудь станет наукой в куновском понимании). Нельзя отрицать заметные сходства между историческими работами, датируемыми одним и тем же периодом. Поэтому мы можем говорить об историографической моде. Но я не думаю, что эту моду следует рассматривать как историографический эквивалент “парадигмы” Куна. К примеру, переживает ли историография свои “парадигмальные изменения”? Различия между ориентированной на событие историографией начала этого столетия и, например, структуралистской историографией французской школы Анналов иногда обозначают как “парадигмальные изменения”. Но тогда в чем состоят “неразрешимые проблемы” предшествующей традиции и предлагаемые для них “решения *ad hoc*” (согласно терминологии Куна)? Сама абсурдность этих вопросов ясно показывает, насколько неприемлемо переносить теорию Куна в область историографии. Можно сказать, что любая историография по какому-то конкретному аспекту прошлого

* Специально создаваемые для данного конкретного случая (*лат.*). — Прим. перев.

образует “парадигму” в самой себе. Это, естественно, было бы искажением понятия “парадигма”¹⁴.

“Видение как...” является не началом, но результатом исторического исследования. Возьмем хорошо известный рисунок кролика-утки Ястроу и Витгенштейна. Для того чтобы узнать кролика или утку на этом рисунке, нужно изначально знать, как обычно рисуют кроликов или уток. А такое знание, такие “ментальные образы”, которые являются необходимым условием для всякого “видения как...”, отсутствуют в историографии, в отличие от точных наук, где даже самые простые регулярности, известные из нашего повседневного опыта, могут выполнять эту функцию (т.е. представлять образец для “видения как...”). Однако можно было бы спросить: разве не случается историкам зачастую исправлять своих предшественников? Такие исправления можно было бы истолковать как непрерывное уточнение предшествующего историографического “видения как...”. Несмотря на видимое правдоподобие такого заключения его сделать нельзя. О непрерывном уточнении определенного “видения как...” можно говорить, только если оно касается теорий, гипотез и тому подобных вещей, имеющих отношение (приблизительно) к одному и тому же роду явлений. Это условие в большей или меньшей степени выполняется в точных науках (я не беру во внимание замечания Фейерабенда и Снида по этому предмету). Когда в физике идет борьба между двумя теориями, дискуссии между сторонниками этих конкурирующих теорий касаются объяснения (более или менее) устойчивого аспекта реальности. Две теории являются “конкурирующими” только в том случае, если они относятся (приблизительно) к одному и тому же роду явлений.

Даже если делать сильный акцент на несоизмеримости конкурирующих научных теорий, между наукой и историографией останется заметное различие. Когда, например, английский историк Тревор-Ропер критикует хорошо известный тезис Вебера, не отрицая полностью существования определенной связи между кальвинизмом и возникновением капи-

¹⁴ Замечания Куна относительно применимости его идей за пределами точных наук см.: Kuhn; pp. 208—209.

тализма¹⁵, он имеет в виду совершенно иное историческое явление, чем Вебер. Вебер размышлял о теологических явлениях; Тревор-Ропер, с другой стороны, рассказывает нам о том, как многие банкиры в римско-католических странах, напуганные суровостью Контрреформации, покинули родину в поисках более терпимого политического климата. Короче говоря, дискуссиям историков присуща вольность, не имеющая аналога в точных науках: отношение между капитализмом и кальвинизмом можно изучать и с точки зрения религии, и с точки зрения эмиграции финансовой элиты. Вероятно, обе точки зрения даже могли бы быть представлены в одной книге, что было бы, конечно, очень странной ситуацией для точных наук. Например, можно вести поиск предпосылок Великой французской революции в сфере идей (как это делал Даниэль Морне) и изучать ее социально-экономические причины (как это делал Лабрусс)¹⁶. Проблема историографии состоит в том, что вопросы подобные вопросу об отношении между капитализмом и кальвинизмом или о причинах Великой французской революции являются до такой степени неоднозначными, что оставляют место для всех этих подходов. Когда мы спрашиваем о причинах Великой французской революции, мы не задаем четкого и однозначного вопроса. Необходимость ответить на него ставит историка в положение, совершенно отличное от положения физика, которого просят объяснить, почему трение вызывает выделение тепла или почему стрелка компаса отклоняется вблизи электрического тока.

Различие между “видением как...” в точных науках и в историографии можно пояснить с помощью следующего примера. Физик приходит к своей кинетической теории газов путем тщательной математической разработки “видения” молекул газа “как” совершенно упругих маленьких шаров; историк, напротив, должен только попытаться *создать* такой *геиштальт*, такое “видение как...”. Задача историка выполнена тогда, когда он продемонстрировал, что позднее Сред-

невековье в Северной Европе не следует “видеть как” начало новой эпохи, но, скорее, как *конец* той исторической реальности, которая ему предшествовала (ср. “Осень Средневековья” Хейзинги). Что является простой эвристикой в точных науках исчерпывает собой всю историографию.

Из этих рассуждений не следует делать вывода, будто историк так же, как его коллега в точных науках, мог бы математически обработать *геиштальт*, который был предложен им для подлинно научного изучения прошлого. Когда в точных науках что-то (скажем, систему S_1) рассматривают с точки зрения чего-то другого (скажем, с точки зрения системы S_2), это является целесообразным, только если система S_2 лучше изучена, чем система S_1 , и поэтому, как в случае кинетической теории газов, допускает математическую обработку. Мы говорим, что система S_2 лучше изучена, чем система S_1 (представьте себе упругие шары кинетической теории газов), когда возможно (предпочтительно математическое) описание S_2 , позволяющее решить соответствующие проблемы S_2 , а стало быть, и проблемы S_1 . Но совершенно невозможно представить себе описание нарратива, которое разрешило бы проблемы, касающиеся этого нарратива, а, следовательно, и проблемы соответствующего фрагмента самого прошлого. В точных науках “видение как...” логически отличается от описания физической реальности, к которому оно приводит; в нарративе никакое подобное различие невозможно. Различие между “видением как...” в историографии и в точных науках в основном состоит в том, что в точных науках значение *геиштальта* уже дано. Если возвратиться к примеру с рисунком кролика-утки, то можно сказать, что физик заранее знает, как обычно рисуют уток и кроликов, а историк нет. На содержание восприятия физиком реальности всегда оказывают сильное влияние ранее созданные теории, или, возможно, ожидания, основанные на повседневном опыте. Добросовестный же историк, который не желает просто пересказывать своих предшественников, напротив, никогда не занимает такой удобной позиции. У историка, изучающего британскую колониальную экспансию или семейную жизнь в средневековой Германии, нет твердо установленных образцов, примеров или аналогий, на которые он мог бы опереться. У него нет моделей, с помощью которых он мог бы пере-

¹⁵ H.R. Trevor-Roper, Religion. The Reformation and Social Change, in *The Reformation and Social Change*, London 1972.

¹⁶ D. Mornet, *Les origines intellectuelles de la Revolution Francaise*, Paris 1967 (1st ed. 1933), E. Labrousse, *La crise de l'economie Francaise a la fin de l'Ancien Regime et au debut de la Revolution*, Paris 1944.

формулировать свою проблему. Фактически, его настоящая цель состоит в том, чтобы построить такую модель, и если ему это удастся, он может считать свою задачу выполненной.

(4) *Заключение.* На первый взгляд, может показаться, будто отказ от нарративного реализма равносителен отказу от всякой определенности в истории. Однако мы можем надеяться найти некоторое утешение в философии точных наук, поскольку от идеи, согласно которой эти науки должны описывать то, что *действительно* происходит в природе, отказались уже во времена Маха и Гельмгольца¹⁷ или, если кто-то предпочитает идти еще дальше назад, то со времени *коперниканской революции* Канта. А в наше время “научный идеализм” (аналогичный нарративному идеализму, который отстаиваем мы в этой главе) был сформулирован Поппером почти с экзистенциалистским *пафосом*: “В эмпирическом базисе объективной науки нет ничего “абсолютного”. Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или “данного” основания. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере, некоторое время выдерживать тяжесть нашей структуры”¹⁸. Похожая ситуация складывается и в историографии: нет прошлого, которое могло бы быть твердым фундаментом для наших нарративов, и нет правил перевода, которые могли бы служить неразрушимыми сваями, подпирающими нарратив. Однако Поппер никогда не делал вывода (и никогда не склонялся к выводу) о том, что к изучению природы и открытиям в научных теориях нужно относиться как к чисто произвольному делу. В таком случае, если мы отказываемся от интуи-

¹⁷ Mandelbaum (2); Ch. 14.

¹⁸ Поппер К. Логика научного исследования // Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 147–148. Следует отметить, что для мысли Поппера характерна также значительная реалистическая направленность. Ср.: Поппер К. Предположения и опровержения. Раздел 6. // Логика и рост научного знания. М., 1983.

тивной уверенности в том, что прошлое подобно машине или его можно картографировать, связывая посредством правил перевода с нарративом, это ни в коей мере не вынуждает нас считать, будто историография не выражает ничего, кроме прихоти или моральных и эстетических ценностей историков. Если же философы истории и науки, тем не менее, склонны к такого рода выводам (к сожалению, подобная склонность просматривается во многих работах по истории), это просто означает, что не сама история, а философия истории идет по неверному пути. Во многом исторический скептицизм и релятивизм обусловлены смешением нарративного идеализма, возникающего из осознания действительной историографической практики, и ограниченных нарративно-реалистических убеждений. Текучесть исторических интерпретаций противопоставляется неизменности исторического прошлого, и результатом является скептицизм. Статья Беккера об исторических фактах служит впечатляющим примером этой релятивистской ошибки¹⁹.

Теперь наша задача будет состоять в том, чтобы выявить механизм, позволяющий историку давать нарративное представление прошлого. Мы знаем, что прошлому как таковому нельзя приписать нарративную структуру; мы знаем также, что не обладаем набором правил перевода. Это означает, что если мы хотим знать больше об этом механизме, нам придется проводить анализ только на уровне нарративов. Ясно, что имеются определенные правила, управляющие нарративом, пренебречь которыми мы не можем. Если само прошлое, вопреки предположениям, лежащим в основе нарративного реализма, не навязывает нам особых способов, какими оно должно быть представлено в нарративе, а, с другой стороны, очевидно существование правил его нарративного представления, то мы должны сделать вывод, что такие правила могут быть найдены только в ходе исследования природы нашего нарративного знания о прошлом. В этом и состоит позиция, которую я назвал “нарративным идеализмом”. Возможно, “идеализм” чересчур сильное слово. Я, разумеется, не предполагаю, что мы должны попытаться открыть сущность исто-

¹⁹ C.L. Becker, What are Historical Facts, in H. Meyerhoff ed., *The Philosophy of History in Our Time*, New-York, 1959.

рической реальности с помощью априорного изучения нарративистской философии²⁰. Я использую термин “нарративный идеализм”, чтобы подчеркнуть тот факт, что нарратив обладает своей особой автономностью, которая выражается в логической структуре нашего нарративного знания о прошлом и нарративных описаний прошлого. Сходным образом физик обязан представлять результаты своего исследования в логически четком и последовательном виде. Можно сказать, что только в этом трансцендентальном смысле нарративная логика образует структуру нашего знания о прошлом. Однако исторические факты (т.е. то, что выражено с помощью высказываний в нарративе) можно установить только благодаря тщательному и основательному изучению документов и первоисточников.

Тем не менее, я думаю, что в исторической критике, научных дискуссиях, рецензиях и критических заметках практическое применение нарративной логики играет очень значительную, хотя до сих пор и неотмеченную, роль. В научных рецензиях истинность фактов, приводимых в оцениваемых исторических произведениях, очень редко ставится под сомнение. Рецензенты не подвергают проверке то, как историк изучил свои источники. Причина здесь не в том, что рецензенты слишком ленивы или такую задачу слишком трудно выполнить (хотя зачастую дело может быть и в этом), но в том, что рецензенты справедливо доверяют истинности при-

²⁰ Не является термин “нарративный идеализм” и призывом к возрождению (интереса к) спекулятивной философии истории. Значительная часть современной философии истории поражена особой болезнью, которая состоит в том, что, несмотря на неизменную неприязнь историков к спекулятивным системам, многие философы истории в наши дни склонны все больше и больше к ним приспособляться. Причиной этой болезни, вероятно, является неудовлетворенность современной англосаксонской философией истории, поскольку та проявляет интерес исключительно к деталям или элементам историографии (т.е. к проблемам исторического *исследования*). Многие философы истории находятся в поиске теории о более комплексных аспектах исторических описаний прошлого. Спекулятивная философия истории, видимо, представляется наиболее очевидной отправной точкой для создания таких теорий. Однако, по моему мнению, следует избегать *обе* эти крайности, и я думаю, что только нарративистская философия истории позволит нам это сделать.

веденных фактов. Только в некоторых очень редких случаях — возьмем, например, историографию, которая создавалась в нацистской Германии или в России при Сталине, — это отношение является слишком оптимистичным. Когда рецензенты критикуют исторические сочинения, они чаще всего обращают внимание на несообразности в самой работе историка или на несогласованность этой работы с другими хорошо известными историческими описаниями. Другими словами, они указывают на *нарративные* недостатки рассматриваемой работы, несоответствие этого конкретного исторического сочинения нарративным критериям согласованности и ясности. Сходным образом и опытные преподаватели истории без особого труда указывают на ошибки в работах своих студентов, даже если они почти ничего не знают о рассматриваемом в этих работах предмете. Поэтому в заключение мы можем сказать, что согласно нарративному идеализму существует нарративная логика, структурирующая наше знание о прошлом, в то время как согласно нарративному реализму, исключительно “структура самого прошлого” определяет, в конечном счете, структуру нашего нарративного знания о прошлом.

Но, можем спросить мы, как выглядит такая нарративная логика, каким образом она играет свою роль в построении нарративов: как нарративная логика позволяет объяснить такие традиционные проблемы, как субъективность или объективность исторического сочинения или проблема исторического объяснения? В следующих главах я постараюсь ответить на эти вопросы.

Глава V. Нарративные субъекты и нарративные субстанции

Если предыдущая глава была сравнительно легкой прогулкой по философской равнине, то теперь перед нами начинают смутно вырисовываться первые горные хребты нарративной логики. В этой и последующей главах наше путешествие будет долгим и трудным, но, завершив его, мы оставим позади себя ряд важнейших горных перевалов нарративной логики. Мы надеемся избежать мглы непригодных понятий, равно как и ущелий нарративного реализма.

(1) *Нарративные субъекты и нарративные субстанции.* У каждого нарратива есть один или несколько субъектов. Хотя это утверждение в некоторых отношениях может вводить в заблуждение, мы пока согласимся с ним. Если относительно нарратива мы примем точку зрения редукциониста или нарративного реалиста (обе позиции внутренне взаимосвязаны, как мы видели в главе IV), то у нас не будет больших трудностей в определении нарративного субъекта. В несложном случае, например в биографии Наполеона, отдельные высказывания в нарративе, утверждающие нечто о Наполеоне, отсылают к *историческому* Наполеону, человеку из плоти и крови, жившему в период с 1769 по 1821 гг. и ставшему императором Франции. Итак, с точки зрения нарративного реалиста, представляется разумным утверждать, что (нарративный) субъект в этом нарративе образован теми именами собственными (например "Наполеон", "Бонапарт") или теми идентифицирующими дескрипциями, которые обозначают этого *исторического* Наполеона. Однако, с точки зрения нарратива или нарративного идеализма, каждое отдельное высказывание в нарративе следует считать вносящим свой вклад в "образ" или "картину" жизни и времени Наполеона, которые его биограф желает представить своим читателям. Поэтому в этом свете каждое отдельное высказывание о Наполеоне, взятое как целое, в некотором смысле является свойством такого "образа"

Наполеона, а эту "картину" или "образ", следовательно, также можно было бы считать "нарративным субъектом". (Мы видели в главе IV, что термины "образ" или картина (фрагмента) прошлого могут легко вызывать неверные ассоциации, но сейчас у нас нет иного выбора; по сути, основная задача этого раздела будет состоять в том, чтобы обеспечить нас лучшей терминологией). Если мы трактуем письменный текст так, как это делает нарративный реалист, т.е. как конъюнкцию высказываний (о Наполеоне), то мы обнаруживаем только высказывания о прошлой реальности. С этой точки зрения, нарративы выглядят состоящими из высказываний, отсылающих к человеку, жившему в прошлом, или — в небиографическом историческом сочинении — ко всем тем вещам или положениям дел, которые составляют декорации прошлой реальности. Но, с точки зрения нарративного идеалиста, который воспринимает нарратив как связное и значимое целое, все, что утверждается в нарративе, рассматривается как вклад в "образ" или "картину" прошлого, которые историк желает нам представить.

Теперь я хотел бы рассмотреть пример поинтереснее, чем биография Наполеона. Существует два способа употребления таких терминов, как "консерватизм" или "национализм". Во-первых, эти термины могут указывать на действительные политические убеждения, которых придерживались в прошлом или придерживаются в настоящем реальные люди (так употребляет эти термины нарративный реалист). Во-вторых, они могут выражать специальные историографические понятия, которые используются для *организации* нашего знания о прошлом, но которые не отсылают к прошлому и не описывают его (и это отвечает взглядам нарративного идеалиста). В последнем случае содержание указанных политических убеждений берется, так сказать, в кавычки. В этом отношении наши "образы" или "картины" прошлого отличаются даже от "идеальных типов" Вебера: хотя ничего в действительной исторической реальности не может соответствовать "идеальным типам", взятым в их целостности, каждая отдельная их часть соответствует чему-то в прошлом. "Идеальные типы" суть собрания описаний (фрагментов) действительного прошлого. Но даже части "образов" или "картин" прошлого не отсылают к прошлому и не описывают его, поскольку являются

всего лишь инструментами для организации и оформления нашего знания о прошлом. Наконец, "идеальные типы" обозначают совокупность социокультурных особенностей, которые являются общими для конкретного спектра исторических явлений, в то время как "образы" или "картины" прошлого стремятся связать то, что не проявляет никаких видимых сходств. "Идеальные типы" являются формалистическими и аналитическими, "образы" и "картины" прошлого — холистическими и синтетическими.

Но вернемся к нашему примеру. Тот факт, что не только философы истории, но иногда и профессиональные историки смешивают эти два способа употребления таких терминов, как "консерватизм", доказывает настоятельную необходимость этого различения¹. В самом деле, теоретизированию в историографии и социальных науках во многом вредит склонность смешивать, например, (отдельные) политические убеждения и историографические или нарративистские понятия, которые используются для их представления. Тот факт, что в обоих контекстах используется одно и то же имя, объясняет распространенность этого смешения.

Более того, я должен подчеркнуть огромное значение этих "образов" или "картин" прошлого для нарративной историографии. Не будет преувеличением сказать, что целью почти всех исторических работ, за исключением лишь некоторых исторических "исследований" (ср. глава I, раздел 1), является создание таких "образов" или "картин". В связи с этим я хотел бы сослаться на проницательную лекцию медиевиста Саузерна, в которой он описывает, как, будучи еще мальчиком, сумел овладеть неподатливым историческим материалом. "Это было в октябре 1927 года; мне было пятнадцать лет. Как и тысячи других мальчиков каждый год, меня

¹ Например, приводит в большее замешательство тот тип истории идей, в котором исследователи, стремясь представить описание исторического явления *P*, ограничиваются перечислением всего, что известно под именем *P*, вместо того, чтобы истолковать это историческое явление. Хорошим примером такого рода историографии является (хотя и весьма информативная) работа: P. Viereck, *Conservatism*, New York, 1956. Ряд авторов, которым случилось иметь репутацию консерваторов, обсуждаются автором без всякой попытки показать, что нужно понимать под "консерватизмом".

ожидала тоскливая перспектива писать сочинение о короле Генрихе VII. Масса невыносимо скучных и разрозненных фактов приводила меня в оцепенение. Потом вдруг из ниоткуда сами сложились драгоценные слова. Я почти увидел их. Вот они: Генрих VII был первым королем Англии, который занялся предпринимательством. Конечно, это неверно; или верно в каком-то особом смысле. Но никакими словами нельзя выразить вызванное ими озарение². Так юный Саузерн обрел "образ", "картину" или, как часто говорят, "тезис" о прошлом, который позволил ему наделить смыслом неподатливый фрагмент прошлого. Я уверен, что у многих историков был похожий опыт. Любопытно, кто пробовал писать историю, пусть даже в виде школьного сочинения или статьи, должен признать, что без таких "образов" или "картин" нарративное историописание практически невозможно; они являются руководящим принципом в построении нарратива, а также его содержанием или когнитивным ядром. Без них нарратив распадается на множество разрозненных предложений. Конечно, не только историки используют или создают подобные "образы" или "картины". Наиболее эффективно они использовались в социологии, психологии, а также в политической теории. Приведу один пример. В пятнадцатом и шестнадцатом столетиях политический строй в Европе переживал глубокие перемены, вызывавшие у многих людей чувство дезориентации. В результате стала ощущаться необходимость нового концептуального инструментария, который вновь сделал бы понятной политическую реальность. В конце концов, им оказалось понятие национального суверенного "государства", а предложенное Боденом истолкование этого понятия вскоре зарекомендовало себя как наиболее продуктивное. Развитие этого понятия в политической теории семнадцатого и восемнадцатого столетий, т.е. создание нового "образа" или "картины" социальной реальности, что, в конечном счете, должно было привести к утверждению либерального парламентского правления, стало возможным только после появления понятия национального суверенного "государства".

Иногда такие "образы" или "картины" прошлого даже получают свои собственные имена. Например, термины "Ренес-

² Southern; p. 771.

санс", "Просвещение", "европейский капитализм начала Нового времени" или "упадок Церкви", в действительности, являются именами "образов" или "картин" прошлого, предложенных историками, которые стремились вплотную подойти к прошлому: коннотации, связанные с этими терминами, всегда выражают конкретные историографические интерпретации прошлого. (Спешу добавить, что было бы точнее говорить о "Ренессансах", "Просвещениях", "европейских капитализмах начала Нового времени" и т.д., поскольку их столько же, сколько и историографических повествований по этим предметам). Это не означает, конечно, что эти "образы" или "картины" прошлого не предполагаются, когда данные общепризнанные термины не употребляются.

Особый характер таких понятий, как "Ренессанс", "Просвещение", "европейский капитализм начала Нового времени" или "упадок Церкви" уже признан в современной философии истории, особенно в работах В.Х. Уолша. Уолш окрестил понятия этого вида "связывающими понятиями" (*colligatory concepts*) — данный термин был введен логиком Узвеллом в XIX веке. Согласно Уолшу эти "связывающие понятия" позволяют историку подвести широкий спектр различных явлений под общий знаменатель. Он сравнивает их с *"das konkrete Universelle"* Гегеля: в обоих случаях мы имеем дело с понятиями, которые позволяют выделить единство (само понятие) в многообразии (различные явления, "связываемые" этим понятием)¹. Так, "связывающее понятие" "Ренессанс" обозначает такие несопоставимые явления, как определенный стиль в живописи, скульптуре или в ведении войны, определенное философское учение о судьбе человека в этом мире, определенное представление о политике и о том, что должен знать образованный человек. Все эти различные аспекты европейского общества с 1450 по 1600 гг. понятие "Ренессанс" позволяет связать в одну последовательную и всеобъемлющую интерпретацию культуры данного периода. По словам Сибики, применяя связывающие понятия "к [историческим. — Ф.А.] фактам, сознание добавляет нечто невоспринимаемое [! —

¹ Конкретное всеобщее (нем.). — Прим. перев.

² Walsh (3); pp. 59—63.

Ф.А.], — ограниченное число базовых идей или понятий"⁴, и задача этих понятий состоит, скорее, в том, чтобы "разъяснить факты", чем "соответствовать фактам"⁵. Поэтому представляется, что термин Уолша "связывающее понятие" лучше всего подходит в качестве замены для термина "образ" или "картина" прошлого. Оба термина выражают "тезисы" об историческом прошлом или его "интерпретации", которые 1) служат историку руководством при построении нарратива и 2) выражают содержание или когнитивное ядро исторических нарративов. По сути, настоящую книгу можно рассматривать как попытку детально разработать идею "связывающего понятия" Уолша.

Однако я сделал другой выбор, предпочтя термин "нарративная субстанция" (сокращенно "Ns", во множественном числе — "Nss"). Поскольку этот термин может показаться странным и устаревшим, я объясню, почему я предлагаю его. Во-первых, использование термина "связывающее понятие" несколько неудобно. Этот термин предполагает, что должны быть связаны определенные явления или аспекты самого прошлого, т.е. связывающие понятия ("Ренессанс" и т.д.) должны обозначать историческую реальность. Моя же точка зрения состоит в том, что такие понятия обозначают не явления или аспекты прошлого (в главе VI этот нетрадиционный тезис будет изложен подробнее), но исключительно нарративные интерпретации прошлого. Термин "нарративная субстанция" в значительно меньшей степени предполагает референцию к исторической реальности и поэтому является более предпочтительным. Это подводит нас к более основательному анализу. Не следует забывать, что "образы" и "картины" или нарративные субстанции, как мы будем их теперь называть, суть вещи, а не понятия. Нарративные субстанции представляют собой совокупности высказываний и обладают вместе с такими вещами, как собаки или столы, свойством быть тем, о чем идет речь в высказываниях, не являясь при этом частью самих этих высказываний (только имя некоторой Ns, например "Ренессанс Ганса Барона", может быть частью высказывания о Ns). Подобным образом мы можем го-

⁴ Sebik (1); p. 41.

⁵ Walsh (2); p. 79.

ворить об этом конкретном столе, но рассматриваемый стол никогда не мог бы быть частью высказывания о нем. Поэтому об этих историографических нарративных субстанциях мы можем утверждать то же, что Аристотель писал о сущностях: "сущность, называемая так в самом основном, первичном и безусловном смысле, — это та, которая не говорится ни о каком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная лошадь"⁶. Как станет ясно по ходу данного исследования, легче всего адаптировать к отстаиваемой здесь нарративистской философии используемое Лейбницем понятие субстанции или монады⁷, вот поэтому я и предложил термин "нарративная субстанция". *Nss* являются первичными логическими сущностями в историографических описаниях прошлого. Они "просты", как лейбницевские монады; содержащиеся в них высказывания, являются не их составными частями, но их свойствами. Сказать, что высказывания являются частями *Ns*, значит совершить категориальную ошибку, поддавшись влиянию нарративного реалиста, согласно которому *Nss* являются просто конъюнкциями высказываний. Тем не менее, я полностью согласен с Уолшем в том, что касается разработанной им идеей "связывающего понятия".

Давайте подытожим и переформулируем наши вводные замечания. Второй основополагающий тезис данной книги состоит в том, что в нарративе высказывания выполняют не единственную, но двойную функцию: 1) как высказывания они отсылают к прошлому (вещам или аспектам прошлого) (согласно нарративно-реалистической трактовке наррации), 2) (в дополнение к первой функции) как компоненты нарратива они являются свойствами "образа" или "картины" прошлого, т.е. свойствами "нарративной субстанции" (в соответствии с нарративно-идеалистической трактовкой нарратива). Иногда с этими "образами", "картинами" или "нарративными субстанциями" связаны специальные имена, но чаще всего дело обстоит иначе (в дальнейшем я буду редко, если вообще буду, употреблять термины "картина" или "образ" прошлого,

⁶ Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2. С. 55.

⁷ Теоремы № 1—9, 11, 12, 18, 38, 47, 51, 57, 58, 61 его "Монадологии" можно перенести в нарративную логику. См. Leibniz (2); pp. 643 ff.

чтобы не поддаться соблазнам нарративного реализма). Помимо *Nss* мы обнаруживаем также "нарративные субъекты", с которыми мы имеем дело, когда по совету нарративных реалистов рассматриваем нарратив как простую конъюнкцию высказываний, т.е. субъект(ы) высказываний нарратива. Нарративные субъекты, таким образом, являются субъектами, известными из традиционных теорий о природе суждений.

Рассмотренное в этом свете, различие между нарративным реализмом и нарративным идеализмом можно переформулировать следующим образом: согласно нарративному реализму у нарратива есть только нарративные субъекты, в то время как нарративный идеализм различает два рода субъектов в наррации (нарративные субъекты и *Nss*). Стало быть, спор между нарративным реализмом и нарративным идеализмом касается наличия *Nss* в нарративе. Переформулированный в терминах философской логики нарративный идеализм утверждает наличие в нарративе, во-первых, обычных субъектов и предикатов, содержащихся в простых высказываниях о положениях дел в прошлом, а также субъектов и предикатов в высказываниях типа " N_1 содержит p " (= " N_1 есть P ") или " N_1 содержит q " (= " N_1 есть Q "), которые выражают нарративное значение высказываний в нарративе. Нарративное значение " p " всегда выражается с помощью высказываний о *Nss* типа " N_1 содержит p " или " N_1 есть P ". В этих последних высказываниях " N_1 " является именем собственным и обозначает *Ns*; " p " и " q " являются высказываниями, описывающими положения дел в прошлом, " P " и " Q " обозначают свойство содержать p или q . Следует проводить различие между " P " или " Q ", с одной стороны, и " p " или " q ", с другой, так как то, что содержится в некоторой вещи, не является свойством этой вещи. "Содержать p или q " является свойством N_1 , а "быть P или Q " является атрибутом N_1 . Однако, поскольку различие между свойствами и атрибутами *Nss* не существенно для моей аргументации, я во избежание излишнего занудства буду писать в дальнейшем " N_1 есть p " вместо " N_1 содержит p " или " N_1 есть P ".

Ни в философии истории, ни в философии языка никто никогда серьезно не отстаивал ту идею, что высказывания в нарративе выполняют двойную функцию (их первая функ-

ция состоит в том, чтобы утверждать “*p*”, где “*p*” является высказыванием об историческом положении дел, а их вторая функция — утверждать, что “*N₁ есть p*”, где “*N₁*” есть имя *Ns*, предложенной в нарративе, который в числе других высказываний содержит *p*). Это игнорирование нарративно-идеалистического значения высказываний в нарративе, возможно, обусловлено убедительностью и априорным правдоподобием нарративно-реалистической или редукционистской точки зрения. Согласно этой точке зрения язык является зеркалом реальности: поэтому разве могут существовать какие-то еще виды субъектов, помимо тех, которыми обозначаются вещи в (исторической) реальности? Другой возможной причиной является то случайное обстоятельство, что историки всегда используют одни и те же слова для своих нарративных субъектов и для своих *Nss*, например “Наполеон” или “консерватизм”. Ситуация была бы другой, если бы историки имели привычку писать “Наполеон”, когда они подразумевают историческую личность, носящую это имя, и “мой Наполеон” или “Наполеон историка *H*”, когда они обсуждают *Nss*. Тот факт, что и то, и другое обычно происходит одновременно (только высказывая что-то об историческом Наполеоне или о политических убеждениях людей, историк может создать *Ns* по этим темам), несомненно, мешал осознать логическую необходимость различения двух функций высказываний в обычном историографическом дискурсе. Это различие, проведенное в соответствии с нарративным идеализмом, заставляет нас постулировать третью логическую сущность, т.е. в дополнение к двум традиционным логическим сущностям (субъекту и предикату), известным из пропозициональной логики, следует признать третью (нарративную субстанцию).

Чем же тогда является нарратив, если мы все это примем во внимание? Нарратив является сложной структурой, состоящей из разных частей. Каждый нарратив имеет составную часть, посвященную “историческому исследованию” (ср. гл. II, раздел (1)); кроме того, какое-то место обычно отводится дискуссии с другими историками. Часто историком движут и другие заботы: он может использовать прошлое в надежде дать совет относительно действий в настоящем или, что происходит удивительно часто, он может высказать свое суждение относительно метода, который должен применять иссле-

дователь, изучающий данную тему. В его повествование могут включаться чисто научные или теоретические рассуждения — он может объяснить, почему научная теория, используемая в его историческом исследовании, лучше подходит к изучаемому предмету, чем любая другая. И, конечно, каждый нарратив будет содержать большое количество довольно своеобразных высказываний, как, например “Англия стала сдавать позиции в период после второй мировой войны” или “либеральный консерватизм был лучшим ответом на угрозу тоталитаризма в первой половине XX века”. Правильный анализ этих высказываний будет и может быть дан только в главе VI, раздел (3). Но помимо этих и других, неупомянутых здесь элементов, нарратив содержит главным образом высказывания, которые а) могут отсылать — как высказывания — к прошлой реальности и б) при нарративном истолковании используются историками для передачи своей собственной точки зрения относительно прошлого. От характера историографии, которой мы занимаемся, зависит, какой из компонентов, а) или б), выступает на передний план. Компонент а) будет более выражен в историческом исследовании о ценах на зерно в годы, предшествующие Великой французской революции, нежели в нарративе, рассказывающем, как в этот же период идея человека как представителя всего рода человеческого постепенно уступила место убеждению, что человек сам по себе есть универсум.

Иногда бывает трудно точно установить, какая *Ns*, т.е. какое истолкование прошлого воплощено в компоненте б): может оказаться невозможным четко указать только те элементы нарратива, которые составляют предлагаемую в нем *Ns*. Во-первых, даже в высказываниях, используемых для образования достаточно хорошо известной *Ns* (такой, как “Ренессанс” или “Просвещение”), почти не упоминается явным образом имя собственное этой *Ns*. Когда Скиннер излагает свою *Ns* относительно политической мысли Ренессанса, он редко использует такие высказывания, как “политическая мысль Ренессанса была такой-то и такой-то”; о чем он действительно пишет, так это, например, о “риторической защите

свободы”, “понятии *virtus*” или “гуманизме” и “государственном интересе”. Хотя термин “политическая мысль Ренессанса” и нечасто упоминается в высказываниях по этим темам, однако, можно сказать, что Скиннер создал *Ns* о политической мысли Ренессанса¹. Таким образом, *Nss* нельзя определить, просто собрав те высказывания, в которых появляются их имена.

Во-вторых, *Nss* неуловимы и неотчетливы по своему характеру. Бывает трудно достичь общего согласия относительно того, какую именно *Ns* предлагает историк в своем нарративе. Если имеется множество нарративов или существует долгая историографическая традиция изучения определенной темы, то можно относительно легко установить, что представляют собой *Nss* в этих нарративах. Но если по определенной теме имеется только один нарратив, то определить его *Ns* бывает так трудно, что у нас может возникнуть желание прибегнуть к нарративному реализму, истолковав нарратив как “проекцию” или нарративную копию предмета, о котором в нем идет речь. Только тогда когда мы можем сравнить нарратив с другими нарративами, начинают проявляться характерные черты предложенных в них *Nss* (ср. с. 336 и далее). В этом отношении выявление *Ns* подобно заучиванию нового слова: чтобы понять значение слова “автомобиль”, нужно, чтобы нам показали сходства и различия между автомобилями и другими средствами передвижения. Следовательно, нарративный идеализм и понятие “нарративная субстанция” становятся значительно больше похожими на правду, когда мы можем сравнивать историографические темы, которые изучаются и обсуждаются поколениями историков.

Хотя порой бывает трудно определить точный характер конкретных *Nss*, это не является доводом против моего пред-

ложения постулировать их существование в нарративе. Возможно, будет полезна следующая аналогия: если мы не знаем точного расстояния между солнцем и галактикой Андромеды, то это не вызвано нечеткостью понятия “расстояние”. Похожая ситуация имеет место и здесь. Отнюдь не всегда можно легко определить логические составляющие языкового выражения (такие, как “субъект”, “предикат” или “нарративная субстанция”). Наша склонность использовать грамматический подход к языку даже тогда, когда мы занимаемся философской логикой, может приводить к ошибкам: именно это “грамматическое заблуждение” заставляет нас вести поиск устойчивых (наборов) слов или (частей) высказываний, которые соответствуют различию между логическими сущностями. Следовательно, установить точный характер предложенной в нарративе *Ns* — это задача историка, а не философа истории. Философ может критиковать понятие “расстояние”, но от него не ждут выполнения работы астронома.

Теперь я собираюсь сделать следующее. Я рассмотрю ряд возражений против моего предложения постулировать “нарративные субстанции”. Начиная с Фреге и Рассела многие философы подробно исследовали многочисленные сложные проблемы, связанные с понятием (нарративного) субъекта. Насколько я понимаю, спор по этим проблемам мало касается или вовсе не касается вопроса о *Nss*, который нас здесь интересует: поэтому я не буду останавливаться на этих проблемах в своем рассмотрении.

(2) *Первое возражение.* Высмеивая аристотелевскую медицинскую науку в “Мнимом больном”, Мольер заставляет соискателя ученой медицинской степени произносить:

“Почтенный доктор инквит: кваре
Опиум фецит засыпаре?
Респондэс на кое:
Хабет свойство такое
Виртус снотворус,
Которус
Поте силу храпира
Натуру усыпира”.

¹ Добродетель-доблесть (*лат.*) — одно из центральных понятий итальянского гуманизма эпохи Возрождения. — *Прим. перев.*

² Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge 1978. Одной из центральных идей этой книги является нетрадиционный тезис о том, что современная концепция государства первоначально была разработана антимонархически настроенными кальвинистскими теоретиками XVI столетия. Обычно этой чести удостоивают противников этой традиции.

³ Мольер. Пьесы. М.: Московский рабочий, 1979. С. 230.

Кто-то мог бы сказать, что я, по сути, действовал в том же духе. Я спросил, благодаря чему нарративы являются тем, чем они являются, и ответил, предъявив понятие “нарративные субстанции”. Но до тех пор, пока не приведено независимое свидетельство в пользу существования этих *Nss*, это остается подозрительным и содержащим порочный круг объяснением *obscurum per obscurius*. Если опиум вызывает сонливость, то мы должны изучить его и выявить, как он воздействует на организм человека. Аналогичным образом, кто-то мог бы возразить, нас интересуют не *Nss* сами по себе, но лишь действующий в нарративе механизм, благодаря которому они и могут играть такую важную роль.

В оставшейся части книги я постараюсь доказать, что *Nss* действительно играют важнейшую роль в нарративной историографии, так что у меня нет намерения строить свои доводы на простом постулировании некой “*virtus narrativa*” для объяснения нарративной историографии. Но в основании этого первого возражения лежит предположение, которое требует более внимательного рассмотрения. Это предположение состоит в том, что, помимо самого нарратива и *Nss*, предложенных в нем, должно существовать нечто *третье*, некий *третий* уровень, который и выполняет всю работу. Сходным образом и действие определенных входящих в опиум алкалоидов на дыхательный центр в *medulla oblongata*” ответственно почти за все вызываемые опиумом явления. Важно подчеркнуть, что подобное предположение ошибочно. Назначение *Nss* в нарративе состоит не в том, чтобы перенести читателя на более глубокий языковой уровень, где осуществляется настоящая “нарративная” работа. Предложенная в нарративе *Ns* не является руководством или указанием, как читать нарратив (с тем, чтобы достичь этого предельного уровня). Так же и картины не являются сложным приспособлением, изобретенным художником для того, чтобы мы смогли восстановить эстетические идеи, которые он имел в виду (и которые образуют сущность картины), но, скорее, картины суть воплощение самих этих идей. Здесь мне хотелось бы на-

* Неясного посредством еще более неясного (лат.). — Прим. перев.

** Способности повествования (лат.). — Прим. перев.

*** Продолговатый мозг (лат.). — Прим. перев.

помнить читателю то, что было сказано в главе I о психологизме. Знание того, какая *Ns* предложена в нарративе, равносильно пониманию нарратива как нарратива, а не является предварительным этапом для его понимания.

Следовательно, мое объяснение назначения *Nss* в нарративах не должно быть истолковано как попытка определить более глубокий уровень, предполагаемый в рассматриваемом возражении. Я не собираюсь выявлять скрытые и основополагающие аргументы, которые служат опорой для всех нарративных описаний прошлого. Когда философ науки приводит свои доводы в поддержку той точки зрения, что некоторые научные теории или объяснения должны быть признаны всеми рациональными людьми, эти доводы не входят или необязательно входят в аргументацию, используемую учеными для обоснования этих научных теорий или объяснений. Сходным образом и доводы, приводимые здесь в пользу того, что *Nss* выполняют необходимую функцию, не являются обобщением особого рода аргументов, скрыто присутствующих в действительных нарративах.

(3) Второе возражение. Кто-то мог бы заметить, что проводить различие между “нарративными субстанциями” и “нарративными субъектами” — в целях обоснования понятия “нарративная субстанция” — значит драматизировать нечто совершенно банальное и заурядное. Это можно было бы аргументировать следующим образом. Возьмем физический объект *O*, обладающий свойствами, обозначенными с помощью атрибутов “*a*₁”, “*a*₂”, ... “*a*_{*n*}”. Мы можем представить себе два множества высказываний *S*₁ и *S*₂; в *S*₁ *O* преддицируются атрибуты “*a*₁”, ... “*a*”, а в *S*₂ *O* преддицируются атрибуты “*a*₂”, ... “*a*_{*n*}”. Таким образом — гласит этот контраргумент — нам позволено говорить о “нарративной субстанции” как воплощенной в *S*₁, и о “нарративной субстанции” как воплощенной в *S*₂, но, говоря это, мы лишь окольным путем высказываем ту мысль, что одно множество высказываний отличается от другого. Содержимое обоих множеств и их различия можно разъяснить, говоря исключительно о высказываниях. Поэтому нет основания наделять эти множества высказываний (“нарративные субстанции”) каким-то еще статусом помимо статуса отдельных высказываний. Все, что можно сказать с помощью *Nss*, можно также сказать с помощью отдельных

высказываний. Стало быть, требовать для этих множеств высказываний или "нарративных субстанций" собственного логического статуса значит умножать логические сущности "praeter necessitatem". Пусть имеются две биографии Наполеона, содержащие различные высказывания о его жизни (предположительно истинные). Нам следует выражать различие (или различия) между этими двумя биографиями в терминах высказываний, а не как различие (различия) в "нарративных субстанциях", по крайней мере, если такие "нарративные субстанции" считаются чем-то большим, а не простыми конъюнкциями высказываний.

Конечно, мы можем рассматривать нарратив как простую конъюнкцию высказываний. Это нарративно-реалистическая или редукционистская точка зрения; но мы можем с равным основанием предпочесть и нарративно-идеалистическую точку зрения. Конечно, можно указать, что понятие "нарративная субстанция" противоречит предпосылкам нарративного реализма, но для доказательства избыточности этого понятия обращение к этим предпосылкам неизбежно. Это можно объяснить следующим образом. Нарративный идеалист может утверждать, что различия в высказываниях являются только признаками (хотя и очень надежными) еще одного различия (т.е. различия в "нарративных субстанциях"). В том же самом смысле мы говорим, что определенные ясно различимые признаки являются свидетельством того, что *A* болен скарлатиной, в то время как *B* здоров; но это не позволяет нам сделать вывод, что различия между *A* и *B* в отношении их здоровья затрагивают только внешние признаки. Поэтому если две *Nss* бесспорно различаются своими высказываниями, отсюда не следует, что различие между ними состоит исключительно в том, что они содержат разные высказывания. Но, конечно, этот небольшой аргумент не доказывает, что нарративный идеалист справедливо поддерживает понятие *Ns*, поскольку, как и нарративный реалист, он основывает свои доводы на своих собственных предпосылках. Так что эта перепалка ничего не решила: она была только прелюдией к битве используемых здесь предпосылок. К счастью, мы уже провели эту битву в главе IV и, как мы видели, narra-

* Сверх необходимости (лат.). — Прим. перев.

тивный идеализм одержал победу. Итак, принимая истинность нарративного идеализма, мы получаем следующую картину. Согласно нарративному идеализму существуют определенные правила (они будут сформулированы в главах с VI по VIII), которым подчиняется нарратив. Таким образом, если по какой-то теме у нас есть два нарратива, то мы имеем не только два разных множества высказываний, но и различия в способе применения правил нарративной логики. В принципе, возможно, что различия последнего вида имеются место даже тогда, когда различия первого вида (в высказываниях) еще не выявились.

Есть и другой, немного более привычный, довод против редукционистского возражения. Как только мы примем, что различия между нарративами касаются лишь множеств отдельных высказываний (а последние не рассматриваются как простые признаки первых различий), то становится невозможно понять предмет споров между историками. Если историк H_1 использует высказывания $S_1 \dots S_n$, чтобы охарактеризовать определенный аспект *A* прошлого, а историк H_2 использует высказывания $S_g \dots S_p$ с той же целью, и при этом все перечисленные высказывания истинны, то редукционист, вероятно, склонен будет думать, что, на самом деле, между двумя историками нет никакого разногласия¹⁰. Когда *X* утверждает, что данный стол сделан из дерева, а *Y* говорит, что у этого стола четыре ножки, здесь нет никакого разногласия. Но, судя по всему, у историков действительно есть разногласия в таких случаях; они, очевидно, стремятся показать, что $S_1 \dots S_n$ сообщают больше знаний об *A*, чем $S_g \dots S_p$, и наоборот. Но это вовлекает нас в спор об относительных достоинствах каждого законченного множества высказываний, а такой спор, видимо, нельзя разрешить простым указанием действительных различий в строении двух нарративов ("у H_1 нарратив содержит S_d ", а у " H_2 содержит S_e "). Для редукциониста единственные различия, существующие между нарративами, — это различия между высказываниями, которые были использованными для характеристики прошлого. Но данные различия являются лишь признаками раз-

¹⁰ См., например, A.I. Melden, Objectivity, a "Noble Dream"?, in R.H. Nash. *Ideas of History*, New York 1969; pp. 197–8.

личий в исторической оценке, но не самими этими различиями. Ибо если бы они таковыми были, то какова была бы цель дискуссии? Что может быть неправильного в написании истинных высказываний (предположим, что они истинные)? Поэтому, если бы нам пришлось удовлетвориться точкой зрения редуccionиста, то, устранив понятие *Ns*, мы в то же самое время устранили бы необходимое логическое средство для понимания смысла и цели историографической дискуссии. Если мы считаем, что дискуссии между историками суть настоящие дискуссии, а не просто бессмысленные потешные бои за произвольные выборки истинных высказываний о прошлом, мы нуждаемся в понятии *Ns*.

Хотя философской логике следует быть строгой в использовании аргументов, она должна требовать гибкости и прагматичности в осмыслении философских проблем: было бы недальновидно умалять или даже не замечать философские проблемы из-за того, что они угрожают общепринятым убеждениям. Безоговорочная приверженность традиционному анализу с его устойчивой тенденцией рассматривать язык исключительно с точки зрения высказываний является неуместной строгостью. Если действительное словоупотребление создает совершенно иную картину языка — как это, возможно, выявляется при философском изучении истории и историографических дискуссий, — мы не должны просто отказаться принять то, что оно недвусмысленно подразумевает, а именно необходимость постулирования новой логической сущности, которая позволит нам обсуждать философские проблемы, вызванные нарративным употреблением языка. Но, несомненно, логические понятия, принятия которых требует нарративное употребление языка, следует критически и бескомпромиссно проанализировать.

(4) *Третье возражение.* Допустим, что множества высказываний действительно могут образовывать “нарративные субстанции” и эти “нарративные субстанции” указываются с помощью таких терминов, как “Ренессанс”, “холодная война”, “возникновение современного капитализма” и т.п. Более того, согласимся с тем, что историки часто используют подобные термины, и даже признаем, что в историографическом дискурсе должны быть выявлены языковые сущности, на которые указывают эти термины. Однако, мог бы продолжить критик, нет существенной разницы между этими “нарратив-

ными субстанциями” и теоретическими понятиями, известными нам из точных наук. Задачей и того и другого вида понятий является упорядочение нашего опыта: теоретические понятия упорядочивают наше восприятие физической реальности, в то время как “нарративные субстанции” делают нечто похожее в отношении исторической реальности, по крайней мере, той, что доступна нам по документальным источникам. Давайте, например, рассмотрим термин “Ренессанс”; нам следует считать этот термин чем-то вроде значка для общепризнанно таинственной и неуловимой совокупности вещей в прошлом. Подобным же образом и теоретические понятия устанавливают определенное отношение между свойствами вещей в физической реальности (например, импульс есть произведение массы на скорость). Итак, включает наш воображаемый критик, “нарративные субстанции” и теоретические понятия — это, по сути, одно и то же. И хотя я убежден, что всякий философ истории или науки сходу отвергнет отождествление “нарративных субстанций” с теоретическими понятиями, ради ясности можно перечислить их различия.

Очень странно заявлять о том, что собрания высказываний (т.е. нарративные субстанции) должны иметь нечто общее с теоретическими понятиями: большинство последних (такие, например, как “угловой момент” или “сопротивление”) определяются как произведение или частное от деления других теоретических понятий. Очевидно, что нарративные субстанции никогда нельзя определять таким образом. Кроме того, нарративные субстанции всегда соотносятся с совершенно конкретными историческими ситуациями: только один период в истории мы связываем с термином “Ренессанс” или “Просвещение”. С другой стороны, теоретическая и практическая ценность теоретических понятий заключается в их применимости к неограниченному числу исторических ситуаций. Иначе говоря, что осуществилось или осуществиться в нашем действительном мире, для теоретических понятий, по-видимому, безразлично в том плане, в каком оно безразлично для нарративных субстанций. В физике история — это не более как значение одной или нескольких переменных в формуле, и, как таковая, она вообще не влияет на структуру формулы и на значение теоретических понятий, опреде-

ляемых этой формулой. С другой стороны, каким могло бы быть значение термина "Ренессанс", если бы не существовало действительного прошлого, подобного тому, какое мы обычно связываем с этим термином? Наконец, в предыдущем разделе мы выяснили, что *Nss* суть вещи, а не понятия.

Возникает и другая проблема при уподоблении нарративных субстанций теоретическим понятиям. Нагель различает три элемента в научных теориях: (1) абстрактное исчисление, (2) набор правил соответствия, которые определяют отношение между теорией и эмпирическими наблюдениями, и (3) интерпретацию или модель исчисления (которая в некоторых научных теориях может отсутствовать)¹¹. Тот факт, что почти невозможно указать эквивалентов этих трех элементов в нарративе, серьезно подрывает попытку уподоблять нарративные субстанции теоретическим понятиям. Но допустим, что нарратив как целое подобен исчислению, а содержащиеся в нем нарративные субстанции (нарратив, конечно же, может содержать не только одну нарративную субстанцию), подобны теоретическим понятиям. Затем мы могли бы сказать, что значения высказываний в нарративе являются вполне подходящим аналогом для правил соответствия. Однако я не знаю, какой нарративный аналог можно было бы найти для третьего элемента Нагеля. Теоретические термины всегда явно или неявно определяются в абстрактном исчислении (например " $F = ma$ "). Но было бы бессмысленно говорить, что нарративные субстанции должны определять друг друга в нарративе. Было бы нелепо утверждать, что в истории политической мысли XVIII века нарративная субстанция, связанная с Монтескье, должна быть определена с помощью совокупности нарративных субстанций, связанных с Локком, Юмом или Руссо и может быть ими заменена, и наоборот.

Теперь мы рассмотрим третий и последний аргумент против той точки зрения, что нарративные субстанции и теоретические понятия должны быть, по своей сути, одним и тем же. Мне хотелось бы предложить, на мой взгляд, очень полезное сравнение. Нарративные субстанции можно сопоставить с линзами бинокля. Такие линзы шлифуются с величайшей точностью, чтобы давать нам как можно более ясный

¹¹ Nagel; гл. 5, раздел (II).

и не искаженный преломлением вид ландшафта. Точно так же и историки постоянно предлагают новые *Nss* по конкретным темам с тем, чтобы добиться как можно более ясного и согласованного описания прошлого. Это позволяет понять нечто важное в природе *Nss*. Образ или изображение ландшафта, который мы видим через бинокль, является либо смутным, либо ясным; однако в обоих случаях изображение возникает согласно соответствующим законам оптики. Эти оптические законы являются, так сказать, "правилами проекции" или "правилами перевода" (как они разъяснены в главе IV), которые определяют проецирование исходного ландшафта в изображение, (в большинстве случаев) находящееся на определенном расстоянии от глаз. Если мы получаем неясное изображение, мы не виним в этом законы оптики. Не делаем мы и вывода о том, что сам ландшафт является либо ясным, либо неясным. Эта ситуация имеет примечательную аналогию в нарративе. Подобно ландшафту, прошлое открывает себя историку без утаивания самых незначительных деталей (разумеется, насколько это позволяют документы); тем не менее, само прошлое не является ни ясным, ни неясным в том смысле, в каком это можно сказать относительно нарративов о прошлом. Очевидно, наше сопоставление заставляет нас повторить здесь тезис нарративного идеализма, согласно которому само прошлое не обладает нарративной формой или структурой. Только картины реальности, а не сама реальность, могут быть ясными или неясными. Поэтому если бинокль дает размытое изображение ландшафта, никакой оптический закон не был нарушен.

Эта аналогия проливает свет на природу (нарративной) историографии. В предыдущей главе мы выяснили, что многие варианты (спекулятивной) философии истории предполагают существование правил перевода или правил проекции, позволяющих историку переводить прошлое в его языковую, историографическую репрезентацию. Мы видели, что социально-научные теории являются наиболее вероятными кандидатами на роль предоставления этих правил перевода. Если историки описывают прошлое исключительно в таких понятиях, как "национальный продукт" или "средний доход", (что, видимо, имеет место в современной экономической, так называемой "клиометрической", историографии), то можно

сказать, что историческая реальность проецируется на языковой уровень согласно правилам перевода, предоставляемым соответствующими социально-научными теориями. Поборники этих видов историографии утверждают, что только применение социально-научных теорий может гарантировать "объективное", "безоценочное", "неискаженное" изображение прошлого¹². В главе IV мы видели, что такого рода аргументация опирается на нарративно-реалистические допущения. Более того, если принять точку зрения Куайна по поводу онтологических обязательств, то можно заключить, что все (теоретические) понятия, используемые в социально-научных репрезентациях прошлого, обозначают "вещи" в исторической реальности¹³.

Но даже если социально-научные теории претворили в жизни, по терминологии Тулмина, свой "идеал объяснения" и стали совершенно надежным инструментом в репрезентации социальной и исторической реальности, они все же не могут быть *единственным* инструментом для создания ясной картины прошлого, ибо наука — это только одна составная (и отнюдь необязательная) часть нарратива. В этом же смысле возникновение изображения ландшафта на линзах бинокля в согласии с соответствующими законами оптики не является достаточным условием для того, чтобы это изображение было ясным. Чтобы проанализировать понятие нарративной ясности, мы должны принять во внимание предлагаемые в нарративе *Nss*: способность бинокулярных линз давать ясное изображение ландшафта аналогична способности *Nss* создавать ясную репрезентацию прошлого. Соответствие оптическим законам или социально-научным правилам перевода автоматически не обеспечивает ясности ни в случае бинокля, ни в случае нарратива. Здесь можно было бы возразить, что знание законов оптики необходимо для создания хорошего бинокля: подобным образом и ясности в нарративе можно

¹² Такие заявления часто делали в 1950—1960-е годы. См., например, L. Benson, *Towards the Scientific Study of History*, Philadelphia, 1972. В Голландии бескомпромиссный призыв превратить историю в социальную науку прозвучал в: K. Bertels, *Geschiedenis tussen structuur en evenement*, Amsterdam, 1973. Увлечение социальными науками, кажется, немного поутихло в последние годы.

¹³ См. главу I, раздел (4).

достичь только на основе достаточного количества социально-научных знаний. В ответ я скажу, что никакой объем одного только знания оптики не может быть достаточным, чтобы знать, как сделать хороший бинокль, ибо нам также должно быть известно, как человеческий глаз синтезирует образ из поступающих к нему сигналов. Критерии ясности зависят прежде всего от особенностей человеческого глаза. Сходным образом и критерии нарративной ясности зависят от отличительных особенностей нашего нарративного восприятия исторического мира. Одни только социально-научные правила перевода не могут объяснить природу этого нарративного восприятия. В XVII и XVIII веках ученые методом проб и ошибок добились успеха в создании удобных оптических приборов. Порой их познаний в оптике было достаточно, чтобы объяснить, почему какой-то оптический прибор оказался хорошим. На самом же деле, такое знание излишне при проверке пригодности оптического прибора. Подобным образом и социально-научные правила перевода не позволяют объяснить происхождение и природу критериев нарративной ясности. Только нарративистская философия, изучающая логические особенности нарративного знания (нашего "нарративного глаза"), позволяет это делать. Думаю, отсюда можно заключить, что знание социально-научных правил перевода не является ни достаточным, ни необходимым условием для анализа нарративной ясности, т.е. для анализа того, как нарративная логика управляет нашими нарративными описаниями прошлого.

Все это подводит нас к важному различию между теоретическими понятиями и *Nss*. Теоретические понятия действительно указывают на или обозначают определенные "вещи" или аспекты "вещей", существующие в эмпирически наблюдаемой реальности, даже когда нет "никаких очевидных приемов применения этих терминов к их экспериментально идентифицируемым примерам"¹⁴. Однако *Nss* не обозначают идентифицируемые "вещи" или их аспекты в исторической

¹⁴ Под "примером" (англ. "instance") в данном случае имеется в виду конкретный объект или сущность, к которым применим данный термин (или понятие). — *Прим. ред.*

¹⁴ Nagel, p. 85

реальности. Они выполняют чисто “разъяснительную” функцию; они являются лингвистическими приемами, вспомогательными конструкциями, с помощью которых историки стараются дать максимально ясную и согласованную репрезентацию прошлого. Теоретические понятия соотносят вещи со словами, даже если эти вещи самим своим “существованием” обязаны словам, используемым для указания на них; *Nss* действуют только на уровне слов. Как мы увидим, их единственное назначение состоит в том, чтобы связывать во едино отдельные высказывания в нарративе. Правила, регулирующие их употребление, можно открыть не в ходе анализа социально-исторического мира, но лишь в ходе исследования логической структуры нарратива. Думаю, что аналогия с биноклем убедительнее любого предшествующего аргумента показывает, в чем заключается различие между *Nss* теоретическими понятиями. В результате все попытки исключить понятие *Ns*, приравняв его к теоретическим понятиям, должны быть отвергнуты. Нарративное знание необходимо отличать от научного. Их различие идет параллельно различению нарративного идеализма и нарративного реализма. В нарративном знании наиболее элементарными компонентами являются высказывания, а в научном — части высказываний.

В отношении моего сравнения *Nss* с линзами бинокля следует указать, где оно теряет силу. Конечно, следует различать сами линзы бинокля и получаемое благодаря им изображение. В нарративе этому различию нет никакого аналога, так как средства, используемые историком для выражения “картины” прошлого (я использую здесь этот непригодный термин в виде исключения), т.е. предлагаемые им с этой целью *Nss*, и являются его “картиной” прошлого. Я неоднократно критиковал ту точку зрения, что *Nss* должны открывать доступ к чему-то, стоящему “за” ними; в историографии “картины” прошлого и средства, с помощью которых они создаются, являются одним и тем же, т.е. *Nss*, хотя сравнение нарратива с биноклем, видимо, предполагает обратное.

(5) *Четвертое возражение.* Четвертое и последнее возражение против моего предложения признать *Nss* в исторических нарративах является наиболее веским и подводит нас к существу дела. Мы видели (ср. с. 145—146), что *Nss* суть

вещи, а не понятия, хотя, относясь к языку, они являются вещами совершенно особого рода. Это означает, что “нарративная субстанция” представляет собой видовое понятие (*sortal concept*). Видовыми являются понятия, обозначающие определенные категории вещей, например книги, стулья, собаки и т.п. Видовые понятия только тогда осмысленно вводятся в обыденный или теоретический дискурс, когда они каким-то образом указывают, как можно идентифицировать отдельные вещи, обозначенные ими. Ибо если бы они не делали этого, любое количество свойств вещей s_1, s_2, \dots , обозначенных видовым понятием *S*, можно было бы приписать каждой отдельной вещи *s*. В таком случае не было бы никаких конкретных *s*, но было бы определенное “нечто”, внутри которого все *s* утратили бы свою индивидуальность. В лучшем случае можно было бы сказать, что они обрели “отрицательную” индивидуальность: вместо получения дополнительных свойств (которые обычно позволяют идентифицировать иначе не идентифицируемые вещи), им приходится утрачивать свойства (чтобы стать идентифицируемыми). Во избежание таких бессмысленностей необходимо, чтобы значение видового понятия включало в себя указание, как можно идентифицировать конкретные вещи, обозначенные данным видовым понятием. Видовое понятие, не содержащее такого указания, следует рассматривать как бессмысленное или, по крайней мере, существенно неполное.

Согласно этому четвертому возражению проблема *Nss* состоит в том, что попытка идентифицировать их с помощью видового понятия “нарративная субстанция” неизбежно ведет к неудаче. А поскольку для обозначения *Nss* никакого другого сопоставимого видового понятия еще не было (и никогда не будет) предложено, нет оснований полагать, что должны существовать такие вещи, как *Nss*. Почему же невозможно идентифицировать *Nss* с помощью предложенного мной видового понятия? Вообще говоря, мы идентифицируем вещи, упоминая один или несколько так называемых “идентифицирующих фактов” о них. Например, человека, известного всем под именем “Вольтер”, можно идентифицировать, указав тот факт, что этот человек является (единственным) автором литературного произведения, известного как “*Essai sur les*

Moeurs”*. Как подчеркивал Стросон¹⁵, нет необходимости в том, чтобы говорящему и слушающему, был известен один и тот же индивидуализирующий факт; если говорящий считает (употребляя имя собственное “Вольтер”), что Вольтер был (единственным) автором “Le philosophe ignorant”**, в то время как слушателю не известен этот факт в отношении Вольтера, хотя он знает, что Вольтер является (единственным) автором “Essai”, то конкретная личность, обозначенная именем собственным “Вольтер”, тем не менее, успешно введена в разговор.

Однако, как следует из данного возражения, в случае *Nss* идентификация с помощью идентифицирующих фактов невозможна, поскольку любой набор высказываний, который мог бы идентифицировать какую-то *Ns*, может оказаться частью бесконечного количества других *Nss*. То, что историк *H*₁ упоминает для характеристики некоторого исторического явления, может быть частью *Ns*, предлагаемой историком *H*₂ по той же или близкой теме. Разница с идентификацией, например, материальных вещей здесь явная: если сказать, что какая-то материальная вещь действительно находилась в месте *p* во время *t*, этого достаточно, чтобы выделить ее среди всех материальных вещей, которые когда-либо существовали во вселенной со времени “большого взрыва” или будут существовать, и отличить ее от всех других вещей, которые вмещала или могла бы вместить в себя вселенная. Но мы должны понимать, что когда мы приводим высказывание или набор высказываний, которые, как мы считаем, позволяют отличить некоторую *Ns* от всех остальных, всегда можно представить себе другую *Ns*, которая содержит, по меньшей мере, те же самые высказывания. Наиболее очевидным ответным ходом было бы предположить следующее: разве мы не могли бы идентифицировать *Ns*, просто указав, что она есть именно та *Ns*, которая была предложена историком *H* в его книге, озаглавленной “*x*” и опубликованной в году *y*? К сожалению, нет. Предположим, мы имеем такие же трудно-

* “Essai sur les moeurs et l’esprit des nations”; в рус. пер. “Опыт о нраве и духе народов”. — Прим. перев.

¹⁵ Strawson (1); p. 20—1

** “Несведущий философ”. — Прим. перев.

сти с идентификацией сущностей, охватываемых сомнительным видовым понятием “идея”. В этом случае можно было бы сказать, что мы напрасно ломаем голову, так как мы, несомненно, можем определить это как идею, которую человек *A* имеет в виду во время *t*. Однако это определение неправомерно, поскольку мы не знаем, имеет ли видовое понятие “идея” значение, но именно этот вопрос является здесь *sub judice*. Поэтому, предлагая подобное решение, мы лишь уходим от ответа. Только в том случае, если мы знаем, что некоторое видовое понятие правомерно, мы можем идентифицировать охватываемые им вещи предложенным способом, но поскольку мы в этом не уверены, мы не можем оправдать видовое понятие, утверждая, что таким способом можно идентифицировать конкретные вещи, к которым оно применимо. И последнее: разве мы не могли бы просто изучить книгу историка *H*, озаглавленную “*x*” и опубликованную в году *y*, и установить, какая *Ns* была в ней предложена? К сожалению, тоже нет. Мы не можем оправдать видовое понятие “идея”, просто сказав: “Вы только загляните в душу *A*. И вы сможете установить, есть ли там такая-то идея или нет. Следовательно, можно идентифицировать идеи и, таким образом, видовое понятие “идея” является правомерным”. И снова это было бы уходом от решения вопроса. (Следует отметить, что темой данной дискуссии является не существование определенного рода вещей, например *Nss* или идей, но осмысленность особых видовых понятий).

По-видимому, можно возразить, что видовое понятие “нарративная субстанция” не вводит удовлетворительным образом в язык определенные разновидности вещей. Оно не способно обозначать категорию отдельных и взаимно отличающихся вещей. При доброжелательном подходе, мы могли бы, самое большее, признать за “нарративной субстанцией” ее сходство с теми понятиями, которые Стросон назвал “характеризующими универсалиями” (“feature-universals”) или “характеризующими понятиями” (“feature-concepts”) и которые обычно определяют как “массовые термины”. В качестве примера этих “характеризующих универсалий” или “характеризующих понятий” Стросон приводит термины “снег”, “вода”, “уголь” и

* Предметом обсуждения (лат.). — Прим. перев.

“золото”. Их задача состоит в том, чтобы характеризовать “общие виды веществ, а не отличительные признаки единичных объектов; хотя *быть сделанным из снега* или *быть сделанным из золота* — это признаки единичных объектов”¹⁶. Следовательно, эти характеризующие понятия, характеризующие универсалии или массовые термины являются своего рода предшественниками более полных видовых понятий. Но в отличие от компании, поставляющей воду, историки не довольствуются производством чего-то неопределенного, называемого “историографией”: историки создают определенные интерпретации прошлого. Поэтому характеризующие понятия Стросона или массовые термины не могут нас удовлетворить. Мы действительно нуждаемся в более полных видовых понятиях. Однако мы видели, что видовое понятие “нарративная субстанция” не позволяет получить тот вид вещей, которые, как ожидается, обозначаются видовым понятием. Поэтому приходится отвергнуть это видовое понятие.

Это четвертое возражение совершенно справедливо в том, что мы не можем идентифицировать *Nss* путем перечисления ряда идентифицирующих фактов в отношении их. Однако мы не остаемся с пустыми руками. Ибо мы можем — и это мой ответ на четвертое возражение — идентифицировать *Nss* с помощью *полного перечня* всех высказываний, которые они содержат, и именно это действительно происходит во всяком вразумительном нарративе. Согласно нарративистскому истолкованию нарратива все его значимые высказывания *p*, *q*, *r* и т.д. следует понимать как высказывания об *Ns* (“*N₁* есть *p*”, “*N₁* есть *q*”, “*N₁* есть *r*”), и таким способом осуществляется индивидуализация *Ns* (*N₁*). Следовательно, *Nss* следует рассматривать как особый вид вещей, которые можно идентифицировать и признавать таковыми только путем полного перечисления всех их свойств, и именно этим они отличаются от обычных вещей, известных нам из повседневной жизни. Объекты, знакомые нам по повседневной жизни, можно идентифицировать (т.е. вводить в речь как индивидуальные или единичные сущности) посредством нескольких идентифицирующих дескрипций, поскольку даже незначи-

тельной доли того, что можно было бы сказать о них, достаточно, чтобы отличить их от всех других вещей в мире.

Здесь мы сталкиваемся, вероятно, с одной из наиболее существенных метафизических особенностей нашего мира. Изучая наше употребление языка, нам следует осознавать тот факт (поскольку он в значительной степени определяет наше употребление языка), что мы живем в мире, содержащем весьма различные объекты. Очень часто бывает достаточно самых грубых средств идентификации, таких как пространство и время, чтобы выделять индивидуальные предметы. Но мы можем очень легко представить себе миры, где это невозможно. Как я уже сказал, тот факт, что наш мир содержит вещи, сильно отличающиеся друг от друга, является его существенной *метафизической* особенностью (и это, в сущности, серьезно влияет на логическую структуру языка, который мы используем, чтобы говорить об *этом* мире). Однако, строго говоря, это не умоглядная истина. Мы можем со всей уверенностью ее констатировать: есть только один способ получения надежных метафизических истин относительно нашего мира, а именно путем его сравнения с другими возможными мирами, отличающимися от нашего своим наиболее существенным устройством. Когда мы проводим такое сравнение, выявляются некоторые метафизические, хотя и не умоглядные, истины относительно нашего мира. Для лучшего понимания природы *Nss* будет полезно, если мы сейчас сыграем в эту игру.

Мы можем представить себе мир, в котором успешная идентификация требует даже меньшего, чем в нашем мире. Вообразите, например, мир, состоящий из пространства, которое содержит в любой момент времени только один объект. В таком универсуме достаточным (и необходимым) средством идентификации было бы время. Было бы излишним указывать расположение объекта. Далее, мы можем представить себе мир без изменений. Здесь идентифицировать объект удовлетворительным образом позволили бы пространственные критерии; мы можем даже допустить некоторые изменения вещей в этом мире при условии, что вещи сохраняют свое местоположение. Если бы мы сами были похожи на деревья, такой мир не казался бы нам слишком курьезным. В этих двух воображаемых мирах идентификация была бы даже

¹⁶ Strawson (1); p. 202.

более легкой, чем в нашем мире, где мы обычно можем идентифицировать вещи в мгновение ока. Сейчас я приведу в качестве примера мир, в котором осуществить идентификацию труднее, чем в нашем мире. Это позволит глубже понять природу *Nss*.

Давайте представим, что в следующем столетии станет возможным путешествие на обитаемую планету, вращающуюся вокруг Сириуса. Невзирая на наш преклонный к тому времени возраст, мы решаем совершить путешествие, чтобы посмотреть на необычную цивилизацию сирианцев*. К сожалению, все сирианцы выглядят для нас одинаково, и мы, фактически, не можем различать их. Когда мы выходим из нашей гостиницы на Сириусе, к нам неожиданно подходит сирианец, которого мы, по-видимому, встречали раньше. Но за время нашего пребывания на Сириусе мы успели пообщаться со множеством сирианцев, и, поскольку все они очень похожи друг на друга, мы не можем понять, кем является стоящий перед нами сирианец. Поскольку у всех землян есть проблемы с идентификацией, сирианское правительство назначает гидов для гостей с Земли. Разумеется, эти гиды не испытывают затруднений в идентификации своих сограждан. Так, наш гид говорит: "Разве вы не помните? Это тот сирианец, которого вы встречали на вечере у посла Земли". Предположим к тому же, что сирианцы чрезвычайно общительны и ведут хаотичный образ жизни; их можно встретить в любом месте и в любое время. Поэтому на вечере у посла, а также при других обстоятельствах мы встречали не только этого сирианца, но и большое число его сограждан. В этом случае слова нашего гида будут иметь мало пользы для нас: мы встречали очень много сирианцев на вечере у посла. "Ну, — продолжает наш гид, — вы встречали его не только на вечере у посла, но и на приеме у сирианского министра иностранных дел". Однако мы встречали порядочное количество сирианцев в этих двух случаях. Так что наш гид вынужден напоминать и о третьем случае (об обеде, который дал уполномоченный по межзвездным путешествиям) и так далее.

* Sirians. Так Анкерсмит называет жителей этой планеты. Как следует из дальнейшего изложения, сама планета носит название звезды, вокруг которой она вращается. — *Прим. перев.*

Чем больше сирианцы похожи друг на друга и чем большее их количество мы встречаем в каждом случае, тем длиннее должен быть список упоминаемых гидом случаев, необходимых для идентификации.

Я подчеркиваю необычный характер рассмотренного здесь процесса идентификации. Идентификация не зависит от признания в сирианце, обратившемся к нам на улице, того сирианца, который пил сирианский мартини на вечере у посла. Все сирианцы любят сирианский мартини. Следовательно, в данном примере нет простой идентифицирующей дескрипции, которая может служить "якорем", цепляющим большой список других описаний. Это совершенно не похоже на обычную ситуацию в нашем мире: когда мы приводим идентифицирующие дескрипции (например, "автор "Уэверли""), каждый из нас может сообщить ряд других фактов относительно человека, которого мы, очевидно, имеем в виду, — и идентификация произошла. В сирианском мире все наоборот: там именно список "других фактов" позволяет нам идентифицировать сирианцев. Список (общее) известных особенностей конкретного сирианца, к которым мы получили доступ благодаря идентифицирующим дескрипциям, является в сирианском мире единственным основанием для идентификации. Гость, прибывший на Сириус, вынужден будет окутывать социальную жизнь и обитателей этой планеты сетью их историй, если он хочет иметь хоть какой-то шанс на успех в их идентификации. В нашем мире индивиды открывают доступ к своим историям, на Сириусе истории открывают доступ к индивидам.

Идентификация в мирах, состоящих из вещей, очень похожих друг на друга, всегда будет происходить подобным образом. Хотя наш собственный мир не таков, по крайней мере, в некоторых важных отношениях, мы должны осознавать тот факт, что можно представить себе миры, где все обстоит иначе. Несомненно, в этих мирах "историчность" логически предшествует "индивидуальности", тогда как в нашем мире свойство конкретной вещи быть индивидуальной является, по-видимому, необходимой предпосылкой ее истории. Но, как мы увидим, даже для нашего собственного мира это

* "Уэверли" — роман Вальтера Скотта. — *Прим. перев.*

только часть правды. Существенно то, что мир, содержащий *Nss*, похож на мир сирианцев: количество *Nss*, которые могут быть созданы по какой-либо теме, неограниченно, и они могут быть чрезвычайно похожими друг на друга. Идентификация в таком мире существенным образом отличается от той, к которой мы привыкли, и она требует ни много ни мало, как полного перечисления всех описаний (т.е. высказываний), которые можно было бы дать определенной вещи в этом мире (т.е. *Ns*). Мы обнаружим, что философия Лейбница замечательно подходит для рассмотрения миров, состоящих из подобных вещей.

Обрисованное мной положение дел можно лучше всего выразить с помощью следующей модели. Мы постулируем существование нарративного мира, содержащего все возможные *Nss* по всем мыслимым историографическим темам. Когда историк пишет книгу или статью, он занимается индивидуализацией одной (или нескольких, если предмет является более сложным) из этих "уже существующих" *Nss*. Этот выдуманный нарративистский мир, содержащий все предсуществующие *Nss*, особенно полезен нам, поскольку он высвечивает тот факт, что нельзя усмотреть никакой логической разницы между а) тем, что историк решает рассказать о прошлом, когда пишет свою работу, и б) тем, что читатель узнает о прошлом, когда читает написанное. После того как мы устраним вымысел из нарративистского мира, можно будет легко понять, что разница между историком и читателем подобна разнице между подрядчиком, построившим дом, и человеком, живущим в нем. Подрядчик вполне мог бы построить другой дом, в то время как владелец смотрит на свой дом него как на нечто данное. Конечно, чтение и написание книги — это разные занятия, требующие разных способностей. Но, с логической точки зрения, чтение и написание совершенно одинаковы: в обоих случаях индивидуализируется какая-то конкретная *Ns*; и этот процесс индивидуализации может принимать форму а) письменного изложения этой *Ns* или б) чтения написанного. Если допустить этот вымысел, то в оставшейся части книги мы можем просто говорить о нарративах и *Nss* вместо того, чтобы постоянно проводить различие между написанием и чтением нарративов. В соответствии с этим допущением, мы можем утверждать, что описа-

ния *Nss* (т.е. " N_1 есть p "), вытекающие из высказываний нарратива (например " p "), используются *референциально*, а не *атрибутивно*¹⁷. И, наконец, в соответствии с идеями, излагаемыми в этом разделе, я сформулирую следующее терминологическое различие: когда что-то можно обозначить с помощью идентифицирующих дескрипций, имеет место *идентификация* вещей; когда же на что-то можно однозначно указать только посредством полного перечисления всех его свойств (или атрибутов) — как в случае с *Nss*, — я буду использовать термин *индивидуализация*.

Таким образом, можно сказать, что индивидуализация *Nss* и их создание или построение в нарративе, с точки зрения философской логики, суть один и тот же процесс. Когда же мы имеем дело с обычными вещами, эти два процесса имеют совершенно разные аналоги: с одной стороны, мы видим создание вещей в реальности (как естественным, так и искусственным путем); с другой стороны, мы имеем процесс их успешной идентификации, когда благодаря именам собственным или идентифицирующим дескрипциям они вводятся в наши высказывания о реальности. Однако когда мы имеем дело с *Nss*, обе эти процедуры тождественны.

Мы можем теперь сформулировать окончательный ответ на четвертое возражение относительно понятия *Nss*. Любой человек, прочитавший нарратив, не может всерьез сомневаться — если дело касается логики — в том, какая конкретная *Ns* была в нем введена (на практике могут возникать трудности — здесь мне хотелось бы сослаться на то, что было сказано в конце раздела (1) этой главы). Нарратив обеспечивает нас всеми необходимыми данными для установления, какая *Ns* была в нем предложена. Когда у читателя возникают сомнения, мы можем только посоветовать ему перечитать текст. Вне самого нарратива нет ничего, что может послужить ключом к индивидуализации предложенной в нем *Ns*; хотя внетекстовые данные могут быть полезны для достижения корректной интерпретации, т.е. для установления точного значения (частей) текста (что имел в виду историк, живший и работавший в определенный период времени, когда употреблял определенное слово или словосочетание?). Но нужно

¹⁷ Donnellan (2); p. 102 ff.

внимательно следить за тем, чтобы социальные, психологические или исторические соображения не проникали в анализ нарративной логики. По сути, наша склонность выходить за рамки нарратива является источником ошибки, содержащейся в четвертом возражении. Ибо когда критики заявляют о том, что невозможно понять, как можно вводить *Nss* в нарратив, они предлагают рассматривать эту проблему по аналогии с тем, как вводятся в речь обычные отдельные вещи, существующие во внеязыковой реальности. Действительно, в последнем случае кажется невыносимым, чтобы можно было ввести в речь некую конкретную сущность, которая не обладает самостоятельным существованием, т.е. независимым от процедуры, необходимой для ее идентификации.

Однако в отношении *Nss* мы не можем говорить о существовании реальности, независимой от нарративов, в которых они встречаются, по аналогии с обычной реальностью, в которой мы находим такие вещи, как столы и деревья: даже если мы принимаем идею нарративистского мира как полезный вымысел, мы должны иметь в виду, что *Nss*, существующие в этом мире, и *Nss*, вводимые в нарративах, являются во всех отношениях (логически и онтологически) тождественными. Однако имена собственные и идентифицирующие дескрипции, позволяющие вводить в речь существующие в реальности вещи, действительно отличаются (логически и онтологически) от самих этих вещей. Используя теологический термин, мы можем сказать, что нарративистский мир и имеющиеся у нас языковые средства для введения в речь содержащихся в этом мире объектов (т.е. высказывания о *Nss*) являются "единосущими" в том смысле, в каком обычные вещи и языковые средства, используемые для их обозначения, никогда не могут быть. Таким образом, когда мы спрашиваем, как конкретные *Nss* могут вводиться в речь, мы не должны представлять себе некоторый "дополнительный" мир (подобный объективной реальности), содержащий определенные "х" или конкретные объекты, вводя которые в речь, мы создаем наши *Nss*. Думая так, мы снова стали бы жертвами нарративно-реалистических иллюзий. Как известно, нарративный реализм всегда ищет за рамками нарратива нечто такое, что соответствует логическим компонентам нарратива (т.е. его *Nss*). Однако *Nss* относятся к той странной категории вещей,

которые "как вещи" тождественны своим языковым проявлениям. Процесс их построения в качестве отдельных вещей тождественен индивидуализации их "полного понятия", по терминологии Лейбница.

(6) *Объяснение изменения: нарративные субстанции как объекты изменения.* В предыдущем разделе мы обсуждали вопрос о том, обладает ли каждая *Ns* индивидуальностью, позволяющей нам ввести видовое понятие "нарративная субстанция". Интересно отметить, что у этой проблемы есть точный аналог в философии историзма, разрабатываемой со времен Гердера и Ранке. Трудность, с которой столкнулись мыслители этого направления, можно сформулировать приблизительно следующим образом: должны ли мы приписывать историческим сущностям, таким как государства, нации или культурные традиции, индивидуальность, которая не подвержена времени и изменению, или же мы можем приписывать им индивидуальность только на каждой конкретной стадии их развития? Если мы разбирали проблему индивидуальности применительно к *Nss*, то представителей историзма интересовала индивидуальность таких исторических сущностей, как нации или культурные традиции. В предыдущем разделе мы рассмотрели индивидуальность особого вида языковых сущностей, тогда как историзм столкнулся с трудностями при анализе индивидуальности вещей, которые считались частью исторической реальности. Изучение позиции сторонников историзма и позитивизма в вопросе индивидуальности вещей может пролить некоторый свет на функцию *Nss* в нарративном языке. Точнее говоря, при исследовании индивидуальности (исторических) вещей наша цель будет состоять в том, чтобы найти определение "объекту изменения" в этих вещах, т.е. найти сущность (логическую или нелогическую), благодаря которой становится возможным описание исторического изменения. На данный момент я не могу глубоко охарактеризовать понятие "объекта изменения", так как этим затронул бы вопрос о том, как следует определять эту сущность. В любом случае я постараюсь показать, что для удовлетворительного объяснения того, как описываются изменения, требуется постулирование *Nss*.

И историзм, и позитивизм отвергают ту позицию, которую человек склонен изначально занимать *vis-à-vis* социально-исторической реальности, т.е. отвергают эссенциалистское убеждение в том, что все социально-исторические объекты, такие как государства, нации или общественные институты обладают сохраняющейся во времени сущностью и все исторические изменения подобных объектов есть не что иное, как модификация этих вечных сущностей. Например, в Средние века эссенциалистское убеждение в отношении изменения не позволяло людям отказаться от понятия Римской империи, хотя Римская империя уже давно перестала существовать. Империя франков, а затем и Священная Римская империя считались более поздними модификациями одной и той же сущности, представленной уже в Римской империи (средневековое прочтение доктрины "translatio Imperii"¹⁸). Философию естественного права XVII и XVIII веков можно рассматривать как последний наиболее гибкий и утонченный вариант этого эссенциализма. Философия естественного права претендовала на постижение вечной сущности таких социально-исторических объектов, как государство и гражданское

¹⁸ Зд.: по отношению к чему-либо (франц.). — Прим. перев.

¹⁹ См. W. Goetz, *Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, Tübingen 1958, p. 62: "die Formel 'imperium transferre' bezog sich in fast allen Fällen, die bisher erwähnt wurden, auf Ereignisse ausserhalb der Geschichte des Römischen Weltreiches. Im Hochmittelalter wurde es dagegen üblich die Translationsprägung auch auf Begebenheiten anzuwenden, die wichtige Wendepunkte in der Geschichte der vierten Weltmonarchie waren: die Verlegung der Residenz von Rom nach Byzanz unter Konstantin dem Grossen, die Begründung des wesentlichen Kaisertums durch Karl den Grossen und seine Erneuerung durch Otto den Grossen. Vor allem die römische Krönung des Jahres 800 galt als die 'Translatio Imperii' schlechtchün" ["Формула 'imperium transferre' [передать власть (лат.). — Прим. перев.] почти во всех упоминавшихся до сих пор случаях относилась к событиям, не входящим в историю Римской империи. В период высокого Средневековья было принято применять это выражение к тем событиям, которые явились важными поворотными пунктами в истории четвертой мировой империи: к перенесению столицы из Рима в Византию при Константине Великом, основанию западной империи Карлом Великим и ее возрождению Оттоном Великим. Коронация в Риме в 800 г. воспринималась, прежде всего, как "Translatio Imperii" [передача власти (лат.). — Прим. перев.] в чистом виде".

общество, и на выявление юридических отношений, которые должны существовать и (благодаря природе этих социально-исторических объектов) действительно существовали между ними. Здесь "должен" выводится из "существует" в соответствии с эссенциалистским представлением о социально-исторической реальности, которая не допускает "сущностных" изменений; прежде существовавшие сущности всегда будут с нами — и сейчас и в будущем.

Во второй половине XVIII столетия представители раннего историзма Мёзер и Гердер порвали с эссенциалистской концепцией исторической реальности. Они первыми (за исключением, возможно, некоторых авторов XVI века¹⁹) осознали, что в историческом процессе все вещи находятся в постоянном изменении, которое затрагивает не только поверхностные, случайные или модифицируемые аспекты исторической реальности, но также и то, что эссенциалисты считали сущностью социально-исторических явлений. Сущность исторической реальности в той же мере подвержена изменению, как и то, что, по-видимому, лежит на ее поверхности. Однако это более глубокое понимание исторического изменения поставило сторонников историзма в неприятное и двусмысленное положение. Они рассуждали следующим образом: если все в истории является объектом постоянного изменения, нам следует рассматривать все в свете его истории. Для понимания природы или сущности таких социально-исторических вещей, как государство или общественный институт, требуется знание их исторической эволюции. Природа вещи — это ее история. Следовательно, историзм (здесь мы берем наиболее распространенную интерпретацию этого термина) утверждает, что знание социально-исторических вещей совпадает со знанием их истории.

Пока все хорошо. Но это рассуждение сторонников историзма предполагает, что на каждом этапе своего развития социально-историческая вещь отличается от той, какой она была или станет на других этапах ее эволюции. Отсюда следует вы-

¹⁹ Как утверждает Келли, в историографии XVI века уже проявились тенденции к историзму; самая замечательная работа Ла Попелиньера дает дополнительное подтверждение этому предположению. См. G. Huppert, *The Idea of Perfect History*, s.l. 1971; Ch. 8.

вод, диаметрально противоположный тезису историзма о том, что природа социально-исторической вещи должна заключаться в ее истории. Чем больше мы подчеркиваем ту мысль, что на каждом этапе своего существования вещь отличается от той, какой она была или будет на других этапах, тем более проблематичным становится ее рассмотрение как одной и той же индивидуальной вещи. Эта присущая историзму непоследовательность проявила себя с самого начала, поскольку сторонники историзма, как правило, придавали большое значение несоответствиям между разными этапами в развитии государства, нации или общественного института. Например, в хорошо известном изречении Ранке "jede Epoch ist unmittelbar zu Gott"¹ подчеркивается уникальная индивидуальная природа каждого отдельного этапа в развитии государства, нации или общественного института.

Это означает, что существует две трактовки термина "историзм". И хотя вторая, так или иначе, вытекает из первой, она все-таки указывает в другом направлении: первая склоняет историка занять диахроническую, а вторая — синхроническую позицию. До тех пор пока эти два подхода формулируются неопределенно и неточно, они могут существенным образом совпадать в трактовке природы той или иной социально-исторической вещи на определенном этапе ее развития. Но если строго следовать диахроническому и синхроническому подходам, их совпадение постепенно сойдет на нет. В результате этот внутренне присущий историзму парадокс приведет к тому, что полностью улетучится индивидуальность социально-исторических объектов.

Представители историзма начала XIX века, которым и поныне нет равных в исторической проникательности и тонкости исторического восприятия, несомненно осознавали неприятную диалектику, заключенную в их концепции историзма. Их решение состояло в том, чтобы наделить "энтелехией" те социально-исторические объекты, которые они изучали как историки. В понятии энтелехии или, как они говорили, в "historische Ideenlehre"² их привлекало предположение о том, что в сущности или "идее" социально-историче-

¹ "Каждая эпоха равна перед Богом" (нем.). — Прим. перев.

² "Учение об исторических идеях" (нем.). — Прим. перев.

ских вещей заложено проявление в ходе развития всех тех качеств, которыми эти вещи будут фактически обладать. Так, для семени дуба энтелехия состоит в том, чтобы, пройдя через несколько различных этапов, в конечном счете превратиться в высокое дерево. Предположение же о том, что социально-исторические вещи также должны обладать подобной энтелехией или "Idee", позволяло сторонникам историзма 1) говорить об одной единственной вещи, развивающейся во времени, и 2) допускать коренные изменения в этой вещи. Поэтому сторонники историзма считали, что благодаря понятию энтелехии или "historische Ideenlehre" удастся примирить две "расходящиеся" интерпретации термина "историзм". Кроме того, очевидно, что сторонники историзма усматривали в энтелехии или "Idee" социально-исторических вещей "объект изменения", благодаря которому у нас есть логическая возможность описывать и объяснять историческое изменение: он воплощает в себе неизменную индивидуальную природу социально-исторических вещей.

Энтелехия или "historische Idee" могла устраивать приверженца историзма в качестве "объекта изменения", но она не устраивает нас. То, что растения, животные или даже люди (в физическом плане) обладают такой энтелехией, возможно, и похоже на правду, но намного менее очевидным является то, что ею должны обладать, например, нации или такие сущности, как немецкая культура. Ошибка сторонников историзма состояла в том, что они помещали "объект изменения" в саму реальность, а это хотя и вполне естественное, но все же ошибочное предположение. Они полагали, что Германия или немецкая культура должны существовать в том же смысле, в каком существуют деревья, животные или люди, и что энтелехия наличествует в самих социально-исторических объектах так же, как она наличествует и проявляется в реальных деревьях, животных и людях. Предполагалось, что сама реальность создает условия (выраженные в понятии энтелехии или "historische Idee"), необходимые для описания исторического изменения. Источником этой ошибки является убеждение в том, что согласованность, сообщаемая историческому нарративу *благодаря* понятию энтелехии или "histo-

³ "Историческая идея" (нем.). — Прим. перев.

gische Idee", отражает согласованность в самой исторической реальности. Наша способность логично и последовательно рассказать историю нации была истолкована так, будто сама нация прошла логичный и последовательный цикл эволюции (который, вероятно, можно даже экстраполировать в будущее и таким образом оправдать предосудительные политические взгляды некоторых представителей историзма XIX и XX веков). Но прошлое само по себе не является логичным или алогичным, последовательным или непоследовательным (см. раздел (4)). Только нарративы могут быть логически последовательными, ясными или неясными. Историзм ошибочно помещает нарративную логику, т.е. логику, которой подчиняются ясные и понятные описания прошлого, в само прошлое. Убедительность рассказа о прошлом истолковывалась приверженцем историзма так, будто в самой исторической реальности господствует некая историческая необходимость.

Хотя представители историзма ошибочно определили место нарративной логики, они все же высказали несколько ценных идей о том, как она работает. Если нам удастся очистить историзм от всех его метафизических наслоений, то мы получим самую замечательную философию истории, какую только можно себе представить. Ведь в историзме были плодотворно использованы такие понятия, как "Zeitgeist", "historische Idee" нации или культурной традиции, так называемые "исторические формы"²⁸, — очевидно, что все они выражают *Nss*. Поэтому у нас имеется достаточное подтверждение тому, что представители историзма глубоко понимали, как следует писать историю. Они знали, что историку придется создавать (языковые) индивидуальные сущности (называемые в этой книге *Nss*), которые выражают его интерпретацию прошлого. Все, что нам нужно сделать, это преобразовать традиционный историзм из теории исторических объектов в теорию исторического письма.

* "Дух времени" (нем.). — Прим. перев.

²⁸ W. von Humboldt, On the Historian Task, in G.G. Iggers and K.von Moltke eds., *The Theory and Practice of History*, New York; pp. 13 ff. По моему мнению, наиболее тонкое изложение роли "historischen Ideen" в написании истории можно найти у Хейзинги: Huizinga; pp. 134—150.

Можно было бы сказать, что историзм занимает срединную позицию между эссенциализмом и позитивизмом. В отличие от эссенциалистов, представители историзма видели в истории процесс изменения, который не оставляет незатронутой сущность социально-исторических вещей; тем не менее, они не были готовы отказаться от понятия "сущность социально-исторических" вещей, поскольку оно было нужно им как "объект изменения". Поэтому историзм остался, все-таки, довольно близким к эссенциализму; его представители придали эссенциализму историчность, но не отвергли его окончательно. Со времени критики Локком понятия субстанции позитивизм (понимаемый в самом широком смысле) рассматривал вещь ни больше и ни меньше, как сумму свойств, которые она имеет здесь и сейчас. Истористский тезис о том, что вещь может обладать свойствами, которые не проявлены в настоящем, но благодаря механизму энтелехии были "активизированы" в прошлом или будут "активизированы" в будущем, является для позитивиста полным абсурдом.

Может ли позитивизм обеспечить нас лучшим описанием исторического изменения, т.е. может ли он предоставить нам более убедительный "объект изменения"? Необходимо признать, что позитивистский подход к этой проблеме кажется более простым, прямолинейным и самодостаточным по сравнению с довольно расплывчатыми теориями, предложенными историзмом.

Позитивист рассуждает следующим образом. Когда объект *O* изменяется, некоторые его свойства остаются прежними в ходе изменения. Если бы это было не так, мы могли бы сказать лишь то, что объект *O* исчез или прекратил свое существование. Прежде чем я продолжу подробно разбирать позитивистское описание изменения, мне хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу позитивистского рассуждения об исчезновении объекта *O*. Я подозреваю, что любой пример исчезновения объекта *O*, который мы могли бы привести, все же можно истолковать как простое изменение *O*. Заметим ли мы изменение, зависит от того, как мы хотим воспринимать реальность, т.е. хотим ли мы видеть в реальности отдельные (изменяющиеся) вещи или нет, и, если мы решим видеть изменение, то мы и увидим его. Никаким апостериорным аргументом нельзя опровергнуть ту точку зрения,

что изменившуюся вещь следует считать превратившейся в другую вещь и, следовательно, прекратившей свое существование. Однако, если мы примем эту точку зрения, то вещи исчезнут из нашего мира, ибо какие же вещи защищены от изменения? Признание существования вещей и обоснование той точки зрения, что какие-то вещи прекращают или прекратили свое существование, неразрывно связаны друг с другом. Когда мы говорим, что вещь исчезла или прекратила существовать? Возьмите след на песчаном берегу, который смывают морские волны. В этом случае мы могли бы сказать, что или перестал существовать след или просто изменилось расположение песчинок. Мы можем выбрать любой из этих вариантов. Однако первый требует признать следы в качестве "вещей".

Кстати, здесь возникает любопытный парадокс. Стросон использовал понятие "базисный конкретный объект" для обозначения класса конкретных вещей, которые служат основанием для идентификации других конкретных вещей, но не наоборот. Так, тело человека в большей степени является "базисным конкретным объектом", нежели его чувства или мысли²¹. Парадокс состоит в том, что вопреки нашим ожиданиям, чем более базисным является конкретный объект, тем более прагматичный мы делаем выбор, когда решаем, считать ли его изменившимся или прекратившим существование. Когда рубят дерево (без сомнения, базисный конкретный объект), мы можем привести одинаково хорошие основания для каждого из этих решений. С другой стороны, едва ли можно сомневаться в том, что Третий рейх, который отнюдь не является "базисным конкретным объектом", перестал существовать в 1945 г. Только члены "Rote Armee Fraktion" могли бы сомневаться в этом. Точно так же мы вполне можем сказать, что в 1945 г. Германия изменилась, но не прекратила своего существования, а "Германия" не в большей мере является базисным конкретным объектом, чем "Третий рейх". Очевидно, что критерии выбора между изменением и прекращением существования для базисных конк-

²¹ Strawson (1); pp. 38—40.

* "Фракция Красной Армии" — леворадикальная террористическая организация, действовавшая на территории ФРГ в 1970—1980 гг. — Прим. перев.

ретных объектов определены менее точно, чем для их более абстрактных коллег. На первый взгляд, это может показаться удивительным. Но наше удивление пройдет, как только мы поймем, что базисные конкретные объекты соответствуют тому, как мы находим мир (до того, как вынести определенные решения о том, какие конкретные вещи он содержит), в то время как их более абстрактные "коллеги" соответствуют тому, как мы концептуализировали мир (когда наши решения о том, как говорить о мире, уже приняты и мы должны их придерживаться).

Но давайте вернемся к позитивистской трактовке (исторического) изменения. Согласно позитивистам в процессе изменения вещи остаются тождественными себе или теми же самыми только относительно некоторого понятия, которое соответствующим образом применяется к ним. Эта вещь тождественна другой, находящейся в прошлом, потому что обе они являются книгами, сделанными из бумаги и картона и т.д. Так, Боровски пишет: "диахроническое тождество" — это всегда "тождество применительно к некоторому понятию". И продолжает: "Для каждого понятия, (если объект, к которому оно применимо, мы, как правило, считаем сохраняющимся во времени, имеется отношение, устанавливаемое между стадиями существования данного объекта в разные моменты времени (способность применять указанное отношение является одним из условий понимания этого понятия), и данное отношение служит подтверждением тому, что эти стадии являются стадиями одного объекта определенного типа"²². Очевидно близкое сходство этого подхода с тем, который известен как тезис о "зависимости индивидуализации от вида". Этот тезис был сформулирован Гичем следующим образом: "Когда говорят, что "x тождественен y", я считаю это выражение неполным; оно является сокращением для "x является тем же A, что и y", где "A" представляет собой некоторое исчисляемое существительное, понятное из контекста высказывания; иначе же это просто неясное выражение незаконченной мысли"²³. В обоих случаях — говорим ли мы о "тождестве во времени" или, в более общем смысле, о "тождестве двух

²² Borowski; p. 485.

²³ P. T. Geach, *Logic Matters*, Oxford 1972; p. 238.

вещей” — тождество понимается как тождество применительно к некоторому *понятию*. Теперь ясно, что позитивист не испытывает затруднений в определении “объекта изменения”, когда что-то подвергается изменению: очевидно, что понятие, “охватывающее” вещь на протяжении разных ее стадий, является необходимой логической предпосылкой описания изменения.

Можно было бы утверждать, что понятие само по себе слишком вместительно, чтобы выступать в качестве вероятного “объекта изменения”: рассматриваемое под таким углом оно является “объектом изменения” не только для *этого* конкретного объекта, к которому оно применимо, но также для всех случаев его применения. Так что нам следует сократить число вещей до минимума. Пусть мы имеем понятие “С”. Разве нам не следует считать выражение “это С” наиболее вероятным кандидатом на роль “объекта изменения”? К сожалению, это было бы слишком просто. Когда кто-то употребляет выражение “это С”, он уже знает, как идентифицировать это С в ходе его метаморфоз. Мы же сейчас пытаемся установить, какое понятие позволит нам идентифицировать это С в ходе его метаморфоз. Сказать, что “это С” и является искомым понятием, а именно “объектом изменения”, значит использовать в качестве объяснения *то, что требуется объяснить*. Ибо мы хотим объяснить, как мы можем говорить об “этом С” в процессе его изменения, и, конечно же, мы не можем объяснить *это*, прибегая к тому же самому понятию “это С”. Другими словами, искомый “объект изменения” должен являться *частью* значения “это С”, а не полным его значением. Какая это должна быть часть? После всего сказанного ответ найти нетрудно. Это должна быть *та* часть значения “это С”, которая делает возможной идентификацию этого С в ходе его изменения, но сама не является понятием, с которым это С (т.е. “это С”) действительно идентифицируется. Складывается следующая картина. Когда некоторая вещь есть С, ей можно приписать ряд атрибутов, составляющих часть значения С. Множество атрибутов, которые служат *основанием* для идентификации этого С в ходе его изменений, но не составляют в сумме понятие “это С”, и можно считать “объектом изменения” этого С.

Однако это еще не все. Вещи могут изменяться настолько радикально, что понятие, охватывающее их на протяжении определенного отрезка их существования, может не охватывать их в другие периоды. Возьмем, например, снежинку, которая превращается в каплю воды. Мы, конечно же, будем говорить здесь об изменении: было бы нелепо утверждать, что снежинка совершенно перестала существовать, а капля воды появилась из ниоткуда. Гораздо естественнее, но не абсолютно необходимо, будет сказать, что снег превратился в воду. В любом случае, даже если и следует в этом усомниться, описание, в котором учитываются подобные изменения, лучше, чем описание, в котором они не учитываются. Поэтому, я полагаю, нам стоит рассмотреть, чем являются “объекты изменения”, когда в нашем распоряжении нет охватывающих понятий. Вполне ясно, какой путь нам следует избрать в таком случае. В приведенном примере мы имеем дело с двумя охватывающими понятиями (“снег” и “вода”), но ни одно из них не охватывает рассматриваемую вещь во время ее метаморфозы. Однако нетрудно представить себе охватывающее понятие, которое облегчит нашу задачу, например понятие, по своему содержанию частично совпадающее с исходными охватывающими понятиями, или понятие, специально созданное (возможно, учеными) для этой цели, в нашем примере — это “ H_2O ”. В конце концов, наши интуитивные предположения о непрерывности в процессе изменения должны получить *некоторое* обоснование. Давайте назовем эту категорию понятий С'. Тогда мы можем определить позитивистский “объект изменения” следующим образом: когда вещь изменяется, ее “объектом изменения” является множество атрибутов (включенных в охватывающее понятие или в понятие С', или составляющих часть этих понятий) таких, что эти атрибуты могут служить *основанием* для идентификации этой вещи во время ее изменений, не будучи тождественными понятию “это С”. Для целей данного обсуждения нет необходимости точно устанавливать различие между 1) множеством атрибутов, упомянутых в этом определении и 2) понятием “это С”. Достаточно констатировать, что различие есть.

Главное преимущество позитивистского подхода к определению “объекта изменения” перед историзмом состоит в том, что в качестве “объекта изменения” он признает множе-

ство *атрибутов* (т.е. нечто лингвистическое). Как справедливо утверждает позитивизм, что то, что логически позволяет нам говорить об изменении, заключено не в самом мире, но в тех языковых средствах, которые мы используем, говоря о мире. Тем не менее, я думаю, что представители историзма правы, требуя от понятия "объект изменения" большего, чем предусматривает позитивистский подход. Действительно, когда мы выявим все следствия, вытекающие из позитивистского подхода, мы обнаружим, что они не всегда согласуются с нашим пониманием изменения. Возражение против позитивистского подхода состоит в следующем. В нашем мире нет ни одной вещи, которая не имела бы общих свойств с любой другой вещью. Отсюда следует, что согласно позитивисту теоретически возможно, чтобы после момента времени t_0 все во вселенной оказалось "тождественным во времени" всему существовавшему до момента времени t_0 . Всегда можно представить себе некоторое множество атрибутов, которые могут быть предцированы субъекту высказывания, обозначающему любой объект во вселенной до момента времени t_0 , и субъекту высказывания, обозначающему любой объект во вселенной после момента времени t_0 . Таким образом, мы могли бы сказать, что чашка чая после t_0 тождественна тигру до t_0 ввиду некоторых общих свойств, которые есть у чашек чая и тигров (а также у этой чашки чая и этого тигра). Это, конечно же, неприемлемо и совершенно не согласуется с нашим привычным пониманием изменения. Как мы могли бы избежать этого сомнительного заключения, которое, по видимому, нам навязывает позитивистский подход? Полагаю, только обратившись к определенным, так сказать, критериям тождества, которые устанавливают, какие конъюнкции общих атрибутов имеют значение для принятия решения о тождественности двух вещей во времени. Без сомнения, обычно наиболее очевидными претендентами на эту роль являются критерии пространственно-временной непрерывности. Когда говорят, что тождество во времени — это всегда тождество во времени "применительно к некоторому охватываемому понятию", это уже можно считать попыткой сформулировать такой критерий тождества: охватываемое понятие, если его рассматривать как пучок атрибутов, неявным образом устанавливает, что можно и что нельзя считать тож-

дественным во времени чему-то еще. Поэтому если мы определяем тождество во времени как тождество во времени применительно к некоторому частному охватываемому понятию, это равнозначно определению одного частного типа случаев тождества во времени в качестве якобы их *общего* типа. И по поводу этого общего типа позитивист заявляет, что не столько охватываемые понятия, сколько критерии тождества, связываемые с этими охватываемыми понятиями, определяет тождество во времени. Следовательно, позитивист может утверждать, что эти критерии тождества логически конституируют тождество: "поскольку, если мы не считаем эти критерии обеспечивающими логически необходимые и достаточные условия [тождества. — Ф.А.], то неясно, как мы должны понимать их" (Гриффин)⁴.

Имеет ли смысл говорить, что критерии тождества, связываемые с нашим понятийным аппаратом, обеспечивают логическое основание для нашего понятия "объект изменения"? Задают ли эти критерии тождества логическую сущность, благодаря которой возможно описание изменения, или, точнее говоря, определяют ли они для каждого случая изменения, что представляет собой эта логическая сущность? Я так не думаю. Возможно, будет поучительно взглянуть на тот путь, по которому нас заставили пройти позитивисты. Вначале наш вопрос стоял так: что является "объектом изменения", необходимым для любого описания процессов изменения? В итоге наше обсуждение закончилось предложением искать критерии тождества, т.е. критерии, которые позволяют решить, остается ли нечто той же самой индивидуальной вещью во время изменения или нет. Однако (и в этом заключается мой главный критический довод против позитивистского подхода) поиск критериев тождества имеет смысл только тогда, когда "объекты изменения" уже признаны и наше внимание сосредоточено на вспомогательном вопросе: как именно изменение было описано или должно быть описано. Но исследование этих критериев тождества нужно тщательно отличать от исследования логической природы тождества при изменении и во времени. Подобным образом, критерии определения чьей-то моральной или юридической

⁴ Griffin; p. 50.

вины не раскрывают нам значение слова "вина". Мы можем представить себе автоматы или компьютеры, которые могут в относительно простых случаях устанавливать нарушения правил дорожного движения, "не зная", что такое нарушение этих правил: ведь это только машины. Позитивизм принимает язык, описывающий изменения, как данность и исследует только, как этот язык используется. Но это равносильно тому, чтобы принимать как данность то, что мы хотим здесь объяснить.

В этом контексте многое разъясняет упоминание затруднений, к которым приводит позитивистский подход. Иногда бывает очень трудно определить критерии тождества, связываемые с определенным охватывающим понятием. Идентичность личности — хороший тому пример. Одни философы предлагают непрерывность памяти в качестве критерия идентичности личности, другие предпочитают пространственно-временную непрерывность человеческого тела. Можно представить себе и иные решения этой проблемы. Против всех этих подходов можно привести случаи, когда эти критерии оказываются бесполезными. Возьмем, к примеру, критерии памяти. Что можно сказать об идентичности личности, когда мозг (в котором локализована память) одного человека трансплантируется в череп другого; или когда одно полушарие мозга остается, а другое трансплантируется (нейрофизиологи открыли, что и одно полушарие мозга может делать то, что обычно делают два)? Со времен Локка немало усилий и изобретательности было потрачено на то, чтобы решить такого рода "головоломки". Однако я согласен с Парфитом (и другими), сомневающимся в том, что эти "головоломки" когда-нибудь будут окончательно разрешены²⁵. Когда мы учимся применять понятие, например понятие личности, мы одновременно узнаем критерии тождества во времени и при изменении для вещей, обозначаемых этим понятием. Стало быть, нам не следует забывать о том, что эти критерии никогда не отражают ничего большего, чем наше *действительное* употребление этого понятия. Поэтому когда мы сталкиваемся с головоломками, которые, естественно, выводят нас за рамки нашего действительного употребления рассматриваемого

²⁵ См. Parfit; pp. 3—4; Borowski; pp. 494 ff.

понятия, мы никогда не можем рассчитывать на то, что понятие как по волшебству выдаст нам критерий тождества, который поможет справиться с головоломкой. Таким образом, предположение о том, что головоломки открывают нам критерии тождества, связываемые с некоторым понятием (именно это и заставляло некоторых философов создавать эти головоломки), является в корне неприемлемым. За рамками нашего действительного употребления понятий нет никакой высшей инстанции, куда мы могли бы обратиться в поисках критериев тождества для этих понятий. Вне самого языка эти критерии не привязаны ни к какому "якорю", который мы могли бы обнаружить, подвергнув язык некоторым мысленным экспериментам. Критерии тождества выявляются только в действительном употреблении языка. Результат этих рассуждений состоит в следующем. Критерии тождества не являются, как полагают позитивисты, логически необходимым и достаточным условием тождества при изменении и во времени: они лишь *отражают* то, как мы действительно принимаем решения относительно тождества в изменении и во времени. Следовательно, позитивистские критерии тождества не позволяют ответить на вопрос, что представляют собой логические сущности, благодаря которым мы можем описывать изменение, т.е. что представляют собой "объекты изменения". Критерии тождества имеют, так сказать, иное место в нашем действительном употреблении языка: они *выводятся* из нашего признания "объекта изменения", а не объясняют его.

Этой мысли можно дать следующую метафизическую формулировку: позитивист просто принимает как данность то, что наш мир содержит определенные вещи (типы вещей) и затем исследует, как язык, используемый для описания изменения, отражает это состояние дел. Поскольку существуют вещи (типы вещей), несомненно, существуют также и вещи, которые остаются теми же самыми в ходе изменения — критерии тождества, связываемые с понятиями этих (типов) вещей, обеспечивают то, что мы признаем представителей этих (типов) вещей как те же самые. Но, конечно же, это не раскрывает источника и не является обоснованием языка, с помощью которого мы говорим об изменении. Позитивист пре-

доставляет нам только описание, но не объяснение этого языка.

Аналогичной критике можно подвергнуть концепцию изменения, недавно предложенную Виггинсом, хотя он и стремится обойтись без критериев тождества. Вдохновленный идеями Аристотеля, Хилари Патнэма и Сола Крипке Виггинс предлагает опираться не на критерии тождества, а на то, что позволяет нам отвечать на вопросы “что есть x ?” (где x обозначает отдельную вещь): “Аристотелевский вопрос “что есть это?” предоставляет нам то, что одновременно меньше и больше простого приведения свидетельства в пользу или против тождества [т.е. того, что делают критерии тождества]. Он предоставляет меньше, так как не может дать вообще никаких непосредственных критериев. Он предоставляет больше, так как дает то, что организует критерий или свидетельство и к чему стремился каждый, кто искал критерий тождества в том смысле, в каком это делал Фреге”²⁶. Эти вопросы “что есть x ?” позволяют решить, какой видовой предикат применяется к вещи, и Виггинс отвечает на них в духе идей Патнэма и Крипке: “ x есть f (лошадь, кипарис, апельсин, майская муха ...), если и только если при наличии хороших экземпляров данного вида (того, другого, третьего конкретного f) наиболее полное, истинное и объясняющее теоретическое описание вида, представленного этими экземплярами, позволило бы объединить x в одну группу с этими экземплярами.”²⁷ Но вопросы “что есть x ?” могут иметь смысл только тогда, когда то, что обозначается с помощью “ x ”, можно отделить от его окружения с достаточной точностью. Позволяют нам это сделать типовые понятия (например видовые предикаты). Поэтому мы можем только тогда ответить на эти вопросы, когда нам заранее даны типовые понятия (эти типовые понятия могут быть более общими, чем наиболее точное описание вещи)²⁸. Но раз типовые понятия принима-

ются как нечто данное, то и тождество при изменении также принимается как нечто данное, поскольку функция этих понятий отчасти состоит в том, чтобы мы были способны признавать вещь одной и той же в процессе ее изменения. Здесь просматривается тот же порочный круг, что и в предыдущих абзацах.

В итоге, нам остается рассмотреть нарративистский подход к определению понятия “объект изменения”. Как мы установили, нарративизм предложил понятие “нарративная субстанция” для выражения интерпретаций прошлого. Эти интерпретации (фрагментов) прошлого являются, грубо говоря, интерпретациями истории того, что существовало в прошлом. Или, если мы предпочитаем выражаться более осторожно, в нарративе вводятся определенные термины (такие, как “Германия”, “Людовик XIV”, “Ренессанс”, “упадок Церкви”), которым явно или неявно предписывается широкий набор атрибутов (такие атрибуты всегда являются высказываниями, а не тем, что стоит на месте предиката в высказываниях). Эти термины, согласно нарративистской терминологии, выражают “нарративные субстанции”, и поэтому, видимо, вполне естественно ожидать, что нарративизм будет отстаивать “нарративные субстанции” в качестве кандидатов на роль “объектов изменения”.

Что можно сказать о *Nss* как об “объектах изменения”? Подобно позитивизму, нарративизм не совершает ошибки отнесения “объектов изменения” к самой (исторической) реальности; в отличие от историзма, он не постулирует некоего таинственного свойства вещей прошлого, заставляющего их в надлежащее время принимать ту форму, которую они действительно тогда имели. Но нарративизм гораздо более последователен в своем предпочтении языкового уровня, чем позитивизм. Как мы уже установили, позитивизм имеет сильную тенденцию принимать за данность то, как мы членим наш мир на отдельные вещи; для него это не требует объяснения с позиции, предшествующей нашему действительному упорядочению мира. Эта тенденция может очень легко склонить нас к предположению, что отдельные вещи, признаваемые нами в реальности, “реально существуют” и

См.: A.J. Ayer, *What is What*, *London Review of Books*, 22 January—4 February 1981, p. 7.

²⁶ Wiggins; p. 53.

²⁷ Wiggins; pp. 78—80.

²⁸ Айер также критиковал Виггинса за его склонность принимать без объяснений типовые понятия: “Предположение Виггинса о том, что условия тождества существующего объекта каким-то образом доступны нам еще до его появления, является необоснованной уступкой учению о врожденных идеях”.

существовали даже до нашей концептуализации реальности. В этом, по сути, состоит важнейшая ошибка в позитивистской аргументации.

Решающее преимущество нарративистского подхода перед позитивистским заключается в том, что для первого не требуется, чтобы субъект в высказываниях, составляющих некоторую Ns , обозначал одну и ту же отдельную вещь. Нарративизм не устанавливает никаких критериев в отношении того, что должен обозначать субъект в высказываниях, содержащихся в Ns , и в обычном нарративе эти субъекты всегда сильно варьируют от высказывания к высказыванию. Это обстоятельство позволяет нарративисту, в отличие от позитивиста, объяснить тождество при изменении и во времени, а не просто предложить теорию, которая лишь отражает наши привычные способы описания этого тождества.

Как тотчас станет ясно, Nss , будучи совокупностями высказываний, удовлетворяют даже наиболее строгим нашим требованиям к приемлемым "объектам изменения". Ибо совокупности высказываний, несомненно, позволяют описывать изменение без каких-либо предположений об а) изменении и о б) тождестве при изменении. Даже когда они действительно описывают изменение, они не предполагают изменения, поскольку в них перечисляются положения дел в исторической реальности и необязательно указываются взаимосвязи между этими положениями дел, характерные для изменения. Если же они выражают изменение, то эта способность достаточно необычна для рассматриваемого множества высказываний и такие множества не обладают ею с необходимостью. Не предполагают подобные множества высказываний и тождества при изменении. Если же они действительно описывают изменение одной и той же вещи во времени, соответствующие высказывания всегда можно переписать следующим образом: "некоторая вещь есть p в момент времени t_1 ", "некоторая вещь есть q в момент времени t_2 " и т.д. Таким образом, здесь не предполагается, что субъект во всех этих высказываниях должен обозначать одну и ту же вещь. В итоге, способностью описывать изменение во времени обладают особые множества высказываний, причем обладают не с необходимостью, а случайно и если уж они действительно ею обладают, то мы можем говорить об изменении.

Следовательно, изменение соответствует особой способности некоторых Nss (т.е. множеств высказываний).

Когда множества высказываний обладают этой случайной способностью описывать изменение вещи во времени? В главе VI, раздел (2), мы увидим, что могут быть выделены интенциональные и экстенциональные типы Nss . Однако для нашего настоящего обсуждения имеет значение только интенциональная типизация. Она означает существование особого типа Nss , для которых является общим точно определенное множество высказываний. Интенциональная типизация равносильна тому утверждению, что реальность должна содержать типы вещей, каждая из которых есть a_1, a_2, \dots, a_n . Таким образом, выделяются типы вещей (собак, стульев и т.д.) как имеющие определенные общие свойства. Возможность различения интенциональных типов Nss есть случайный факт относительно некоторых Nss , который зависит от того, что представляет собой реальность, а также зависит от прагматических соображений, побуждающих нас признавать одни интенциональные типы Nss и не признавать другие. Предположим, у нас есть интенциональный тип нарративных субстанций T , обозначающий класс вещей t_1, t_2 и т.д. В таком случае мы можем сказать, что необходимым и достаточным условием для того, чтобы последовательность высказываний была описанием исторического изменения t_1, t_2 и т.д., является то, что эта последовательность должна быть Ns интенционального типа T . Это необходимое условие, так как, если множество высказываний, составляющих Ns , не принадлежит к интенциональному типу T , то оно не может быть описанием исторического изменения вещи t . Это достаточное условие, так как, если множество высказываний, составляющих Ns , принадлежит к интенциональному типу T , то оно является описанием исторического изменения вещи t . Следовательно, нарративистский подход, определяющий "объекты изменения" как те Nss , которые принадлежат к интенциональному типу, дает нам удовлетворительную интерпретацию понятия "объект изменения", позволяющую избежать и метафизики историзма и порочного круга в аргументации позитивизма. Благодаря Nss мы можем дать философское объяснение описанию изменения, а) не используя в качестве догмы учение об энтелехиях, присутствующих во внеязыко-

вой реальности, и b) не предполагая изменения заранее. Что касается последнего утверждения, то порочного круга удается избежать благодаря признанию того, что необходимым условием приемлемого описания изменения является *объяснение*, а не просто *допущение* существования типов вещей и их видовых понятий. Это условие, оставленное без внимания позитивистами, выполняется, благодаря тому, что "объекты изменения" не ограничиваются (типовыми) понятиями типов вещей (или критериями тождества, связываемыми с этими понятиями): при нашем подходе осуществляется интенциональная типизация *целых Nss*, а не тех их частей, которые выражают типовые понятия. Нельзя объяснить изменение, не объясняя, как происходит выделение типов вещей.

Тем не менее, нарративистский подход во многом близок к историзму: он не что иное, как перенесение энтелехии или "historische Idee", которые, согласно историзму, относятся к самой исторической реальности, на языковой уровень нарративной репрезентации прошлого. Нарративисты согласны с позитивистами в том, что "объекты изменения" являются языковыми сущностями, но они расходятся с ними в трактовке природы этих объектов. При позитивистском подходе принимается как данность тот факт, что мир разделен на отдельные вещи, сохраняющиеся при изменении и во времени. Нарративисты же в качестве отправного пункта берут описание простой последовательности положений дел, осуществленное с помощью *Nss*, и воздерживаются от каких-либо допущений относительно тождества вещей. Следовательно, они способны объяснить, как в некоторых совершенно особых случаях распознаются типы вещей, сохраняющихся при изменении и во времени (т.е., когда можно обнаружить интенциональные типы *Nss*).

Из этого рассуждения следует один важный вывод. Пока мы имеем дело с *целыми Nss*, для которых никакие интенциональные типы не выявлены, изменение остается, так сказать, "закрытым" в *Nss*. Это имеет место в случае нарративов, посвященных таким неповторяющимся темам, как "Ренессанс" или "промышленная революция". История Ренессанса с 1400 по 1550 гг. не выделяет в прошлом особого объекта, эволюцию которого можно было бы проследить. В *Nss* по этой теме мы имеем "процесс изменения" без "изменяющейся вещи".

Таким образом, могут существовать "объекты изменения", даже когда в самом прошлом нельзя выделить никаких изменяющихся вещей. Этот кажущийся парадокс исчезнет, как только мы осознали, что *Nss* (и "объекты изменения") относятся к более фундаментальной логической категории, нежели понятия, обозначающие типы вещей, и что так и должно быть, поскольку иначе "объекты изменения" не позволяли бы объяснить возможность описания изменения, происходящего во времени с конкретными представителями типов вещей.

(7) *Фундаментальное положение нарративной логики.* Мы можем указать *Nss* с помощью следующих терминов: "Людовик XIV h_1 , na_{11} ", "Ренессанс h_2 ", "появление новой социальной элиты в XIX веке h_3 " и т.д. Индексы "... h_1 ", "... h_2 " и "... h_3 " показывают, что мы имеем дело с *Nss*, созданными историками h_1 , h_2 и h_3 , или, если предпочтительнее другое толкование, мы имеем дело с *Nss*, созданными в ходе исторических исследований h_1 , h_2 , h_3 . В соответствии с тем, что было сказано в разделе (5), я хотел бы повторить, что такие индексы никогда не могут индивидуализировать отдельные *Nss*: в отличие от обычных вещей, с *Nss* связано то неудобство, что их можно индивидуализировать только посредством полного перечисления их свойств. Это может показаться совершенно невероятным: пусть *данное* историческое исследование содержит одну конкретную *Ns*, так почему же нельзя индивидуализировать эту *Ns*, сказав, что именно она была предложена в *данном* историческом исследовании? Однако предположим, что у нас есть бирки от определенного количества сумок, и на каждой бирке указано имя владельца. Служащий аэропорта забыл прикрепить дубликаты бирок на сумки. Вы уверены, что каждой бирке соответствует одна конкретная сумка, но вы не знаете какая. Вы сможете выяснить это, только если позовете пассажиров, имена которых указаны на бирках, и позволите им разобрать свои сумки. Аналогичным образом и "... h_1 ", "... h_2 " и "... h_3 " подсказывают, как приступить к индивидуализации *Nss* и как их следует распознавать, но они не индивидуализируют сами эти *Nss*. Следующая аналогия может послужить еще одной иллюстрацией этому. На ученом собрании мы нечаянно подслушали разговор историков, в

котором часто упоминается имя "Ранке". Следующий день мы проводим в раздумьях о том, кем бы мог быть этот Ранке. Мы спрашиваем об этом соседа, любителя мистификаций, и тот отвечает: "Посмотрите на стр. 1162 восемнадцатого тома Британской энциклопедии 1973 года издания". Разумеется, в отличие от того, что мы найдем на указанной странице, данную соседом инструкцию нельзя считать тем, что идентифицирует Ранке или является его идентифицирующей дескрипцией: будучи лишь указанием совершить определенное действие, его ответ даже не имеет языковой формы, которая требуется для идентификации или идентифицирующего описания. Точно так же индексы "... h₁", "... h₂" и "... h₃" подсказывают или указывают, как приступить к индивидуализации отдельной *Ns*, но сами ее индивидуализируют.

В случае Людовика XIV я добавил индекс "..._{narr}", который был опущен в других названиях *Nss*. Причина этой асимметрии заключается в том, что термин "Людовик XIV" может одновременно обозначать нарративный субъект и нарративную субстанцию: этот термин может быть субъектом в высказываниях об историческом Людовике XIV и может быть выражением интерпретации историком жизни французского короля. Конечно, мы не должны смешивать эти два варианта употребления термина "Людовик XIV", иначе может сложиться впечатление, будто существует столько же исторических Людовиков XIV, сколько есть описаний его жизни. Кроме того, к несчастью для многих его современников Людовик XIV определенно не был последовательностью высказываний. В случае "Ренессанса" и "появления новой социальной элиты в XIX веке" индексы "..._{narr}" были опущены, так как эти термины имеют только нарративное, но не референциальное применение. Но если кто-то сомневается в не-референциальном характере этих терминов, он может добавить индекс "..._{narr}"; в следующей главе я постараюсь рассеять эти сомнения.

Итак, если нарратив содержит имена, которые следует читать как "Людовик XIV_{h₁,narr}", "Ренессанс_{h₂,(narr)}", или если в нарративе созданы *Nss*, которым можно было бы дать та-

кие имена, поведение этих имен сравнимо с поведением "черных дыр" в астрофизике. Все, что имеет нарративную значимость, жадно поглощается их значением. Точно так же как черные дыры поглощают материю нашей вселенной и превращают ее в нечто такое, что в некотором отношении уже больше не принадлежит ей, так и *Nss* "пожирают" высказывания из сентенциального мира с тем, чтобы сформировать логическую сущность в другом, нарративистском мире. В некотором смысле *Nss* являются вещами, но это вещи, которые живут не своей жизнью: они паразитируют на высказываниях об (исторической) реальности. Однако, в отличие от нормальных вещей, существование которых проходит за рамками самого языка, вещи, именуемые такими терминами, как "Людовик XIV_{h₁,narr}" и т.д., обязаны своим существованием только нарративному тексту, в котором они играют свою роль. Как черные дыры в астрофизике, *Nss* (но не их имена) имеют особенный самореференциальный характер: все поглощаемые ими высказывания указывают в их сторону, в то время как сами *Nss* (но не их имена!) не указывают ни на что за их пределами. Нельзя их использовать и для выражения истинных высказываний о других вещах — это настоящие дыры в ткани языка. Развивая эту астрофизическую метафору, можно сказать, что *Nss* отличаются от нормальных объектов, структура которых определяется тем, что от них исходит, поскольку *Nss* подобны черным дырам, ибо обязаны своей формой или структурой тому, что они поглощают. *Nss* не лежат перед нами готовые к осмотру с какой бы то ни было точки зрения; мы не можем проникнуть в суть *Nss* до тех пор, пока не позволили им захватить нас. Если кто-то видит только часть какой-нибудь *Ns*, он, на самом деле, видит другую *Ns*.

Nss имеют свою онтологическую привязку не в вещах, существующих отдельно от них во внеязыковой реальности (как в случае компонентов высказывания), но исключительно в себе самих. Способность *Nss* поглощать высказывания нарратива объясняет также кумулятивный характер нарративного дискурса: *Nss* постоянно накапливают

содержание, но делают это совсем не так, как используется язык в дедукции или аргументации. Заключение в дедуктивном рассуждении обычно содержит меньше, чем его посылки, и никогда не больше; нарративный дискурс, напротив, словно рак, пятится назад и прибавляет к своему первоначальному запасу все высказывания, которые встречает на своем пути, преобразуя их в высказывания о *Nss*. Как только множество высказываний становится настолько сложным, что его содержание уже нельзя свести к сумме значений его отдельных высказываний (см. главу III, раздел (2), в тексте возникают эти замечательные языковые черные дыры; появляются *Nss* и начинает действовать логические (нарративистские) правила второго вида. Термин "нарративный идеализм" снова весьма удачно передает автономность *Nss* и тот факт, что правила, которым они подчиняются, присущи только им.

Такой термин, как "Людвик XIV_{h, narг}" обозначает *Ns*: эта *Ns* состоит из высказываний. Эти высказывания, как мы уже говорили, могут рассматриваться как свойства *Ns*, именуемой "Людвик XIV_{h, narг}". По отношению к *Ns* эти свойства во всех важных аспектах ведут себя так, как обычно ведут себя свойства. Несколько *Nss* могут иметь одни и те же общие свойства, и, подобно обычным вещам, *Nss* тоже представляют собой не более, чем сумму их свойств. Тем не менее, отношение *Nss* к своим свойствам имеет логическую особенность, характерную для нарративных вещей. Предположим, мы имеем *Ns*, именуемую "*N_{h, narг}*", которая содержит высказывания "*p*", "*q*", "*r*" и т.д. Тогда мы можем сказать, что "*N_{h, narг}* есть *p*", "*N_{h, narг}* есть *q*", "*N_{h, narг}* есть *r*" и т.д. Когда мы имеем дело с обычными вещами, такими как столы, магнитные поля и т.д., высказывания вида "*A* есть *p*" (где "*A*" обозначает обычную вещь подобного рода) чаще всего, хотя и не всегда, являются случайными истинами. Какому-то конкретному столу необязательно иметь определенный цвет или высоту. Для обычных высказываний о положении дел в (исторической) реальности нетипично, чтобы предикат был включен в значение субъекта.

Но в случае *Nss* ситуация иная. Все высказывания вида "*N_{h, narг}* есть *p*", "*N_{h, narг}* есть *q*", "*N_{h, narг}* есть *r*", являются аналитически истинными, поскольку невозможно, чтобы *Ns* имела свойства, отличные от тех, которые она действительно имеет, и оставалась той же самой *Ns*. Нельзя сформулировать случайно истинных высказываний о *Nss*: все атрибуты, которые могут быть предсказаны *Nss*, заключаются в значении субъекта соответствующих высказываний. Используя терминологию Лейбница, мы можем выразить этот факт следующим образом: "полное понятие" *Ns* содержит все свои предикаты с необходимостью. С этой точки зрения, *Nss* существенно отличаются от обычных вещей; как только они теряют или приобретают некоторое свойство, они перестают быть тем, чем были до этого. В большинстве случаев обычные вещи индифферентны к некоторым из их свойств, в то время как *Nss* немедленно подлаживаются под свои свойства. Точно так же как слово не может не состоять из букв, из которых оно образовано, так и *Ns* может содержать только те высказывания, которые она действительно содержит. Тезис о том, что все высказывания, выражающие свойства *Nss*, являются аналитическими, есть, пожалуй, наиболее фундаментальная теорема нарративной логики.

Этот тезис нуждается в некотором уточнении. Как следует понимать то, что все свойства *Ns* можно аналитически вывести из ее "полного понятия"? Это означает, прежде всего, что нарративная логика, в силу ее исключительного интереса к отношению между высказываниями и *Nss*, не содержит ни критериев, ни даже малейших намеков на то, как следует различать фактическую истинность и ложность. С этой точки зрения, нет никакой разницы между нарративной и формальной логикой. Однако в отличие от большинства разделов формальной логики, нарративная логика осмеливается идти еще дальше в этом направлении. Например, хотя *Ns* не может одновременно содержать и не содержать "*p*", нарративная логика не запрещает, чтобы *Ns* содержала и "*p*", и "не-*p*". В противоположность пропозициональной логике для нарративной логики не составляет проблемы признание истинности как "*p*", так и "не-*p*", где "*p*" является высказыванием об историческом положении дел. Мне бы хотелось пояснить это, вероятно, ошеломляющее утверждение. Если *Ns*, обозна-

ченная как " N_1 ", содержит " p ", то высказывание " N_1 не содержит p ", несомненно, находится в противоречии с этим положением, но этому положению не противоречит высказывание " N_1 содержит не- p "; ибо последнее высказывание, в свою очередь, противоречит высказыванию " N_1 не содержит не- p ", но не высказыванию " N_1 содержит p ". N_1 фактически может содержать и " p ", и "не- p " — нарративная логика не имеет ничего против такой Ns . Конечно, нам следует избегать таких трюков при написании истории, но мы должны знать, что это формальная, а не нарративная логика запрещает нам в одном и том же нарративе утверждать одновременно " p " и "не- p ".

Тот факт, что нарративная логика изучает отношение между высказываниями и Nss , подсказывает нам еще один пункт, который мы можем добавить в наш список различий между историографией и точными науками. Точные науки распинаяют реальность на кресте, образованном из субъекта и предиката: они разрывают реальность на две части и задаются вопросом, какие субъекты и предикаты сочетаются друг с другом. Конечно, задача исторического исследования тоже состоит в том, чтобы формулировать истинные высказывания о прошлом. Но нарративная историография находит более тонкие смысловые оттенки в репрезентируемой исторической реальности, а не просто стремится к тому, чтобы нужный предикат был связан с нужным субъектом. Нарративная историография должна дать ответ не только на вопрос: "Является ли высказывание истинным?", но также и на вопрос: "Следует ли это высказывание приводить в нарративе о S ?" Приоритет второго вопроса над первым был отмечен Вейнгартнером. По его мнению, когда, например, пишется история музыки или науки, очень редко отдельные имена и факты упоминаются с целью познакомить читателя с чем-то таким, чего он не знал ранее; наоборот, упоминание историком этих имен и фактов следует рассматривать скорее "как способ идентификации объекта, представляющего реальный интерес для историка [т.е. как конкретный тезис о прошлом. — Ф.А.]; они [т.е. отдельные имена или факты. — Ф.А.] редко привлекаются ради них самих". Во многих случаях описываемые историком положения дел "берутся просто как они есть; точно так же можно описывать особенности ландшафта, не

касаясь тех сил, которые ответственны за его существование" (исследование этих сил соответствует ненарративному, научному подходу к реальности)". Вы могли бы сказать, что, с нарративистской точки зрения, факты, упоминаемые в нарративе, следует рассматривать лишь как "иллюстрации" (к некоторому историографическому тезису); высказывания, описывающие эти факты, просто вносят вклад в конкретное представление о прошлом выраженное в определенных Nss , не будучи самим этим представлением. В отрыве от нарратива ценность этих высказываний ничтожно мала. Факты и высказывания, по сути, служат средствами, позволяющими предложить конкретную интерпретацию прошлого, но их всегда следует отделять от самой этой интерпретации.

Это позволяет нам понять, почему такие книги, как "Возвышение христианской Европы" Трево-Ропера или "Социальная интерпретация Французской революции" Коббана, столь интересуют и вдохновляют историков. Почти все факты, приведенные в этих книгах, известны историкам еще со студенческих лет, но "иллюстративное" применение этих хорошо известных фактов настолько нетривиально, что становятся возможными новые и плодотворные прочтения прошлого. То же самое, фактически, можно сказать и о большинстве наших повседневных разговоров, в которых число сообщаемых фактов обычно очень невелико. Почти на девяносто процентов человеческое общение может состоять из бесконечных вариаций на давно известные участникам разговора темы. Но это не означает, что человеческое общение является бесполезным на девяносто процентов. Благодаря возникающим в разговоре вариациям, хорошо известные факты получают новое "иллюстративное" применение, которое придает ценность участию в разговоре. Очень часто факты упоминаются не для того, чтобы сообщить соответствующую информацию, но для того чтобы сформировать точку зрения для восприятия реальности.

³ Weingartner; p. 46.

Глава VI. Природа нарративных субстанций

В предыдущей главе было введено понятие “нарративная субстанция”, и была предпринята попытка продемонстрировать как непротиворечивость, так и полезность этой “новой” логической сущности. Мы выяснили, что *Nss* весьма заметно отличаются от вещей, которые действительно содержатся или могут содержаться в нашем мире, — отличается тем, что требуют для своей индивидуализации полного перечня всех своих свойств. Я подчеркиваю, что даже если мы допустим “возможные миры” в современном смысле этого термина (например, как их понимает Крипке)¹, идентификация в этих других возможных мирах была бы подобна той, которая осуществляется в нашем мире, и, таким образом, она отличалась бы от индивидуализации *Nss*, содержащихся в нарративистском мире (о понятии “нарративистский мир” см. с. 170). Поэтому индивидуализация в нарративистском мире не лишается своего особого характера, даже если мы сравниваем этот мир с суммой всех возможных миров. Таким образом, мы не отделаемся от трудностей с индивидуализацией *Nss*, если будем утверждать, что они происходят из-за неуместной и ошибочной аналогии между а) всеми возможными *Nss* и б) действительно существующими вещами в нашем мире.

Как мы уже видели, для индивидуализации *Nss* необходимо истолковать соответствующие высказывания в нарративе *p*, *q*, *r* и т.д. как “ N_1 есть *p*”, “ N_1 есть *q*”, “ N_1 есть *r*” и т.д. С нарративистской точки зрения эти высказывания являются высказываниями о *Nss*. В первом разделе этой главы я буду обсуждать природу этих высказываний о *Nss*, которые включают в себе нарративное значение нарратива. В других

¹ См. Крипке; р. 267: “Возможный мир — это не отдаленная область, в которую мы случайно попадаем или которую наблюдаем через телескоп. (...) Возможный мир задается условиями описания, которые мы с ним связываем. (...) “Возможные миры” оговариваются условиями, а не открываются с помощью мощных телескопов”.

разделах будет тщательно исследован логический характер самих *Nss*.

(1) *Лейбниц и нарративистская философия*. Многие историки подчеркивали значение Лейбница в качестве предшественника историзма (например, Майнеке, Кассирер и Рейл)². В этом разделе я покажу сходство между лейбницевской логикой и философией историзма, которая отстаивается в этой книге. Прежде всего, можно с большей легкостью достичь понимания природы высказываний о *Nss*, если признать, что лейбницевская теория суждений замечательно подходит для их описания. Центральным положением Лейбница является так называемый “принцип включенности предиката в понятие” (“мой величайший принцип”, как признавал сам Лейбниц), состоящий в том, что в истинных суждениях предикат всегда включен в понятие (“полное понятие”) субъекта суждения. В случае логических или математических суждений (“*vérités de raison*”), которые часто считаются тавтологиями, такое утверждение кажется разумным. Но как только мы обращаемся к высказываниям, выражающим положения дел в нашем мире (“*vérités de fait*”), величайший принцип Лейбница выглядит значительно менее убедитель-

² Ср. Майнеке (р. 30): “in ihr [т.е. в лейбницевском понятии монады. — Ф.А.] steckte ein epochenmachender und entwicklungsfähiger, über alles naturrechtliche Denken hinausführender Keim, der später im Historismus aufgehen sollte: die Idee der eigenartigen, spontan nach eigenem Gesetze wirkenden und sich entwickelnden Individualität, die noch dabei die Abwandlung einer universalen Gesetzlichkeit ist”. [“в нем [т.е. в лейбницевском понятии монады. — Ф.А.] был заключен зародыш эпохального значения, способный к развитию и выходу за пределы всего естественно-правового мышления, который позднее должен был прорасти в историзме: это идея своеобразной, действующей спонтанно, согласно собственному закону, и саморазвивающейся индивидуальности, которая, к тому же, является вариацией некоторой всеобщей закономерности”.] Кассирер пишет (р. 229): “Лейбниц основывает природу монады на ее идентичности, но включает в эту идентичность идею непрерывности. Идентичность и непрерывность составляют основу тотальности монады, и они конституируют ее полноту и характерную целостность. Эта фундаментальная концепция лейбницевской метафизики означала новый и перспективный шаг в понимании и завоевании исторического мира”. См. также: Reill; pp. 38—39.

³ Истины разума (франц.). — Прим. ред.

⁴ Истины факта (франц.). — Прим. ред.

ным. Так, Арно в письме к Лейбницу возражая, что некто может совершить (или не совершить) путешествие в Париж, не переставая быть тем человеком, каким он является. Следовательно, предикат “совершил путешествие, совершает или совершит путешествие в Париж” не может быть частью значения субъекта в суждениях об этом человеке³. Лейбниц был согласен с тем, что здесь есть трудность, но именно поэтому он и предложил различие между “*vérités de raison*” и “*vérités de fait*”. Вместе с тем, Лейбниц рассуждал следующим образом. Бог решил создать лучший из возможных миров; кроме того, Бог обладает громадным количеством знаний, необходимых для воплощения этого идеала. Поэтому Он мог точно “вычислить”, каким должно быть каждое отдельное существо вплоть до самых незначительных его подробностей (например, совершит ли оно путешествие в Париж или нет), если лучшему из миров суждено осуществиться. Следовательно, если человек имеет в своем распоряжении такое же неограниченное знание, каким обладает Бог, и осознает тот факт, что Бог создал лучший из всех возможных миров, то он может заново “продумать” ход мыслей Бога и, таким образом, установить, что частью “полного” понятия “Арно” является то, совершит он путешествие в Париж или нет. Так что в результате даже “*vérités de fait*” являются аналитическими истинами, в которых предикат является частью значения “полного понятия”, используемого в качестве субъекта.

Мы можем спокойно пренебречь теологическими спекуляциями Лейбница и утверждать, что его теория суждений является фундаментальной теоремой о высказываниях, которые имеют *Nss* в качестве своих субъектов. Давайте сначала договоримся относительно обозначений: “*N* (“*N*” обозначает некоторую *Ns*) не есть *p*” будет эквивалентно “*N* не содержит *p*”; в то время как “*N* есть (не-*p*)” будет эквивалентно “*N* содержит не-*p*”. Стоит отметить, что высказывания вида “*N* не есть *p*” (но не высказывания вида “*N* есть (не-*p*)”) подобны высказываниям об “обычных” вещах, таким как “*a* не есть *ø*”: в обоих случаях утверждается, что определенная вещь не обладает некоторым свойством, но не утверждается, что она обладает “отрицательным” свойством (вроде “не-*p*” или “не-*ø*”). В отно-

шении наполняющих наш мир “обычных” вещей (по большей части) верно, что оба высказывания “*x* есть *ø*” и “*x* не есть *ø*” совместимы с тем, что *x* является той вещью, какой он является. Если, например, мы отвергнем теологические спекуляции Лейбница, мы можем согласиться с Арно, что его идентичность не затрагивается тем, поедет он в Париж или нет. В нашем мире вещи могут изменяться коренным образом, не переставая при этом быть тем, чем они являются. Однако ситуация, которую подразумевал Лейбниц, действительно имеет место, когда речь идет о *Nss*. Поскольку, если у нас есть *Ns* “*N₁*”, то полное понятие *N₁* либо содержит *p*, либо не содержит *p*. Поэтому идентичность *N₁* действительно затрагивается каждым высказыванием относительно ее свойств. Причиной тому является, говоря словами Лейбница, то, что в случае *Ns* все ее свойства включены в понятие субъекта и могут быть аналитически из него выведены. Следовательно, мы можем сделать вывод, что из двух противоположных высказываний о некоторой *Ns* одно всегда должно быть истинно, другое же является самопротиворечивым.

Из этого лейбницевого правила по поводу высказываний о *Nss* можно вывести положение, которое я предлагаю называть “тезисом о гармоничном строении нарративистского мира”. Но прежде чем подробнее излагать этот тезис я должен дать некоторые пояснения относительно отрицательных высказываний о *Nss*, например “*N* не есть *q*” (1). Высказывание (1) можно прочесть либо как “неверно, что *N* есть *q*” (2), либо как “верно, что *N* не есть *q*” (3). Ясно, что и в (1) и в (2) субъект высказывания обозначает *Ns*, не содержащую *q*; в противном случае эти высказывания являются самопротиворечивыми. Эта ситуация немного усложняется, когда высказывание (1) читается как метавысказывание. Тогда оно может выражать либо ложность высказывания “*N* есть *q*” (4), либо истинность высказывания “*N* не есть *q*” (5). В отличие от (2) и (3), высказывания (4) и (5) имеют разные субъекты. Субъект в высказывании (4) обозначает *Ns*, содержащую *q*, а субъект в (5) обозначает *Ns*, не содержащую *q*. Можно заметить, что (4) самопротиворечиво, поскольку оно отрицает аналитическую истину, в то время как (5) утверждает аналитическую истину. Поэтому истолкование (4) высказывания (1), в отличие от истолкования (5), должно быть отвергнуто.

³ Обсуждение Лейбницем этого возражения см.: Leibniz (2); pp. 334 ff..

Мы должны сделать вывод, что при любом допустимом истолковании высказывания (1) его субъект отсылает к Ns , не содержащей q .

Рассмотрим теперь следующие три высказывания о Nss : " N есть p " (6), " N есть q " (7) и " N не есть q " (1). Помня то, что было сказано в предыдущем абзаце, а также то, что Ns либо есть q , либо не есть q , мы можем утверждать, что либо высказывания (6) и (7), либо высказывания (6) и (1) сочетаются как высказывания об одном и том же субъекте. Из этого можно сделать два вывода. Первый состоит в том, что невозможно придумать взаимно несовместимые высказывания о вещах, содержащихся в нарративистском мире: любые два высказывания, которые *выглядят* таковыми, описывают разные Nss и, следовательно, являются полностью совместимыми. Если бы мы попытались здесь возразить, указав на высказывания " N есть q " и " N не есть q ", мы бы столкнулись с тем, что одно из этих высказываний является самопротиворечивым, а другое — аналитически истинным. Но о таких высказываниях уже нельзя сказать, что они являются несовместимыми, поскольку одно из них никогда не может быть истинным, а как мы убедились в главе III, раздел (4), необходимое условие несовместимости двух высказываний состоит в том, чтобы оба они *могли* быть истинными (или неистинными). Поскольку все осмысленные высказывания, которые можно сформулировать о вещах в нарративистском мире, совместимы друг с другом и находятся в полной гармонии, у нас есть все основания говорить о "гармоничном строении нарративистского мира". Гармония безраздельно господствует в этом мире.

Другой вывод состоит в следующем. Когда мы говорим об обычных вещах в нашем мире, допустима неопределенность, которая является существенным условием функционирования естественных наук, но которая отсутствует при обсуждении Nss . Когда мы говорим, что 1) горит кусочек бумаги, это *a priori* совместимо с двумя высказываниями: 2) бумага окисляется и 3) бумага не окисляется. Благодаря этой совместимости *a priori* наука может делать свои открытия и устанавливать *a posteriori*, какие два высказывания из этих трех сочетаются друг с другом. Таким образом, естественные науки, по сути, возможны в силу "несвязанности" таких высказыва-

ний, как 1), с одной стороны, и таких, как 2) и 3), с другой. Однако, как мы успели заметить, подобной "несвязанности" не существует в нарративистском мире. Мы уверены в том, что либо " N есть p " и " N есть q ", либо " N есть p " и " N не есть q " сочетаются друг с другом как высказывания об одной и той же Ns . Но никаких научных открытий *a posteriori* здесь сделать нельзя, поскольку полное понятие N *a priori* определяет, какая из этих двух возможностей имеет место. Следовательно, поскольку историческая и социальная реальность описывается с помощью Nss (а мне представляется несомненным, что даже социальные науки серьезно заражены Nss — ср. такие понятия, как "власть", "класс", "капиталистическое общество" или "социальная структура"), здесь не следует ожидать научных открытий, которые мы встречаем в точных науках. Я не колеблясь признаю, что при употреблении таких терминов часто *кажется*, будто можно "наблюдать" или "обнаруживать" некоторые "регулярности" в социальной реальности. Но нам никогда не следует забывать о том, в чем состоит природа и источник таких регулярностей: эти регулярности могут быть обнаружены не в прошлом и не в самой социальной реальности, а только в Nss (например, все N_i имеют общие свойства $p_a \dots p_n$). Можно было бы возразить, что между сходствами в действительной реальности и сходствами в Nss должно быть необходимое соответствие. Но в следующем разделе мы установим, что сходства между Nss указывают либо на то, что некоторая тема (например "индустриализация Германии" или "борьба за Африку") обсуждается в нескольких нарративах, либо на то, что описываются истории определенных *разновидностей* вещей (например монастырей или городов), хотя ни в том, ни в другом случае нельзя говорить ни о каких соответствующих регулярностях в отношении свойств этих тем или вещей. Короче говоря, сходство между Nss соответствует сходству между субъектами, но не между свойствами субъектов, исключая *те* свойства, благодаря которым они являются теми же самыми субъектами — но именно последнее и интересует науку. Иными словами, сходства между Nss отражают только сходства в нашей "нарративизации" с помощью полных высказываний, но не отражают никаких сходств между вещами в мире, открываемых *a posteriori* с помощью науки. И это остается верным в той мере, в какой

общие знания, получаемые в результате исследований в социальных науках, выражаются с помощью *Nss*. Когда социально-историческая реальность описывается с помощью *Nss*, "открытые" регулярности всегда являются истинами *de dicto*, а не *de re*. Хотя, на первый взгляд кажется, что эти истины являются апостериорными, они всегда являются необходимыми истинами. В этом состоит нарративистский аналог идее Лейбница о том, что для всякой истины есть доказательство, выводимое *a priori* из ее терминов.

Если все высказывания о *Nss* являются совместимыми, то мы могли бы тогда спросить, не могут ли сами *Nss* когда-либо быть несовместимыми. Сразу становится ясно, что только редукционист может говорить о несовместимых *Nss*: согласно его взглядам высказывание " N_1 есть p " несовместимо с высказыванием " N_2 есть (не- p)", поскольку p и не- p несовместимы. Как следствие, можно утверждать, что N_1 и N_2 являются несовместимыми *Nss*. Но когда для нас предпочтительнее нарративистская точка зрения, мы не можем говорить о несовместимости в такой ситуации; как мы видели в предыдущей главе, можно даже представить себе нарративную субстанцию N_1 , которая в "нарративном плане" совершенно в порядке, хотя оба высказывания " N_1 есть p " и " N есть (не- p)" являются истинными. Так что нарративист никогда не может говорить о несовместимости *Nss*. Этого и следовало ожидать, поскольку, с нарративистской точки зрения, *Ns* — это вещь, а вещи никогда не являются несовместимыми друг с другом: у нас нет никаких "отрицательных" вещей. Это, несомненно, добавляет еще один аспект к нашему тезису о гармоничном строении нарративистского мира.

Необходимо подчеркнуть, что данный тезис не означает, что в историографии мы не могли бы привести оснований в пользу предпочтительности одного анализа прошлого перед другим. Но эта проблема относится уже к тому, что можно было бы назвать областью нарративной прагматики (т.е. относится к применению правил нарративной логики), но не к самой нарративной логике. Хотя в главах VII и VIII, где рассматривается нарративная прагматика, будет показано,

¹ О речи (лат.). — Прим. ред.

² О вещи (лат.). — Прим. ред.

что, по меньшей мере, некоторые основания для наших историографических предпочтений тесно связаны с логическими вопросами, обсуждаемыми в главе V и в настоящей главе, однако саму нарративную логику не следует смешивать с проблемами, вызываемыми ее применением. Ибо изучаемые здесь логические особенности нарратива должны быть присущи каждому вразумительному образцу нарративной историографии, и именно по этой причине данные особенности не могут указать, как отличать хорошую историографию от плохой (т.е. решить проблему наилучшего применения нарративистских правил).

Есть ли в нарративистском мире место для неоднозначностей? Можно ли идентифицировать и описать точно и однозначно любой объект в этом мире? Мы не можем не быть уверенными в том, что это так: если что-то (т.е. высказывание) может быть свойством *Ns*, оно является, так сказать, и "измерением" нарративистского мира. Таким образом, установив, каковы его измерения, мы можем индивидуализировать и описать с абсолютной точностью любой объект в нарративистском мире и тем самым отличить его от любого другого объекта в этом мире. И все же, можно спросить: разве нет в нарративистском мире "дыр", своим существованием обязанных тем возможным положениям дел, которые еще не "осуществились" в нашем действительном мире? На этот вопрос можно ответить, постулировав для каждого возможного мира соответствующий нарративистский мир.

Даже тогда сохраняются две отличительные особенности. Измерения нарративистского мира существенно отличаются, например, от четырех измерений пространственно-временного континуума. Каждое из этих четырех измерений — это своего рода шкала, и каждую точку в пространственно-временном мире можно однозначно описать, указав четыре числа, соответствующие определенным положениям на этих шкалах. В силу очевидных причин измерения нарративистского мира не могут служить такими шкалами; в нем объект обладает или не обладает определенным измерением — "*tertium non datur*". Поэтому нарративистский мир выглядит на удивление "плоской" вещью: т.е. бесконечно длинным спи-

³ Третьего не дано (лат.). — Прим. ред.

ском высказываний, которые можно сформулировать об исторической реальности, и каждый объект индивидуализируется указанием высказываний, которые он содержит. В рамках такого "линейного" нарративистского мира нельзя придать никакого значения утверждению, что с помощью измерений нарративистского мира индивидуализируются определенные объекты (т.е. точки в нарративистском мире). Так что нам нужно преобразовать эту "линейную" модель. Нам следует мысленно представить себе нарративистский мир в виде системы координат, которая имеет столько осей (измерений), сколько существует возможных высказываний об (исторической) реальности. Я не буду углубляться в обсуждение природы этих высказываний; нам следует просто иметь в виду единичные конституирующие высказывания того рода, который встречается в обычной нарративной историографии. На каждой оси мы имеем только значения 0 и 1; мы приписываем N_s значение 1 по какой-то определенной оси, если она действительно содержит высказывание, соответствующее этой оси, и значение 0, если она не содержит этого высказывания или некоторого его эквивалента. Если согласиться с этим мысленным представлением нарративистского мира, то мы фактически можем утверждать, что этот многомерный мир состоит из идентифицируемых "точек", каждая из которых является определенной N_s (а не просто "изображением" самих этих N_{ss}). Можно было бы сказать, что только наборы чисел 0 и 1, указывающие координаты N_{ss} , выражают эти "изображения". Но есть и другое, более серьезное затруднение, касающееся нарративистского мира. Каждое множество высказываний о нашем мире можно расширять *ad libitum*; следовательно, нарративистский мир не имеет фиксированного числа измерений (поскольку история является конечным предприятием, нам нет надобности говорить о бесконечном числе измерений нарративистского мира). Это, к сожалению, означает, что для нарративистского мира не существует понятия, подобного "расстоянию" в пространственно-временном континууме. Поэтому точное различие между двумя N_{ss} нельзя, например, указать, установив те N_{ss} , которые лежат между ними (разумеется для того, кто придержи-

* По желанию, по собственному усмотрению (лат.). — Прим. ред.

вается редуccionистского взгляда на нарратив, проблема различения двух N_{ss} решается мгновенно, а именно простым указанием различий между двумя множествами высказываний). Боюсь, что невозможно найти приемлемый выход из этой неприятной ситуации.

Здесь необходимо предупредить о двух ловушках. Во-первых, можно было бы утверждать, что для знания расстояния между двумя точками в пространственно-временном континууме нам не нужно обладать способностью перечислить тем или иным способом все точки, с их точными координатами, на линии, соединяющей указанные две точки. Что именно лежит между двумя точками, не имеет отношения к вопросу о расстоянии между ними. Поэтому может показаться, что если мы знаем, где располагаются две N_{ss} в нарративистском мире, мы можем установить "расстояние" между ними. Однако эта аналогия вводит в заблуждение. Понятие такой линии имеет смысл только в том случае, если эта линия проходит через одно и то же пространство, определяемое измерениями, с помощью которых можно локализовать две точки, соединенные этой линией. А поскольку число измерений нарративистского мира можно увеличивать по своему усмотрению, это условие невозможно выполнить. Во-вторых, тот факт, что мы никогда не можем с точностью определить, каково различие или расстояние между двумя N_{ss} , еще не означает, что нам следует вообще отказаться от понятия "различия (различия) между двумя N_{ss} ". Поскольку число измерений в нарративистском мире можно расширять по своему усмотрению, именно поэтому мы можем быть уверены в существовании нарративистского "пространства", разделяющего даже те две N_{ss} , которые отличаются друг от друга только одним высказыванием. Но здесь опять-таки нельзя достичь точности. Вероятно, предыдущий аргумент объясняет отсутствие точности в дискуссиях на исторические темы, о котором сожалели очень многие историки и философы истории. N_{ss} не имеют общего для всех основания (т.е. множества общих измерений), благодаря которому можно было бы с абсолютной точностью установить различия между ними.

В конце концов, мы можем утешиться тем, что наша неспособность точно установить различие (различия) или расстояние (расстояния) между N_{ss} не отражается на нашей

способности точно локализовывать Nss в нарративистском мире. Добавление x измерений к p -мерному пространству не изменит местоположения точек, которое можно определить в координатах $1-p$. Поэтому положение Ns в нарративистском мире можно определить раз и навсегда в тех измерениях этого мира, в которых Ns имеет значение 1; если бы это было не так, обрушилось бы все возведенное нами "нарративистское здание".

В этом разделе я попытаюсь приспособить лейбницевскую теорию суждений к нарративистской философии. Я очень хорошо понимаю, что несмотря на впечатляющее сходство между ними, все же остаются и некоторые несоответствия. Разумеется, следует противиться внесению каким-либо исправлений в *oeuvre* столь выдающегося философа, как Лейбниц; тем более что философия Лейбница предназначалась для целей, совершенно отличных от тех, которые стоят перед нами в настоящей работе. Однако я уверен, что некоторые затруднения, порожденные логикой Лейбница, можно было бы разрешить, истолковав ее в нарративистском духе. Это можно пояснить на примере отмеченной уже Расселом непоследовательности в позиции Лейбница⁴. Для философской позиции Лейбница существенны два принципа: 1) все монады с момента творения содержат в себе свою жизненную программу, 2) существует так называемая "предустановленная гармония" между жизненными программами всех монад, так что происходящее за пределами некоторой конкретной монады A , например, с некоторой другой монадой B , надлежащим образом и в надлежащее время воспринимается монадой A . Однако из этих условий Лейбница, совершенно неясно, ни почему необходима эта предустановленная гармония, ни что могло бы означать это понятие в мире, устроенном в согласии с лейбницевской онтологией. Предположим, что одно и то же событие должно произойти в вашей монадической жизненной программе во время t_1 , а в моей — во время t_2 ; в чем тут могла бы быть проблема? Проблема могла бы возникнуть только в том случае, если бы мы оба имели в своем распоряжении одну и ту же объективную шкалу вре-

мени, относительно которой можно было бы установить, являются ли t_1 и t_2 одним и тем же объективным моментом времени или нет. И, разумеется, если бы имелась такая объективная шкала времени, а t_1 и t_2 были бы разными моментами времени согласно метафизическому описанию мира, мало что можно было бы сказать в пользу такого описания. Думаю, что это и побудило Лейбница постулировать предустановленную гармонию в своем учении.

Однако весь ход лейбницевских размышлений ведет именно к исключению самой идеи такой объективной междомонадической или внемонадической шкалы времени. Поэтому перед Лейбницем стоит следующая дилемма. С одной стороны, он мог бы придерживаться абсолютно монадического мира, и в этом случае все монады имели бы свой собственный универсум (или его картину) внутри себя; между их жизненными программами не существовало бы несогласованностей по той простой причине, что эти несогласованности нельзя было бы чувственно воспринимать и даже помыслить. Ибо какой язык мог бы их выражать? Ведь монады поистине "не имеют окон", как любил говорить Лейбниц. Я "живу" в моем мире, а вы "живете" в вашем. С другой стороны, Лейбниц мог бы остаться верным своей предустановленной гармонии, но в этом случае согласованность между жизненными программами монад нельзя было бы выразить на чисто "монадическом" языке, так как для восприятия восприятий монад не существует общей основы. Чтобы говорить осмысленно об этой предустановленной гармонии, нам нужно опираться не на монадический, а на более фундаментальный язык, например, на язык пространственно-временных описаний. А это равносильно отказу от монадической метафизики. Таким образом, Лейбниц вынужден выбирать: или отказаться от своего учения о предустановленной гармонии как бесполезного (но это оставило бы его с весьма неубедительным описанием мира), или защищать это учение (но для этой защиты он, в конечном счете, вынужден был бы прибегнуть к языку пространственно-временных описаний).

Это дилемма Лейбница не встает перед нами, когда мы имеем дело с нарративистскими мирами (в которых Nss играют роль, подобную лейбницевским монадам). Ибо согласно тезису о гармоничном строении нарративистского мира нель-

⁴ Произведения, труды (франц.). — Прим. перев.

⁴ Russel; pp. 129—130.

зя сформулировать никаких несовместимых высказываний о вещах, содержащихся в этом мире, и поэтому мы можем справедливо потребовать той “предустановленной гармонии” для нарративистского мира, которую Лейбниц требовал для своего мира. И для объяснения этой “предустановленной гармонии” мы не должны опираться на ненарративистский язык, т.е. на язык пространственно-временных описаний. Поскольку Лейбниц не был достаточно радикален в своей онтологии, он поставил себя перед дилеммой, обрисованной выше. Его идея монад и их жизненных программ свидетельствует о его желании полностью концептуализировать (или, если говорить в духе нашего подхода, нарративизировать) реальность. Однако он не решился окончательно лишить пространственно-временные понятия того особого положения, которое они занимали в его онтологии, поэтому это заставило его остановиться на полпути. Нарративистская философия более последовательна в этом отношении: конечно, она не отвергает пространственно-временных измерений, но она лишает их привилегированного статуса. В нарративистской философии пространственно-временные предикаты имеют такой же статус, как и менее заметные предикаты: только высказывания, а не части высказываний (выражающие, к примеру, пространственно-временные координаты) являются измерениями нарративистского мира. Это также доказывает, что различие между историческими исследованиями, дающими, так сказать, “поперечный срез” прошлого, и теми, которые описывают историческую эволюцию отдельного исторического объекта во времени, для нарративистской философии является несущественным (см. главу 1, раздел (1)). Дилемма “структура—процесс” уже не возникает при нарративистском подходе к историографии.

Более традиционная проблема в литературе о Лейбнице касается правильного истолкования его закона о тождестве неразличимых. Этот закон утверждает, что не может существовать двух индивидуальных вещей, совершенно одинаковых во всех качествах, которые можно им предиктировать, или, как часто формулируют этот закон: “eadem sunt quorum

unum in alterius locum substitui potest, salva veritate”⁵. Следует ли этот закон действительно из принципа включения предиката в понятие субъекта, как сам Лейбниц был иногда склонен думать⁶, — в этот вопрос я не буду углубляться в настоящем обсуждении. В современной литературе возникло множество разногласий относительно точного смысла этого лейбницевского закона. Хотел ли Лейбниц сказать, что сама идея двух тождественных субстанций внутренне противоречива, или его целью было провозгласить фактической истиной то, что нельзя обнаружить никаких двух тождественных субстанций?⁷ Или, если упомянуть еще и третью возможность, не стремился ли он просто *определить* “тождество” с помощью своего закона?⁸

В любом случае, как бы мы ни истолковывали лейбницевский закон, это не принесет нам никаких желанных результатов. Это можно доказать следующим образом. Мы можем записать данный закон в виде (неполностью развернутой) формулы:

$$(\forall x)(\forall y)[x = y \equiv (\forall \phi)(\phi(x) \equiv \phi(y))]$$

или выразить его “прозой”: x и y тождественны тогда и только тогда, когда они тождественны при любом описании, которое им можно дать. Однако когда x и/или y выражаются в терминах неэкстенциональных предикатов, закон Лейбница можно фальсифицировать. Так, число “9” можно описать как а) число планет (экстенционально) и б) как число, с необходимостью стоящее между 8 и 10 (интенционально). Согласно закону Лейбница число, описанное в а), должно быть тождественно числу “9”, описанному в б), но это не так, поскольку число планет не располагается с необходимостью между 8 и 10. Другим избитым примером противоречия закону Лейбница является Игла Клеопатры в Центральном парке Нью-

⁵ “Тождественны те вещи, одна из которых может быть поставлена вместо другой при сохранении истинности” (лат.). — Прим. перев.

⁶ Rescher (1); p. 48. См. также теорему (9) в “Монадологии”: Leibniz (2); p. 643.

⁷ Parkinson; p. 131.

⁸ Parkinson; p. 130.

⁹ M. Dummett, Frege, London 1973; pp. 534—544.

Йорка. Предположим, что эрозия вызвала бы необходимость постепенной замены старого гранита на новый. Мы бы не колеблясь сказали, что видим все ту же Иглу Клеопатры в Центральном парке. И, несомненно, идентичность личности — еще более наглядный пример. Хотя для проблем, вытекающих из этих контрпримеров лейбницево-му закону, можно предположить предварительные решения, оказывается, что эти решения всегда порождают новые затруднения. Поэтому, заключает Гриффин, “может показаться загадочным, как эта абсолютная теория [т.е. закон Лейбница. — Ф.А.] вообще внушала к себе уважение, не говоря уже о почти всеобщем одобрении, которое она фактически получала”.

Однако закон Лейбница совершенно безукоризнен, когда применяется исключительно к нарративистскому миру. В нарративистском мире *Nss* можно описывать только с помощью высказываний, содержащихся в этих *Nss* (ср. с. 196 и далее). Ранее *Nss* были определены как точки в нарративистском универсуме. Никакое описание этих точек не имеет смысла, если оно не сформулируется в высказываниях, которые могут содержаться или не содержаться в *Nss*. Таким образом, высказывания, содержащиеся в *Nss*, являются единственными свойствами, о принадлежности которых *Nss* имеет смысл говорить. В подобном контексте не могут возникать различия между экстенциональными и интенциональными описаниями вещи. Здесь мы можем просто сказать, что две *Nss* тождественны, если и только если все их свойства (т.е. высказывания, которые они содержат) одинаковы. Следовательно, когда закон Лейбница применяется к *Nss*, его нельзя фальсифицировать из-за его неоднозначности. И то, что было абсурдным в нашем примере с числом “9”, может восприниматься здесь как универсальная истина, а именно как положение о том, что когда *a* и *b* представляют собой идентифицирующие дескрипции одной и той же вещи, тот факт, что и *a* и *b* обозначают одну и ту же вещь, является необходимой истиной. Здесь прослеживается интересная параллель между объектами в математическом мире и объектами в нарративистском универсуме: во всех чисто математических

⁹ Griffin; pp. 8—9. Не так давно Виггинс весьма оригинальным образом попытался спасти закон Лейбница: см. Wiggins (2), особенно главу I.

и нарративистских описаниях, которые могут быть даны любому объекту в каждом из этих миров, совершенно отсутствует референциальная непрозрачность. “Les extrêmes se touchent”.

Источник этого и других затруднений заключен в том, что Лейбниц не всегда четко отличал вещи и их свойства, с одной стороны, от субъектов и предикатов, с другой. Склонность Лейбница (типичная для рационалиста) смешивать эти вещи отмечалась многими его современными комментаторами. В качестве примера можно привести отмеченную Стросоном непоследовательность в лейбницево-й системе. Согласно лейбницево-му учению о монадах тождество монад или субстанций зависит от того, с какой “точки зрения” они воспринимают универсум. Вместе со Стросоном мы могли бы спросить Лейбница, почему для каждой точки зрения должна быть только одна монада или субстанция. Очевидная неспособность Лейбница успешно парировать это возражение, несомненно, имеет пагубные последствия для его учения о тождестве неразличимых¹⁰. Поправить свою позицию, пишет Стросон, Лейбниц мог бы только в том случае, если бы он отождествил монады с их полными понятиями (субъектами). В этом случае монады или субстанции можно однозначно индивидуализировать с помощью общих понятий, содержащихся в тех предикатах, посредством которых описываются жизненные истории монад или субстанций. Несомненно, предложение Стросона по своей сути совпадает с интерпретацией Лейбница, которую мы отстаивали в начале этого раздела. Единственное различие состоит в том, что в исправленном Стросоном лейбницево-м учении о монадах индивидуализация осуществляется с помощью общих понятий, в то время как в нарративистской философии монады или субстанции индивидуализируются посредством высказываний. Кстати, следует добавить, что и другие комментаторы Лейбница предложили интерпретации весьма схожие с интерпретацией Стросона¹¹.

¹⁰ “Крайности сходятся” (франц.). — Прим. перев.

¹¹ Strawson (1); pp. 124 ff.

¹¹ Ср. Lorenz; p. 319: “die Pointe des von mir zu begründeten Interpretationsvorschlags lautet, dass konsequent die Monad mit der ihrem vollständigen Begriff

Два других положения лейбницевского учения о монадах можно без существенных поправок перенести в область нарративистской философии. Во-первых, и в лейбницевской и в нарративной логике субъект высказывания занимает гораздо более видное место, чем в традиционных теориях суждений. В указанных случаях перечисление предикатов, которые можно приписать субъекту, является простой экспликацией содержимого субъекта (монады, субстанции или *Nss*). И эта процедура экспликации никогда не добавляет ничего нового. Говоря о различии между лейбницевской/нарративистской и современными теориями суждений, я должен предостеречь против возможного неверного понимания этого различия. Я не сомневаюсь в правильности общей идеи, стоящей за традиционными теориями суждений, пока мы имеем дело с суждениями об обычных вещах. Но когда мы имеем дело с суждениями относительно *Nss* (нарративистским аналогом лейбницевских монад или субстанций), эта общая идея престаёт быть верной, что можно пояснить следующим образом.

В современных теориях суждений просматривается сильная тенденция переводить субъект в ещё одно множество предикатов. Со времени Рассела мы научились читать суждения типа "*Fa*" как "*∃x*" (единственный $a = x$ и Fx), где "*a*" не является логическим именем собственным. Эта стратегия в конечном итоге приводит к тому выводу (сделанному, например, Куайном), что субъекты суждений следует свести к квантифицируемым переменным. Позиция Куайна, столь характерная для общего направления развития всех современных теорий суждений, была подытожена Стросоном: "Соответствующую часть куайновской программы преобразования наиболее просто и кратко можно выразить так. Все термины, встречающиеся в канонической записи, помимо квантифицируемых переменных, следует считать общими терминами в предикативной позиции. Место единичных

терминов предназначено для кванторов и квантифицируемых переменных, а поскольку кванторы не могут считаться терминами, единственными единичными терминами остаются квантифицируемые переменные"¹². Таким образом, при подходе Куайна субъект суждения почти полностью "испаряется"; о его былом присутствии нам напоминают только квантифицируемые переменные. И даже имена собственные, которые, как могло бы показаться, относительно защищены от этой атаки на субъекта, вынуждены были сдаться, ибо и они, по мнению многих философов, подлежат переводу в разряд предикатов. Со времени Фреге часто утверждалось, что имена собственные обладают коннотацией, которая выражается множеством идентифицирующих дескрипций. Очевидно, что и эта коннотация, в конечном счете, также должна быть "загнана" в состав предиката суждений, содержащих имена собственные. Еще раз повторю, что я не собираюсь высказывать свое мнение по поводу приемлемости современных теорий "обычных" суждений; я только хочу обратить внимание на то, что в этих теориях субъекты часто лишаются своего содержания и назначения, между тем как роли предикативных терминов придается большое значение"¹³. Однако в

¹² Strawson (2); p. 79.

¹³ Около десяти лет назад Крипке отверг эту точку зрения на имена собственные; с тех пор многих логиков убедили его доводы. Согласно традиционной теории имен собственных, смысл определяет референцию, в то время как Крипке переворачивает это отношение. Он утверждает, что имена собственные не могут иметь смысла, поскольку то, что приписывается референту имени собственного его смыслом, может и не быть истинным (Kripke; pp. 265 ff.). Мы можем представить себе *возможный мир*, в котором Аристотель не был учителем Александра Македонского. На мой взгляд, теория Крипке сталкивается с той трудностью, что выражение "возможный мир" является двусмысленным. Во-первых, мы можем понимать возможный мир в том смысле, что наш *действительный* мир мог бы отличаться от того, каким, по нашему (ошибочному) мнению, он является или был. Сторонник традиционной теории имен собственных вполне мог бы утверждать, что в таком случае смысл имени собственного, например имени "Аристотель", должны определять наши *исправленные* фактические знания об Аристотеле. Во-вторых, можно было бы считать, что выражение "возможный мир" обозначает мир, отличный от нашего *действительного* мира. Мы можем *обнаружить*, что Аристотель никогда не был учителем Александра, и мы можем *представить себе*

zugeordneten vollständigen Kennzeichnung, gleichsam einem voll entfaltenen Namen, zu identifizieren ist." [Суть отстаиваемой мной интерпретации состоит в том, чтобы отождествить монаду с ее полным понятием, полной характеристикой, присоединяемой к ней словно полностью развернутое имя (*нем.*)]. — Прим. перев.] Поэтому, подобно Стросону, Лоренц отождествляет монады не с вещами (как это делал Лейбниц), а с понятиями.

нарративной логике такое "исчезновение" субъекта недопустимо, поскольку оно породило бы ложные высказывания. Предположим, мы преобразуем высказывание 1) " N_1 есть p " в высказывание 2) существует x , который единственный обладает свойствами, позволяющими индивидуализировать N_1 , и обладает свойством p . Тогда высказывание 2) является ложным, поскольку имеется много других x , обладающих этими свойствами, если учесть, что Nss индивидуализируются только посредством тех свойств, которыми они обладают (т.е. посредством высказываний, которые они, действительно, содержат), и не индивидуализируются посредством тех свойств, которыми они не обладают. Следовательно, субъект в высказываниях о Nss является неприкосновенным.

Таким образом, нам следует различать два вида суждений: 1) суждения относительно Nss и 2) суждения относительно других вещей, например относительно тех, которые содержатся в нашем мире. И соответственно двум различным видам суждений имеются две теории суждений. Это различие между характеристиками "обычных" суждений и суждений относительно Nss имеет важное значение. В наши дни часто высказывают сожаления по поводу отсутствия в истории и (некоторых) социальных науках хорошо подтвержденных формализованных теорий. Особенностью историографии, а также (отчасти) социологии и психологии является то, что в них формирование понятий происходит без соответствующего построения теорий. Введение понятий, таких как "Ренессанс", "политическая власть" или "социальный класс", каждое из которых обозначает (множество) Nss , часто происходит без формализованных теорий, четко определяющих свойства этих "вещей", ибо эти теории не были или не могли быть разработаны. В результате, когда в социальных науках пытаются создать формальные теории относительно

мир, в котором Аристотелю никогда не предлагали такую работу. Но в последнем случае у нас больше нет оснований употреблять имя собственное "Аристотель", и нам следует говорить, например об "Аристотеле²". Имена собственные идентифицируют индивидуальные вещи, а не классы индивидуальных (реальных или вымышленных) вещей. И это уже не является возражением против традиционной теории имен собственных. Не учтя двусмысленность выражения "возможный мир", Крипке совершил насилие над логической природой имен собственных.

этих вещей или явлений социально-исторической реальности, их создателям едва ли когда-либо удастся выделить те и только те переменные (т.е. свойства социально-исторических явлений), с помощью которых можно точно описать эти явления. Аспекты, не учитываемые подобной теорией, всегда могут оказывать влияние на явления, которые эта теория стремится описать. Для точных наук нетипичны неопределенности такого рода. Например, время колебания маятника длиной l пропорционально $\sqrt{l/g}$ (где " g " обозначает гравитационную постоянную); характеристики маятника, которые не упоминаются в законе и не являются необходимыми для его правильного понимания (например цвет, вес или история конкретного маятника), не имеют значения при применении закона в частных случаях. Это нетрудно объяснить. Нам следует осознать тот факт, что современные теории суждений весьма удобны для выражения тех утверждений, которые делаются в точных науках: законы природы всегда, или чаще всего, можно прочесть следующим образом: для каждого x , если x есть A , тогда x есть B . Здесь, как и в "канонической записи" Куайна, проявляется тенденция к "исчезновению" субъекта, так что остаются только отношения между предикатами. Однако, когда вступают в игру нарративные понятия, другой анализ суждений уже больше не служит основанием для того рода утверждений, которые делаются в точных науках: теперь предикат имеет тенденцию "исчезать". Всякое высказывание вида "для каждого x , если x есть A , тогда x есть B ", будучи высказыванием об объектах в нарративистском мире, немедленно фальсифицируется, поскольку мы можем представить себе множество Nss , которые удовлетворяют антецеденту, но не консеквенту данной импликации. А в нарративистском мире что мыслимо, то и реально.

Между лейбницевской и нарративной логикой есть и другое сходство, которое следует упомянуть в этой связи. В системе Лейбница нет места для причинности, поскольку любое "реальное" влияние (или, как он сам называл его, "внешняя" ("transeunt") причинность) монад друг на друга им отвергалось. Всякая монада или субстанция имеет свою неизменную и истинную на все времена жизненную программу, полностью

ответственную за все состояния, через которые монада или субстанция проходит в течение своей истории. Когда вещи не оказывают “реального” влияния друг на друга, которое имело бы важное значение для их истории, о причинности не может быть и речи. Похожую историю можно рассказать и относительно *Nss* в нарративистском мире. Конечно, было бы нелепо утверждать, что *Nss*, т.е. системы высказываний, должны оказывать друг на друга причинное влияние. Строго говоря, о понятиях или высказываниях нельзя утверждать, что они оказывают друг на друга причинное воздействие, даже если бы их можно было выводить друг из друга аналитически или с помощью эмпирических законов. В случае упомянутого выше качающегося маятника нет никакой причинной связи между понятием длины маятника и понятием времени его колебания. По тем же основаниям бессмысленно говорить о “причине Ренессанса” или “причине Великой Французской революции”. Можно рассказывать очень убедительные истории об итальянской культуре от Данте до Макиавелли или о внутренних проблемах Франции, скажем, в период с 1774 по 1794 г., но даже в таких нарративах события (или комплексы событий) не связаны таким же образом, как в случае каузальных объяснений. Ибо, как мы увидим в разделе (3), *Nss* (или их части) не обозначают комплексы событий или их аспекты. Поэтому, когда историки говорят, что они стремятся выяснить, в чем состояла “причина Великой Французской революции”, это означает, что они хотят представить убедительное описание французской истории, скажем, с 1774 по 1794 г., но это не означает, что они желают связать причинной зависимостью два события (или два набора событий). Историческое понимание достигается благодаря описанию прошлого посредством убедительной и яркой *Ns*, но не благодаря обнаружению причинных связей. Подобным образом и развитие современной науки начиная с XVII века стало возможным только, после того, как аристотелевские вопросы “почему?” уступили место вопросам “как?”. “Der denkende Mensch irrt besonders, wenn er sich nach Ursache und Wirkung erkundigt, die beide zusammen machen das unteilbare Phänomen” (Гёте).

* “Мыслящий человек особенно ошибается, когда осведомляется о при-

(2) Типы. Возможно ли выделить типы *Nss*? В повседневной реальности имеется множество типов или классов вещей, таких как собаки, стулья, люди и т.д. Все они обозначаются при помощи своих видовых понятий. Правда, мы можем сказать, что нарративистский мир содержит, по меньшей мере, один тип вещей, а именно “нарративные субстанции”. Однако нельзя ли разделить это общее множество на отдельные “подклассы” или “подтипы”? Прежде чем мы дадим удовлетворительный ответ на этот вопрос и получим несколько важных выводов, необходимо сделать небольшое отступление. Давайте обратимся к начальной ступени в нашем восприятии реальности, т.е. когда еще нами не распознаются никакие индивидуальные вещи и, разумеется, никакие типы индивидуальных вещей. Мы могли бы представить себе, как воспринимает реальность новорожденный малыш. Он еще не научился отличать — в виде “гештальта” — индивидуальные вещи от их фона. Реальность предстает перед ним как “гудящее смешение” движущихся и неподвижных цветочных пятен, звуков, шершавых и гладких поверхностей и т.п. Он не отделяет деревья от земли, из которой они растут, лапку петуха от навозной кучи, на которой он стоит; он воспринимает лишь то, что я предлагаю называть *качествами* диффузной и структурированной реальности. Эти качества соответствуют таким предикатам, как красный, твердый, круглый и т.д., которые, как я предполагаю, знакомы малышу. Никакие видовые понятия не допускаются. Если мы хотим проследить путь от нашего настоящего восприятия реальности до этого начального состояния, когда качества еще “свободны от своих субъектов”, современные теории суждений весьма полезны. Разложение индивидуальных вещей нашего мира на составляющие их свойства идет параллельно преобразованию всех суждений вида “ Fa ” в суждения вида $\exists x$ (единственный $a = x$ и Fx). В оставшейся части этого раздела мы проследуем тем же путем, но в обратном направлении; отталкиваясь от качеств, мы попытаемся воссоздать из них наш мир и содержащиеся в нем индивидуальные вещи. Предыдущий путь был аналитическим, наш путь будет синтетическим. Нако-

чине и следствии, которые вместе образуют неделимое явление” (нем.) — Прим. перев.

нец, в этом разделе, как и во всей книге, мы будем рассуждать, исходя из логической, а не эпистемологической точки зрения.

Мы можем описать социально-историческую реальность в соответствии с "точкой зрения младенца"; этим мы не связываем себя каким бы то ни было представлением о том, какие индивидуальные вещи (или их типы) содержит наш мир. Следовательно, мы оказываемся здесь на исходной позиции, с которой мы можем объяснить наше выделение конкретных индивидуальных вещей (или их типов). В предыдущих главах мы видели, что *Nss* образуются из высказываний, и поскольку логическая форма этих высказываний о реальности, т.е. высказываний, которые являются свойствами *Nss*, не имеет отношения к нарративистской философии, мы можем быть уверены, что если *Nss* могут быть образованы из обычных высказываний, они также могут быть построены из высказываний, сформулированных в соответствии с "точкой зрения младенца" на реальность. Таким образом, мы можем представить себе *Nss*, не будучи вынужденными признать присутствие индивидуальных вещей (или их типов) в реальности. Одна из наиболее важных задач нарративистской философии состоит в том, чтобы объяснить, как и почему выделяются одни определенные индивидуальные вещи (или их типы) и не выделяются другие. Здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами: а) что в логическом плане ставится на карту всякий раз, когда выделяются индивидуальные вещи (или их типы) в реальности (т.е. когда связываются внутри *Nss* определенные множества высказываний, сформулированных в соответствии с точкой зрения младенца на реальность); и б) почему данное соединение конкретных множеств высказываний получает предпочтение перед другими вариантами (почему, например, определенные множества высказываний собираются в два типа индивидуальных вещей, такие как "чашки" и "блюда", а не в один)? Первый вопрос согласуется с тем логическим подходом, которого мы придерживаемся в этой и предыдущей главе; вторым вопросом ставится проблема о том, какие правила мы применяем, какими прагматическими соображениями руководствуемся, когда решаем, какие выделить конкретные индивидуальные вещи (или их типы) в реальности. Наука, отвечающая на этот второй воп-

рос, является, пожалуй, наиболее фундаментальной пропедевтикой к истории и, отчасти, к социологии и психологии. Но предположим, что в нашем распоряжении уже имеются эти правила, и, более того, эти правила были последовательно применены. Или, выражаясь точнее, когда определенные аспекты реальности проявляют соответствующие сходства (во избежание круга в рассуждении эти сходства не следует и не нужно определять в терминах индивидуальных вещей), в результате применения этих правил действительно выявляются значительные совпадения. Например, высказывания, выражающие восприятия того, что мы называем "деревьями" и "почвой", в которую сажают деревья", не следует в одном случае собирать с помощью индивидуальных вещей "это дерево" и "эта почва", а в другой раз — с помощью индивидуальной вещи "это дерево-почва" (которая обозначает и то, что мы называем "деревом", и то, что мы называем "почвой").

Итак, если нарративизация, т.е. собирание высказываний в рамках *Nss*, произошла в соответствии с прагматическими правилами, о которых я только что упомянул, мы можем построить следующую диаграмму. На горизонтальной оси мы размещаем высказывания, которые можно сформулировать о нашем социально-историческом мире. Поскольку историография никогда не претендует на то, чтобы представлять все прошлое, и не стремится к этому, число этих высказываний обязательно является бесконечным. Поэтому мы будем говорить, что высказывания, указанные на горизонтальной оси, изначально охватывают собой все высказывания, используемые в существующих и будущих нарративах, и, кроме того, к ним можно добавить любое количество дополнительных высказываний. Все высказывания формулируются в соответствии с "точкой зрения младенца" на реальность, так что не предполагается наличия никаких определенных индивидуальных вещей (или их типов). На вертикальной оси указываются *Nss*, которые были или будут созданы с помощью высказываний, размещенных на горизонтальной оси. Конечно же, это можно сделать только после нарративизации или историцизации нашего мира. Следует еще раз отметить, что мы пока находимся на самой начальной ступени нашего концептуального упорядочения мира: хотя определенные лингвистические вещи (т.е.

Nss) уже индивидуализированы, никакие типы вещей еще не определены с их помощью.

Для понимания первичности этого концептуального упорядочения реальности следует осознавать, что на этой ступени концептуализация обычных вещей вроде стульев и собак по способу своего осуществления напоминает концептуализацию историками прошлого с помощью таких понятий, как “Ренессанс” или “холодная война”. Здесь все еще имеет место неопределенность, которая вполне уместна при написании масштабной истории, но совершенно нетипична для наших высказываний об обычных вещах. Из этого следует (и это очень важный вывод), что такие понятия, как “Ренессанс” или “холодная война” относятся к логически более “раннему”, более фундаментальному типу, нежели термины, которые мы используем для обозначения обычных вещей. *Nss* (или их части) являются первичными элементами, из которых выстраиваются наши понятия индивидуальных вещей, а не наоборот. Это может вызвать удивление, так как, на первый взгляд, мы склонны считать такой термин, как “Ренессанс”, имеющим логически гораздо более сложный и абстрактный статус, чем, скажем, термин “этот стул”. Но, как мы увидим, термины, обозначающие обычные вещи, имеют более “абстрактную” природу, поскольку их употребление предполагает процедуру выделения типов, которая еще не применена, пока мы говорим, используя *Nss* (такие, как “Ренессанс”). Другими словами, “историчность” (т.е. *Nss*) предшествует “индивидуальности” (т.е. распознанию индивидуальных вещей). Это позволяет нам провести следующую демаркационную линию между науками и историей: история логически предшествует нашему обычному опыту восприятия повседневной реальности, науки выходят за его пределы. Этот логический порядок был выражен Лейбницем в темпоральных выражениях: “Les langues ont été formées avant les sciences et le peuple ignorant et sans lettres a réduit les choses à certaines espèces”¹⁴. Думаю, Гегель высказывал сходную мысль, когда критиковал эмпиризм за его склонность обращаться с

абстрактным (т.е. с эмпирической реальностью) так, как если бы она была чем-то конкретно данным.

Теперь мы можем закончить нашу диаграмму, поместив в горизонтальном ряду за каждой нарративной субстанцией “1” или “0”, указывающие, содержит ли эта *Ns* конкретное высказывание, помеченное на горизонтальной оси, или нет. Завершив таким образом нашу диаграмму, мы теперь спросим, можно ли выделить типы *Nss*. Важно понимать, что возможны две процедуры типизации. Поясним это на следующем примере. Давайте представим себе, что нам дали большое количество гвоздей и попросили рассортировать их по длине. Мы могли бы измерить все гвозди, записать длину каждого из них и установить, не образуются ли сами собой определенные классы. Например, длина самых маленьких гвоздей может оказаться в пределах от 1,24 см до 1,26 см, затем идет множество гвоздей от 1,74 см до 1,76 см и т.д. Но мы можем с тем же основанием выбрать и другую классификацию: можно отобрать гвозди длиной 0,50 см (если таковые имеются), затем — длиной 0,51 см, 0,52 см и т.д. То, как распределить гвозди по длине, а также цель нашей классификации подскажут, какая процедура является более удобной. По причинам, которые скоро выяснятся, мы могли бы говорить здесь об “экстенциональной” и (противоположной ей) “интенциональной” процедуре типизации.

Соответственно, мы можем осуществлять типизацию *Nss* двумя способами. Во-первых, мы можем придерживаться экстенционального подхода, принимая *Nss* как таковые и стараясь сформировать из них классы по имеющимся у них важным сходствам и в соответствии с тем, как распределены “единицы” и “нули” на диаграмме. Посредством такого экстенционального подхода мы можем обнаружить класс *Nss*, “относящихся к Ренессансу”, или класс *Nss*, касающихся истории социальных классов или истории государств. Конечно, при отборе *Nss*, относящихся к истории социальных классов или государств, типы будут выделяться иначе, чем при отборе *Nss*, касающихся Ренессанса или холодной войны. В первом случае мы будем обращать много внимания на структурные сходства между *Nss* и игнорировать те высказывания в *Nss*, которые отсылают к конкретным временам и обстоятельствам, тогда как во втором случае все будет равно на-

¹⁴ “Языки возникли до наук, и люди невежественные и необразованные свели все вещи к определенным видам” (франц.). — Прим. перев.

¹⁵ G. W. Leibniz, *Nouveaux essais*, Paris 1966; p. 275.

оборот. Но в обоих случаях, принимая историографию такой, какой она является сейчас и какой, вероятно, останется в будущем, мы имеем дело с классами Nss , которые образуются более или менее спонтанно. Когда мы обращаемся к созданному в историографии за последние несколько веков, мы обнаруживаем, что вышеупомянутые типы Nss встречаются довольно часто. Кроме того, Nss не создаются случайно. Поэтому следует ожидать, что большое количество Nss , которые, в принципе, можно помыслить, в действительности не будет создано историками. Следовательно, представляется вероятным, что благодаря действию этих правил Nss создаются таким образом, что автоматически появляются определенные классификационные схемы. И, конечно, когда мы обращаемся к историографии, мы находим, что это так и есть: существующие Nss имеют тенденцию к коагуляции в группы, в то время как "нарративное пространство" между группами остается более или менее пустым (объяснение этого факта см. на с. 331).

Мы могли бы назвать соответствующую процедуру типизации "экстенциональной", поскольку с ее помощью образуются действительные множества законченных Nss . При данном подходе классификация определяется тем, какие мы имеем нарративные вещи, а не понятия типов нарративных вещей. Может возникнуть вопрос о том, насколько надежным является этот экстенциональный способ классификации Nss , т.е. удастся ли с его помощью определить типы Nss так, чтобы не возникало неоднозначностей.

Чтобы ответить на этот вопрос, возможно, будет полезно сделать пояснение об экстенциональной типизации в целом. Предположим, мы рассматриваем множество вещей, которые либо уже являются очень похожими друг на друга, либо (если это не так) это множество всегда можно расширить таким образом, чтобы образовавшееся в результате множество состояло из вещей, очень похожих друг на друга. Говоря точнее, для каждой пары вещей a и b из этого множества можно (сейчас или в будущем) найти третью вещь c , так что как a и c , так и b и c окажутся более похожими друг на друга, чем a и b . Когда это имеет место, неоднозначностей при типизации избежать нельзя. Причина здесь кроется в том, что любая попытка отделить вещи, принадлежащие к какому-то

конкретному классу, от всех остальных вещей, не принадлежащих к этому классу, будет неудачной в том случае, если встретятся вещи более близкие к a и b , чем сами a и b друг к другу (здесь " a " и " b " обозначают вещи внутри и за пределами данного класса, которые, соответственно, считаются наиболее близкими).

Попробуем применить эту мысль к нашей проблеме типизации Nss . У нас могут быть некоторые интуитивные представления о том, какие Nss объединяются в группы, и мы можем попытаться классифицировать их соответственным образом. Это кажется легким и простым делом. Однако ситуация, которую я обрисовал в предыдущем абзаце, имеет место и здесь: для каждой двух нарративных субстанций N_1 и N_2 независимо от того, находятся ли они в одной группе или нет, можно найти (сейчас или в будущем) третью N_3 , которая окажется ближе к N_1 и N_2 , чем сами N_1 и N_2 друг к другу. Принадлежность же N_3 к какой-то конкретной группе — это не факт, который мы можем установить, а лишь выбор, который мы можем сделать. Возьмем другой, самый крайний, случай. Предположим, что N_1 содержит высказывания $1.....p$, а N_2 — высказывания $1.....p, q$; тогда мы можем представить себе нарративную субстанцию N_3 , содержащую высказывания $1.....p, r$, и мы можем только выбрать, принадлежит ли N_3 к какому-то классу или нет. Таким образом, для каждой попытки очертить границы определенного класса Nss можно представить себе некоторое высказывание (т.е. возможное свойство Nss), соответствующее этой конкретной попытке, так что мы можем лишь выбрать, принадлежат ли содержащие это высказывание Nss к рассматриваемому классу или нет. Поэтому любая предпринимаемая экстенциональная классификация Nss создает свои собственные специфические неоднозначности. И поскольку при классификации Nss есть основания утверждать, что "границы" какого-то определенного класса могут проходить где угодно (в отличие, например, от границ страны или участка земли), можно ожидать, что каждой предпринимаемой классификации соответствует весьма обширное множество не включенных в классификацию Nss . В итоге, экстенциональная типизация Nss никогда не может быть точной. У нас могут быть интуитивные представления о том, как конкретным Nss (напри-

мер, относящимся к "Ренессансу" или к национальным государствам) свойственно образовывать группы. И по практическим соображениям признание одних групп может быть предпочтительнее, чем признание других. Но любая попытка добиться точности всегда может обернуться неудачей. Из вышесказанного следует сделать вывод, что поскольку социально-историческая реальность изучается исключительно с помощью полных *Nss*, обобщения не выражают никаких истин относительно природы (социально-исторической) реальности; они только отражают регулярности в том, как мы, на самом деле, решаем концептуализировать реальность (используя полные *Nss*).

Далее, мы можем классифицировать *Nss* интенционально, т.е. мы можем образовать или постулировать понятие типа *Nss* и соответствующим образом отобразить *Nss*. Точно так же в примере с гвоздями мы могли разделить дециметр на равные части (например от 0,50 до 1,49 см, от 1,50 до 2,49 см и т.д.). Классификация гвоздей не представляет никаких трудностей: гвоздь, не принадлежащий к какому-то определенному классу, должен принадлежать к другому, причем мы знаем к какому. В том же духе мы могли бы отметить повторяемость определенного набора свойств, например " $p_1 \dots p_n$ ", в тех *Nss*, которые включены в диаграмму. Следовательно, мы могли бы определить некоторый тип нарративных субстанций как те *Nss*, для которых истинны высказывания " N_i есть $p_1 \dots p_n$ " (где " i " охватывает все индексы *Nss* в нарративистском мире). И опять же здесь не возникает никакой неопределенности. Для каждой *Ns* мы можем установить с абсолютной точностью, принадлежит ли она к определенному типу (классу) *Nss* или нет. Даже когда новые высказывания и новые *Nss* добавляются к исходным множествам, представленным на нашей диаграмме, в первоначальной типизации не возникают неоднозначности. Фактически, она может быть сохранена без каких-либо исправлений.

Как нам следует понимать тот факт, что экстенциональная типизация *Nss* никогда не будет полностью успешной, в то время как интенциональная типизация вообще не представляет никаких трудностей? Мы обнаружили, что каждая экстенциональная типизация *Nss* порождает высказывание (или множество высказываний) таких, что принадлежность

Nss, содержащих это высказывание (множество высказываний), к определенному классу, может быть только вопросом выбора. Здесь приходится принимать решение. Таким образом, в случае экстенциональной типизации невозможно перечислить множество высказываний (т.е. свойств *Nss*), содержание которых является достаточным и необходимым условием принадлежности *Ns* к определенному классу. С другой стороны, интенциональная типизация действительно обеспечивает такие условия. Как только принято решение относительно природы *Nss* определенного интенционального типа, можно однозначно установить, принадлежит ли данная *Ns* к этому типу или нет. Следовательно (и это очень важный переход), интенциональная типизация *Nss* предоставляет нам основание для типизации вещей в нашем мире, в то время как экстенциональная типизация никогда этого не делает. Утверждение о том, что мы можем выделить определенные интенциональные типы *Nss*, обладающих фиксированным набором общих свойств (т.е. высказываний), равнозначно тому, что в наших нарративистских восприятиях реальности, очевидно, имеют свойство повторяться определенные конъюнкции высказываний, выражающих конкретные восприятия реальности. И, конечно же, тот факт, что наш мир содержит такие типы вещей, как стулья, собаки, снежинки, груды старого железа и т.п., можно выразить следующим образом: наш мир таков, что в фиксированных множествах высказываний, выражающих наличие определенных качеств в реальности, иногда все высказывания являются одновременно истинными, но никогда не бывает так, чтобы самая существенная часть высказываний в таком множестве была истинной, а все остальные — ложными. Таким образом, типы вещей, распознаваемые нами в реальности, представляют собой результат интенциональной типизации *Nss*. И мы вправе утверждать, что подразумеваемые здесь "типы вещей" включают в себя как вещи, на которые мы ссылаемся с помощью видовых понятий, так и вещи, которые обозначаются массовыми терминами. Конечно, виды качеств, воспринимаемых в реальности при выделении типа "груда железа" (массовый термин), будут сильно отличаться от качеств, принимаемых во внимание при выделении, например, типа "собака" (видовое понятие). Однако на данном этапе нашего обсуждения

это необязательно создает затруднения. Тот факт, что предлагаемый анализ выделения индивидуальных вещей (и их типов) в реальности, не касается проблемы выделения в языке видовых понятий и массовых терминов, говорит об очень элементарном характере нашего рассмотрения.

Было бы слишком трудно преобразовать предложенную очень простую схему в более сложную, позволяющую более полно объяснить, как (и какие типы) индивидуальных вещей распознаются в реальности. По сути дела, это потребовало бы всестороннего исследования большого числа довольно жестких прагматических соображений, отражающих то, как нам свойственно реагировать на случайный характер нашего мира. В своей книге "Слова и вещи" Мишель Фуко блестяще показал, как "порядок вещей", внешне такой стабильный, подвергся наиболее радикальным изменениям в последние четыре столетия¹⁵. Кроме того, к этим "прагматическим" обусловленным культурой, соображениям следует также добавить тот аргумент, который используется в науке, когда обосновывается существование субатомных частиц. При распознавании индивидуальных вещей (или их типов) в реальности мы имеем дело с длинной и сложной цепочкой или иерархией типов индивидуальных вещей — от самого элементарного уров-

¹⁵ Книга Фуко демонстрирует, что способ, каким мы упорядочиваем вещи или индивидуальности, вовсе не так очевиден, как мы привыкли думать. "Что гарантирует нам полную надежность устанавливаемой нами продуманной классификации, когда мы говорим, что кошка и собака меньше похожи друг на друга, чем две борзые, даже если обе они приручены или набальзамированы, даже если они обе носятся как безумные и даже если они только что разбили кувшин? На каком "столе", согласно какому пространству тождеств, черт сходства, аналогий привыкли мы распределять столько различных и сходных вещей? В чем состоит эта логичность, которая явно не определяется *априорным* и необходимым сцеплением и не обуславливается непосредственно чувственными содержаниями? Ведь дело здесь идет не о связи следствий, но о сближении и выделении, об анализе, сопоставимости и совместимости конкретных содержаний; нет ничего более зыбкого, более эмпирического (во всяком случае, по видимости), чем попытки установить порядок среди вещей; ничто не требует более внимательных глаз, более надежного и лучше развитого языка; ничто не призывает нас более настойчиво опираться на многообразие качеств и форм. [Пер. В.П. Визгина. Цит. по: Фуко М. Слова и вещи. М., 1973. С. 32. — Прим. перев.]

ня в виде типизации *Nss* до индивидуальных вещей, открываемых, например, в точных науках. Однако этот элементарный уровень образует основу этого процесса деления нашего мира на индивидуальные вещи (или их типы). Начиная с этого элементарного уровня мы затем можем абстрагироваться от качеств, уже связанных друг с другом в индивидуальных вещах (или их типах), и манипулировать ими самыми разнообразными способами для создания новых типов вещей.

Таким образом, существует отношение транзитивности между выделением типов индивидуальных вещей на одном уровне абстрагирования (от воспринимаемых качеств нашего мира) и на более высоком или низком уровне: способность индивидуализировать индивидуальные вещи передается от имеющегося типа вещей ко вновь образованному типу. Выделение одного типа индивидуальных вещей подобно составлению плана нашего мира, и оно часто является предварительной ступенью к более детальной типизации реальности. Поэтому свойство быть индивидуальной вещью — это не внутреннее свойство вещей; оно всегда основано на свойстве, которое определенное *типовое понятие* может иметь по отношению к другому *типовому понятию*. Тем не менее, типовые понятия являются островками в бурном и беспокойном море нашего опыта. Индивидуальные вещи (или их типы), которые мы различаем в реальности, не просто даны нам вместе с самой реальностью: типы совместно образуют сложно организованную сеть отношений, имеющую в качестве своего предельного основания типизацию *Nss*. Эта сеть организована в соответствии с многочисленными решениями, принятыми нами с этой целью. Чтобы даже хотя бы приблизительно объяснить, как достигаются такие решения, нам потребовалось бы не только дать сложное описание социокультурных привычек, определяющих нашу ориентацию в реальности, но также продемонстрировать ряд процедур, совершаемых в науках. И даже тогда могут оставаться несогласованности и неточности, которые вряд ли допускают рациональное объяснение. Например, сижу ли я на диване или на диванной подушке и на диване? Является ли телефонная трубка частью телефонного аппарата или это отдельная вещь? А что можно сказать о лампе и ее абажуре или о машине и ее моторе? Поскольку эти пары вещей всегда встре-

чаются вместе, нас не беспокоят неточности или противоречия (например: "они купили лампу; лампа красивая, но абажур безобразный"). Здесь мы оказываемся, так сказать, в эпицентре нашего расщепления мира на индивидуальные вещи.

До сих пор я говорил о типах индивидуальных вещей. Как может показаться, мы часто распознаем индивидуальные вещи, не зная, к какому типу они принадлежат. Однако следует заметить, что типизация индивидуальных вещей, в сущности, подобна таким регулятивным идеям, как "каждое событие имеет причину". Мы не согласились бы с утверждением, что какая-то индивидуальная вещь не принадлежит ни к какому типу (если бы вообще поняли, что могло бы означать такое утверждение), поэтому мы всегда истолкуем подобное положение дел как свидетельство того, что наших знаний недостаточно и эту индивидуальную вещь следует подвергнуть более тщательному (научному) исследованию.

Два способа собирания *Nss* помогают нам объяснить заметную разницу между такими терминами, как "Ренессанс" или "государство", с одной стороны, и терминами, обозначающими обычные вещи вроде собак и снежинок, с другой. Следует заметить, что, когда, например, благодаря биологическим или психологическим исследованиям обнаруживаются новые особенности человека (т.е., когда к *Nss*, сформулированным в соответствии с "точкой зрения младенца" на мир, добавляются новые высказывания), значение термина "человек" может оставаться без изменений. То, чем является или не является человек, по сути, защищено от открытий, которые биологи или психологи могут однажды сделать относительно человека (очевидно, что здесь под удар ставится не референциальная способность термина "человек", которая довольно беспроблемна, но его значение). С другой стороны, термины вроде "Ренессанса" или "холодной войны", не имеют такого устойчивого значения: каждая история Ренессанса добавляет различные коннотации к этому термину. Конечно, имеется некоторое слабое ядро, которому свойственно воспроизводиться вновь и вновь: термин "Ренессанс", по большей части, ассоциируется с возрождением интереса к античности. Но даже такое "ядро" не имеет неизменной устойчивости. Будущие историки, возможно, будут умалять или даже

отрицать это возрождение классики в Ренессансе или считать, что "сущность" Ренессанса следует искать в чем-то ином, сохраняя при этом сам термин "Ренессанс". Кто-то мог бы даже осмелиться высказать мнение, что "картины", создаваемые историками о таких явлениях культуры, как Ренессанс, никогда не могут иметь общего для них всех элемента, поскольку, если бы такой элемент существовал, было бы некорректно говорить, что он является частью нарративной "картины" прошлого. Общее для всех людей, делающих *D*, не может состоять в том "способе", каким *a* делает *D* или каким *b* делает *D*. А *Nss* представляют собой способы видения прошлого. Однако нам не нужно придерживаться столь рискованного мнения. Мы можем удовлетвориться констатацией того, что в отношении большой и, несомненно, наиболее значимой, с точки зрения историографии, доли высказываний, сформулированных в исследованиях по Ренессансу, всегда можно поставить осмысленный вопрос: входит ли это действительно в значение термина "Ренессанс"? И хотя немалое число высказываний о Ренессансе приемлемо для всех (например что Ренессанс не приходится ни на время правления Карла Великого, ни на время правления Людовика XV, что Ренессанс не был королем Англии и т.п.), этот класс высказываний (если считать их осмысленными) никогда не может в сумме составить "отрицательное" определение Ренессанса, удовлетворяющее как историков, так и философов-нарративистов. Ибо *Nss* (или их типы) нельзя определить путем перечисления тех свойств, которых они не имеют.

Значение термина "Ренессанс" находится в постоянном изменении; в будущем все это понятие может быть даже целиком отброшено. Подобная ситуация немыслима, когда речь идет об обычных вещах и их понятиях. Биологические исследования (в отличие от исторических) никогда не приведут к элиминации понятий, обозначающих предмет их изучения (например, понятий "корова" или "человек"). Любопытно отметить, что единственный случай, когда наблюдалась тенденция в этом направлении, был вызван историческим анализом рода "человек" (т.е. теорией эволюции). Это различие объясняется тем, что экстенциональное собрание *Nss* не допускает указания неизменной конъюнкции свойств *Nss*, которые одновременно определяют конкретный вид "обычных" вещей,

тогда как это, действительно, можно сделать в случае собирания *Nss* интенциональным способом. Экстенциональная типизация препятствует тому, чтобы мы отделяли форму от содержания. Каждое индивидуальное государство, религия, направление в культуре и т.п. — это целый мир, его нельзя расколоть на 1) общую форму и 2) конкретное содержание. Протест Гегеля против формализма является в этой связи весьма уместным¹⁶.

Тот факт, что мы всегда можем осмысленно обсуждать, чем является и чем не является Ренессанс, составляет отличие таких терминов, как “Ренессанс” или “холодная война” от терминов, обозначающих обычные вещи вроде собак и снежинок. Всегда возможно написать историю такой “обычной” вещи, как Людовик XIV или Версальский дворец: поскольку части *Nss*, собранные интенциональным способом и обозначающие конкретные типы вещей, всегда можно развернуть (несколькими способами), превратив в полные *Nss* (например в историю Людовика XIV или Версальского дворца). С другой стороны, мы не можем написать историю Ренессанса или историю некоторого государства, как бы много явлений ни свидетельствовало об обратном: такие термины, как “Ренессанс” или “государство *S*” всегда указывают на полные *Nss*, которые можно типизировать только экстенциональным способом, а было бы абсурдно писать историю некоторой *Ns*, ибо *Nss* не имеют истории. Историографические исследования, которые ошибочно называют историей холодной войны или историей Ренессанса, не являются историями “вещей”, которые существовали в прошлом в том же смысле, в каком существовал Людовик XIV; они представляют собой описания

¹⁶ Ср. Гегель Г.В.Ф. *Философия истории*. СПб. 1993. С. 117.: “Точно так же и при сравнении различных философских рассуждений, о которых мы упоминали, упускается из виду то, что единственно важно, а именно определенность единства, которое открывают как в китайской, так и в элейской философии и в философии Спинозы, и различие, заключающееся в том, понимается ли вышеупомянутое единство абстрактно или конкретно, и именно настолько конкретно, что оно мыслится как единство в себе, которое есть дух. Однако это приравнение [т.е. формализм. — Ф.А.] доказывает именно то, что производящие его таким образом признают лишь абстрактное единство, и когда они судят о философии, они не знают того, в чем состоит интерес философии”.

определенных аспектов европейского прошлого, выражающие определенную “картину” или *Ns* этого прошлого. Именно на эти картины или *Nss* мы можем сослаться с помощью таких терминов, как “Ренессанс” или “холодная война” (хотя нам следует помнить о неоднозначности этих имен собственных). Поэтому мы можем сказать, что существует много ренессансов и много холодных войн; таким же образом мы имеем множество “революций” не только потому, что есть французская, американская, русская революция, но и потому, что было создано много *Nss* для объяснения каждой из этих революций. И когда мы говорим это, мы всегда ссылаемся на большое число полных *Nss*. Стало быть, тот факт, что мы говорим о “революциях” (во множественном числе), о “государствах” (во множественном числе) и т.д. (хотя кажется, что была только один Ренессанс или только одна холодная война), не означает, что “вещи” вроде революций и государств следует включить в один класс вместе с такими обычными вещами, как человеческие существа или дворцы. Всякий, кто говорит о “революциях” или “государствах” во множественном числе, собирает полные *Nss* экстенциональным способом и не имеет в виду тип вещей, соответствующий интенциональному абстрагированию от полных *Nss*.

Конечно, мы можем предложить интенциональную типизацию таких сущностей; например, группа людей организуется в “государство”, когда они обладают властью “de faire et casser la loi” (Боден), но такую интенциональную типизацию всегда можно поставить под вопрос. Так, типизация Бодена была отвергнута в романтических теориях государства. Подобным образом и мы всегда можем осмысленно спросить: “Была ли американская революция действительно революцией?” (Бринтон отвечал на этот вопрос утвердительно, а Баррингтон Мур — отрицательно)¹⁷. С другой стороны, можно было бы утверждать вместе с Ранке и Бакейзенем ван ден Бринком¹⁸, что восстание в Нидерландах в действительно-

¹⁷ “Писать и отменять законы”. — *Прим. ред.*

¹⁸ Barrington Moor Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Aylesbury 1969; p. 112; C. Brinton, *The Anatomy of Revolution*, New York 1965; p. 24.

¹⁹ Ранке писал: “noch einmal machte sich das lokale Interesse gegen alle Eingriffe oberherrlicher Gewalt geltend. Die Revolution der Niederlande besteht darin,

сти было революцией. И хотя до сих пор историки редко это делали, они не смогли бы лишить этот вопрос, просто назвав любого, кто считает восстание в Нидерландах революцией, глупцом, который даже не представляет, что такое революция. Поэтому они со скептическим интересом будут ждать аргументов в пользу такой необычной позиции. Подобные споры нельзя разрешить, обращаясь к концептуальному знанию. Но у кого нашлось бы терпение ждать аргументов от человека, называющего лошадь коровой? Как следствие, мы можем найти в этом критерий, позволяющий различать собрания *Nss*, типизированные интенциональным и экстенциональным способами. Если вопрос: "Это действительно *x*?" является осмысленным, то *x* соответствует множеству *Nss*, которые можно типизировать только экстенциональным способом; если нет, то соответствующие *Nss* можно типизировать интенционально.

Видимо, временами в нашем сложном и историческом прошлом встречаются некоторые повторяющиеся "паттерны" в неопределенном и нечетком виде; всякий раз, когда это происходит, мы склонны говорить о "революциях" и "государствах" во множественном числе, поскольку процедуры нарративизации позволяют продемонстрировать соответствующие сходства. Но такие случаи никогда нельзя истолковывать так, будто в исторической реальности был открыт новый тип обычных вещей в том же смысле, в каком исследователи открывают неизвестные виды животных; всякую попытку точно определить этот предполагаемый "тип вещей" можно с успехом оспорить, и всякая попытка описать эти повторяющиеся паттерны подлежит разумному сомнению. Единственное, чего здесь можно достичь, это экстенциональная типизация. Такие термины, как "революция" или "государство", не являются обычными видовыми понятиями вроде "стола" или "собаки"; будучи результатом экстенциональ-

dass dies den Sieg davon trägt. Tyrannie hatte einmal die Freiheit zu Folge". [и вновь местные интересы добились своего признания вопреки всем действиям верховной власти. Нидерландская революция состоит в том, что они одержали верх. Тирания вновь повлекла за собой свободу. (нем.). — Прим. перев.] Цит. по: G. Berg, *Leopold von Ranke als akademischer Lehrer*, Göttingen 1968; pp. 153—154.

ной типизации *Nss*, они не могут иметь никакого номиналистического определения. Нельзя "установить" и референцию этих терминов тем способом, который был предложен Крипке и Патнэмом¹⁹, поскольку даже споры о том, к каким объектам применимы эти термины, никогда не могут быть окончательно разрешены.

В конечном итоге, сказанное служит обоснованием тезису, не раз упоминавшемуся в этой книге, а именно что историчность предшествует индивидуальности²⁰. На первый взгляд, более правдоподобным кажется обратный порядок, т.е. сначала нам даны вещи, а их историю можно написать только после того, как мы проследим ход их изменений во времени. Но даже для обычных вещей в нашем мире эта картина является только отчасти истинной: выделить типы обычных вещей в реальности можно только после того, как произойдет историцизация мира и будет успешно выполнена интенциональная типизация *Nss*. Другими словами, наш мир содержит ряд вещей, относительно которых предполагается, что они действительно имеют историю (т.е. являются типом вещей), а уже потом мы можем написать их истории. Но поскольку историчность всегда предполагается (даже если мы имеем дело с вещью определенного типа), то индивидуальность (бытие вещью) логически не предшествует историчности. В итоге, "обычные" вещи не противоречат нашему тезису, так как мы уже знаем или предполагаем, что они имеют историю. Наконец, если есть основания говорить, что "существуют" те индивидуальные вещи, историю которых мы можем написать, отсюда можно сделать вывод, что "существование" соответствует свойству особых множеств *Nss*, а именно интенционально типизируемых. Как сама природа реальности, так и процедуры нарративизации, которые мы к ней применяем, определяют, будет ли конкретное множество *Nss* обладать этим свойством или нет.

Мне хотелось бы обратиться к началу этого обсуждения, когда я предложил описывать социально-историческую реальность с помощью высказываний, которые не предполагают наличия (или "существования") определенных типов ин-

¹⁹ См.: S. Kripke, H. Putnam, *Is Semantics Possible?*, *Metaphilosophy* 3 (1970).

²⁰ Ср. с. 168 настоящей книги.

дивидуальных вещей. Мы обнаружили, что на этой наиболее элементарной основе и благодаря двум различным способам типизации *Nss* можно объяснить существование обычных вещей и групп неуловимо похожих *Nss* (например касающихся "Ренессанса"). Несомненно, с полным основанием будет выдвинуто возражение, что подобная процедура представляется в высшей степени нереалистическим описанием того, как вводятся в употребление такие термины, как "Ренессанс". Каждый пишущий о Ренессансе предполагает наличие необычайно широкого и разнообразного множества индивидуальных вещей вроде картин, скульптур, государственных деятелей, кондотьеров, пап, философов и т.д. Заниматься историографией Ренессанса, не допуская существования этих типов индивидуальных вещей, почти невозможно. Следовательно, продолжил бы оппонент, нельзя написать историю, не признавая определенных (типов) индивидуальных вещей в (исторической) реальности. Так что индивидуальность должна предшествовать историчности, а не наоборот. Мой ответ на это возражение будет следующим. Когда я утверждал, что историчность предшествует индивидуальности, я всегда имел в виду историчность и индивидуальность *одной и той же вещи*; я подчеркивал, что как таковые индивидуальные вещи можно выделить в реальности только на основе соответствующих *Nss* (воплощающих их историчность), из которых они были созданы (в ходе интенциональной типизации). Поэтому настоящее возражение было бы уместным только в том случае, если можно было бы показать, что сначала нам дана вещь (называемая "Ренессанс"), а потом пишется ее история. Но осуществленный мною анализ понятий, подобных "Ренессансу", никоим образом не обязывает меня принимать такую точку зрения.

Я хотел бы добавить несколько замечаний к сказанному. Во-первых, возможно, по крайней мере теоретически, переформулировать высказывания, составляющие нарративную субстанцию *Ренессанс*, таким образом, чтобы устранить предположение о наличии в нашем мире определенных (типов) вещей. Несомненно, это довольно необычная задача, но ее можно было бы выполнить. Но, во-вторых (и это гораздо важнее), необходимо отметить, что проблема историзации или нарративизации нашего мира остается той же самой

а) на наиболее элементарном уровне (где, в конечном счете, формируются понятия (типов) обычных индивидуальных вещей) и б) на уровне, где формируются такие понятия, как "Ренессанс". На обоих уровнях историзация происходит без существования индивидуальной вещи (например "Ренессанса"), история которой пишется. Когда создается относящаяся к Ренессансу *Ns* признание наличия определенных (типов) индивидуальных вещей в исторической реальности, таких как Рафаэль или "Мона Лиза", ничего не меняет. То, что такие индивидуальные вещи даны историку, когда он создает относящуюся к Ренессансу *Ns* наилучшим образом отвечает практике написания истории, но не имеет значения для нарративной логики.

Но, быть может, даже историографическая практика не так уж сильно зависит от наличия (типов) индивидуальных вещей, как мы могли бы предположить. Наше знание и наши идеи о прошлом в значительной степени "направляются" такими *Nss*, как "Ренессанс", по крайней мере, в большей степени, чем знанием индивидуальных вещей (которые по большей части выполняют "иллюстративную" роль (см. с. 198). Предположим, что человека, несведущего в истории, нужно познакомить с европейским прошлым, скажем, с 1400 по 1550 год. В этом случае лучше всего начать с изложения идей "Ренессанс", "упадок Церкви" или "возникновение новых монархий" (все это *Nss!*), а не снабжать его массой биографических подробностей из жизни отдельных пап, монархов или писателей. Очевидно, что по своему познавательному значению эти *Nss* намного превосходят высказывания о действиях или характерных чертах отдельных личностей. Эти высказывания — просто материал для настоящего исторического знания, но не само историческое знание. Так что даже для историографической практики знание *Nss* более существенно, чем знание индивидуальных вещей.

И последнее замечание, которое я хотел бы добавить. Как показывает пример с гвоздями, решение о том, следует ли предпочесть экстенциональную или интенциональную типизацию, всегда является прагматическим. Нарративная логика утверждает лишь, что мы вольны выбрать одну из двух возможностей: 1) можно попытаться провести интенциональную типизацию *Nss*, относящихся к государствам или рево-

люциям, и 2) можно говорить о мире так, как если бы он не содержал никаких (типов) индивидуальных вещей. Однако в первом случае окажутся неискоренимыми путаница и разногласия, а во втором могут стать безнадежно громоздкими высказывания о реальности. Тем не менее, признание определенных (типов) индивидуальных вещей может иметь только прагматическое, а не логическое обоснование. И хотя в некоторых случаях будет трудно решить, какую процедуру типизации следует предпочесть (возьмем такие понятия, как "парламентская демократия" или "республика"), даже тогда непозволительно не учитывать, какую процедуру типизации мы имеем в виду, когда употребляем эти термины.

(3) *Обозначают ли нарративные субстанции?* Конечно, на этот вопрос можно ответить утвердительно в отношении имен *Nss* (если *Nss* таковые имеют): они обозначают *Nss*, которые именуют. Но можно ли сказать, что *сами* нарративные субстанции что-то обозначают? Вначале кажется разумным предположить, что они могут это делать: разве не должно быть "нечто" такое в исторической реальности, чему соответствует *Ns*, скажем, о Ренессансе? Безусловно, если бы мы отрицали такое соответствие, создание *Nss* показалось бы совершенно произвольным делом, когда воображению историка не положены никакие пределы. Либо *Nss* действительно что-то обозначают, либо они просто побуждают к историографическим мечтаниям. Такова наша первая реакция на этот вопрос. И, тем не менее, я считаю эту реакцию ошибочной.

Nss состоят из множеств высказываний. Тогда, если допустить, что наши доводы против нарративного редукционизма убедительны, то, несомненно, *Nss* представляют собой "нечто" большее, чем простые конъюнкции высказываний. Однако в той мере, в какой можно говорить о существовании когнитивной связи между *Nss* и исторической реальностью, направление этой связи всегда определяется высказываниями, содержащимися в *Ns*. Как мы увидим в следующей главе, *Ns* является чем-то *большим*, чем простая конъюнкция высказываний, благодаря тому, что выражается в "точке зрения" на прошлое, которая предлагается в нарративе и с которой нас призывают взглянуть на историческую реальность. Хотя подобные "точки зрения", конечно же, отчасти обуславливаются природой самой исторической реальности, они не

обозначают историческую реальность. Говоря метафорически, указать точку зрения не значит "направить читателя *назад* к реальности" (что является сутью всех актов референции), но, напротив, это означает "вызволить его *оттуда*". Отсюда следует, что вопрос о том, могут ли *Nss* что-либо обозначать, в конечном счете, можно свести к вопросу о том, обозначают ли что-нибудь высказывания об исторической реальности (*nota bene*: не *части* высказываний, а *целые* высказывания).

Эта проблема уже привлекла внимание философов, хотя они главным образом занимались референцией предложений, а не суждений (или высказываний). Согласно хорошо известной точке зрения Фреге (которую позже также отстаивал А. Черч) предложения обозначают истину и ложь. Фреге считал, что, подобно именам собственным, предложения имеют как смысл (суждение, выраженное в предложении), так и референцию (истина или ложь). Если прав Гэйл²¹, эта странная терминология объясняется намерением Фреге разрабатывать экстенциональную логику. В чем точно состояли аргументы Фреге, не должно нас беспокоить в данном контексте. Более важно отметить, что Фреге изучал референцию предложений, в то время как нас интересует референция высказываний. Но даже если мы отбросим в сторону это затруднение, предположение Фреге относительно референции предложений принесет нам мало пользы. Я не буду углубляться в обсуждение возражений, уже выдвинутых против решения Фреге (например, Даммитом²²), но ограничусь лишь тем указанием, что если бы мы заняли позицию Фреге, все приемлемые *Nss*, какими бы ни были их различия, обозначали бы одну и ту же вещь, т.е. истину. Я не представляю, как следует понимать такое решение. Оно больше напоминает необычный оборот речи, нежели разумный ответ на разумный вопрос. Можно засомневаться в том, имеет ли здесь слово "обозначать" то же значение, которое оно обычно имеет.

Как правило, слово "обозначать" используется для указания особой связи между языком и реальностью. Такой подход является более перспективным. Первоначально мы склонны

²¹ R.M. Gale, Propositions, Judgments, Sentences and Statements, in P. Edwards ed., *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol 6, London 1967; p. 501.

²² M. Dummett, Truth, in P.F. Strawson, *Philosophical Logic*, Oxford 1973; pp. 49 ff.

связывать референциальную способность исключительно с субъектом в таких высказываниях, как “Мария срезает красную розу”. Здесь имя собственное “Мария” обозначает конкретного человека, между тем как предикат “срезает розу” приписывает этому человеку особый вид действия, т.е. срезание красной розы. Поэтому, очевидно, в более общем случае субъект высказывания обозначает некоторую вещь, а предикат что-то приписывает той вещи, которую обозначает субъект. С этой точки зрения, задача установления того, какие выражения являются обозначающими, сводится к выявлению выражений, которые могут быть субъектами высказываний. А это означало бы, что, какие бы выражения мы ни обнаружили, Nss никогда не будут что-либо обозначать, поскольку высказывания (т.е. Nss) не являются субъектами высказываний. Следует заметить, что очевидное возражение, согласно которому Nss могут быть субъектами высказываний, например в “ N_1 есть p ”, возникает из-за смещения имен Nss (например “ N_1 ”) и того, что эти имена обозначают (т.е. самих Nss).

Но почему мы должны накладывать такие ограничения на референциальную способность выражений? Неужели было бы неверно сказать, что выражение “красная роза” что-то обозначает? Безусловно, отдельная вещь вводится в язык, когда ее выражают словами. То же самое верно и для глагола “срезать”. Можно даже утверждать, что слово “красный” обозначает, поскольку оно осуществляет “референцию к некоторому признаку”²³. Из этих соображений вместе с Моеем мы можем сделать вывод о том, что нам следует использовать “родовое понятие референции, по отношению к которому референция к объекту и референция к признаку являются видовыми вариантами”²⁴. В результате этой стратегии понятие референции получает очень широкое применение. Только термины, содержащие ссылку на несуществующие вещи, или слова, выражающие предикаты таких отношений, как “после” и “больше чем”, вероятно, вызывали бы некоторые трудности. Но даже подобные термины можно было бы считать обозначающими, если бы понятие референции было настолько расширено, чтобы включить в себя также и “референцию” к тем

²³ Этот подход был предложен Смедницким; см.: Мооij; p. 41.

²⁴ Мооij; pp. 41–42.

свойствам реальности, которые “создаются” имеющимися в нашем распоряжении языковыми инструментами. Так, “неприсутствие определенной вещи в реальности” можно было бы трактовать как свойство реальности, которое мы обозначаем (или можем обозначать) с помощью слова “х”, когда говорим, что “х не существует”. Во всяком случае, если нет ничего иррационального в том, чтобы понятие референции было столь емким, то почему же нельзя было бы сказать, что целые высказывания что-то обозначают? И сразу появляется наиболее очевидная кандидатура на роль референта, т.е. событие. Почему бы не рассматривать событие срезания Марией розы как идентифицируемую индивидуальную вещь, на которую вы можете указать? Конечно, с этой точки зрения, кажется вполне разумным предположение о том, что высказывания как таковые могут что-то обозначать.

Однако сразу же возникают трудности. Возьмем высказывание “в 1670 году Людовик XIV и Карл II заключили тайный договор в Дувре” (с помощью которого обе монархии намеревались добиться падения Голландской республики). В качестве индивидуальной вещи обозначаемое событие ведет себя весьма необычно. Если мы располагаем соответствующей информацией, то всегда можем выяснить, правильно или неправильно приписываются определенные свойства конкретной индивидуальной вещи, на которую мы ссылаемся в высказываниях. Однако в случае события заключения договора в Дувре мы поставлены перед трудной дилеммой. Входят ли те факты, что договор был заключен в определенном помещении и был записан на конкретном листе бумаги, в это событие или нет? В высказывании эти факты прямо не упоминаются, поэтому кажется, что они не являются частью события. С другой стороны, они несомненно являются аспектами самого этого события. Поэтому следует ли нам отвергнуть как ложное описание заключения договора в Дувре, содержащее неверную информацию о помещении, в котором этот договор был заключен? Это выглядит так, как если бы высказывания, указывающие на события, подобно нарративам имели “уязвимое место” (см. главу III, раздел (4)). И если мы вправе утверждать, что высказывания, в отличие от имен Nss , не обладают референциальной способностью, мы могли бы предложить считать высказывание о договоре в

Дувре именем высказывания, содержащегося в *Ns*, которая имеет это высказывание в качестве своего уникального свойства. В этом смысле можно сказать, что высказывание (как имя *Ns*) обозначает самое себя (как *Ns*). И действительно, именно так, по моему мнению, следует понимать референцию высказываний. Таким образом, по меньшей мере, отчасти сказанное в этой книге о нарративах также будет иметь силу и для высказываний о событиях. Нарратив, так сказать, оказывает определенное влияние на высказывание о событии. Различие между положениями дел и событиями соответствует различию между высказыванием, истолкованным как высказывание о реальности, и высказыванием, воспринимаемым как имя собственное *Ns*, которая имеет это высказывание в качестве своего уникального свойства. Следовательно, это различие не имеет ничего общего с внутренним или существенным различием между положениями дел и событиями как таковыми, но применимо только к тому, как мы обычно интерпретируем выражающие их высказывания. Если высказывание является естественным компонентом нарратива, то мы видим в нем высказывание о событии; если высказывание является более самостоятельным, то оно описывает положение дел.

Все же, наша проблема состоит в референции высказываний, а не их имен, поэтому давайте вернемся к вопросу о том, можно ли считать высказывание о договоре в Дувре обозначающим. Если мы признаем, что это высказывание как таковое действительно что-то обозначает, то имеются две возможности: 1) то, что обозначает данное высказывание, — это сумма из того, что обозначают отдельные его компоненты, 2) то, что обозначает данное высказывание, отличается от этой суммы. Если выбрать первую возможность, то покажется странным утверждение о том, что высказывания как таковые должны что-то обозначать. Действительно, можно сказать, что каждый отдельный голландец платит налоги или голландский народ платит налоги. Но, к счастью, даже в Голландии налоги платят только один раз, а не два. Подобным образом, нельзя утверждать, что высказывания как таковые обозначают наряду с их отдельными компонентами, по крайней мере, если имеется в виду, что и высказывания и их составные части выполняют свою особую референциальную

задачу. Теперь рассмотрим вторую возможность. Здесь мы можем спросить, в чем заключается разница между тем, что обозначает высказывание как таковое, и тем, что обозначают взятые вместе отдельные компоненты этого высказывания. Или, другими словами, в каком отношении событие (т.е. то, что, по предположению, обозначается высказыванием) отличается от включенных в событие людей, действий и т.п. (т.е. от того, что обозначается компонентами высказывания)? Боюсь, что на этот вопрос можно ответить, если вообще можно, только затратив огромные схоластические усилия на решение предварительных проблем. Например, что именно мы делаем, когда складываем вместе референты? Могут ли такие суммы образовывать новые референты? Список этих странных вопросов может быть при желании продолжен.

Поэтому попытаемся иначе подойти к проблеме возможной референции высказываний к событиям. Давайте еще раз рассмотрим приведенное выше высказывание о Дуврском договоре 1670 года. Мы можем описать это событие отнюдь не одним способом: например “в 1670 году Людовик XIV и Карл II поставили свои подписи под Дуврским договором” (1) или “в 1670 году Людовику XIV удалось полностью подорвать политическое положение Голландской республики” (2). Определенно, высказывания (1) и (2) обозначают одно и то же событие, если вообще высказывания что-то обозначают. Далее, если два выражения имеют один и тот же референт, то они взаимозаменяемы *salva veritate*^{*}. Очевидно, что здесь это не так: “х считает, что (1)” не позволяет сделать вывода о том, что “х считает, что (2)”. Но даже если мы оставим в стороне неэкстенциональные контексты, замена все равно вызывает затруднение. Ибо, несомненно, то, что обозначается во втором описании, является следствием из того, что обозначается в первом описании, если предположить, что высказывания могут обозначать события. Избежать таких нелепых выводов можно только в том случае, если мы откажем высказываниям в способности обозначать. Следует отметить, что научные высказывания могут вызывать такого же рода затруднения. Одно и то же положение дел можно описать как высказыванием 1) “электрический ток течет от *A* к *B*”, так и высказыванием 2) “электро-

* При сохранении истинности (лат.). — Прим. перев.

ны движутся от В к А", хотя будет неуместным считать то, что обозначает 2), причиной того, что обозначает 1). Тем не менее, причинная связь между 1) и 2) в этом случае не столь очевидна, поскольку здесь относительно трудно отделить одно описание от другого. Мы можем легко представить себе, что Людовико XIV и Карлу II удалось подорвать политическое положение Голландской республики иным способом, а не благодаря договору в Дувре. Тогда как именно научное знание, позволяющее нам утверждать равнозначность высказываний 1) и 2) об электрическом токе, не дает нам разделять эти два высказывания. Объясняется это, вероятно, тем, что различия в описаниях историками того, что считается одним и тем же событием, могут быть по характеру более разительными, чем различия в научных описаниях. Поэтому в истории событие может иметь настолько несходные описания, что допустимо доказывать наличие причинной связи между тем, что обозначают эти два его описания.

Если высказывания, содержащиеся в *Nss*, не обозначают, то нельзя говорить и о референции самих *Nss*. Что касается исторической реальности, то *Ns* может иметь не меньше и не больше объектов референции, чем содержащиеся в ней высказывания, а именно ни одного. Может показаться довольно странным, что такие *Nss*, как "Ренессанс" или "государство", не имеют никаких референтов в исторической реальности, но иного решения нет. Здесь может быть полезен следующий пример. Рассмотрим нарративную субстанцию "маньеризм", которая была введена в начале этого века историками искусства, такими как Ригль, Дворжак и Певснер, в целях более точного понимания перехода от Ренессанса к барокко в живописи и скульптуре (я не буду касаться различий между *Nss*, предложенными каждым конкретным историком искусства)²⁵. Предложение выделить "маньеристский" этап в итальянской живописи XVI века, конечно же, совершенно непохоже на открытие Плутона Томбогом в 1930 году или на открытие электромагнетизма Эрстедом. Уже это наводит на мысль, что в то время как планета Плутон или физическое явление, называемое "электромагнетизмом", действительно существуют, не следует полагать, что историческая реальность содер-

²⁵ См. F. Baumgart, *Renaissance und Kunst des Manierismus*, Köln 1963.

жит нечто такое, что мы можем обозначить с помощью *Ns*, называемой "маньеризм". Если будущий историк искусства заявит, что не было никакого "маньеристского" этапа в итальянском искусстве XVI века, его не обвинят в том, что он или слеп, или просто шутит. Но это, без сомнения, произошло бы с тем, кто стал бы отрицать, к примеру, электромагнитные явления. Мы просто можем видеть, как реагирует стрелка компаса на электрический ток, который проходит вблизи нее. И хотя физики могут расходиться во мнении относительно правильного объяснения этого явления, нет оснований отрицать само это явление. Тот факт, что наши наблюдения физических явлений в какой-то мере зависят от того, какие (физические) теории мы используем для их описания, не должен склонить нас к защите сходного тезиса в отношении историографии. Любой приверженец некоторой физической теории точно представляет, о каких физических явлениях говорит его теория (если это не так, то он просто не понимает данной теории). С другой стороны, историографические дискуссии, например о Ренессансе, исключительно посвящены вопросу о том, как можно использовать термин "Ренессанс" с тем, чтобы понять историческую реальность. Или, иначе говоря, то, что является просто необходимым условием понимания физической теории, для историков при их подходе к (исторической) реальности всегда выступает предметом разногласий. Там, где начинаются точные науки (т.е. с уяснения того, как термины относятся (отсылают) к реальности), заканчивается историография (здесь я хотел бы напомнить сказанное на сс. 134—135). Повторяю, следует относиться с подозрением к любой попытке усмотреть сходства между точными науками и историографией; такие сходства, действительно, могут существовать, но отстаивать их следует всегда с позиции, не предполагающей заранее никаких таких сходств. Мне хотелось бы вернуться к тому, что было сказано в главе V, раздел (4). Если бы *Nss* обозначали историческую реальность, историографическая дискуссия была бы бесполезной. Если бы *Nss* обозначали определенные "вещи" в исторической реальности, историографическая дискуссия, учитывая очень конкретный и нетеоретический язык, которым пользуются историки, была бы не более, как обращением к тому, что мы можем слышать своими ушами и видеть своими глазами. Здесь я

хотел бы напомнить то, что обосновывалось в главе V, раздел (3). Дискуссии о том, следует ли использовать понятие “маньеризм”, касаются не наличия или отсутствия определенной “вещи” в прошлом, на которую мы можем ссылаться: как мы могли бы не увидеть такую “большую” вещь? Айер как-то подверг критике “мнение о том, что если что-то можно показать, то об этом можно и говорить”²⁶; всякий кто думает, что *Nss* что-то обозначают, допускает обратную ошибку, т.е. считает, что если о чем-то можно говорить, то его можно и показать. Но хотя мы можем осмысленно обсуждать “маньеризм”, его никогда нельзя показать.

Если уж на то пошло, “маньеризм” — это способ видения картин Россо Фьорентино, Понтормо или Пармиджанино²⁷, а не сами эти картины или даже их аспекты. Указанием или ссылкой на определенные картины Пармиджанино или их характерные особенности никогда нельзя раскрыть, что такое “маньеризм”, но можно лишь прояснить некоторый смысл, но сами они этим смыслом не являются; здесь акты референции подобны цитатам на неизвестном языке — очевидно, что кто-то хочет передать нам некое сообщение, но у нас нет необходимых средств, чтобы раскрыть его. Только высказывания позволяют преодолеть этот разрыв. Я знаю, что мы интуитивно противимся той мысли, что *Nss* ничего не обозначают: конечно же, “маньеризм” должен иметь какое-то отношение к картинам Понтормо или Пармиджанино, иначе мы могли бы с тем же основанием поместить “маньеризм” во времена Карла Великого. Однако слово “маньеризм” обозначает высказывания о данных картинах, но сами эти высказывания не обозначают картин (или чего-то еще), хотя компоненты этих высказываний действительно их обозначают. Поэтому нам следует преодолеть наше интуитивное сопротивление и удержаться от постулирования вещей в историче-

²⁶ Ayer (1); p. 54.

²⁷ Россо Фьорентино (или Флорентино) (1494—1540) — итальянский живописец, представитель маньеризма. — Прим. ред.

Понтормо (Якопо Карруччи) (1494—1557) — итальянский живописец, представитель флорентийской школы. — Прим. ред.

Пармиджанино (Франческо Маццола) (1503—1540) — итальянский живописец, ведущий представитель маньеризма. — Прим. ред.

ской реальности, которым соответствуют такие термины, как “маньеризм”, “холодная война”, “государство” и т.д. Как это ни странно, но нарративный реализм (побуждающий нас постулировать такие объекты в историческом прошлом) более идеалистичен в этом отношении, в большей мере склоняет к мысли, что вещи соответствуют словам, нежели нарративный идеализм. Однако большинству терминов, которые мы используем в дискуссиях о прошлом, никакие идентифицируемые объекты не соответствуют. Решающее значение имеет то, обозначают ли эти термины некоторую *Ns* или они являются видовыми понятиями. Итак, поскольку термин “падение Римской империи” обозначает *Ns*, мы можем согласиться с Мунцем, когда он пишет: “Нет никакого смысла в том, чтобы представить себе, будто была такая вещь, как падение Римской империи, а затем исследовать, является ли верным объяснение Гиббона, Ростовцева или Сика (...). “История упадка и разрушения Римской империи” Гиббона или история Ростовцева — это не две попытки описать одно и то же событие, но два совершенно разных исторических повествования. Существует не одна совокупность событий с двумя различными каузальными объяснениями, но два повествования о совокупностях событий”²⁷. В самом деле, нет такой вещи как “падение Римской империи”. Стоит упомянуть только одну проблему: когда пала Римская империя? В 395 году, когда империя была поделена на две половины, или в 476 году, когда Ромул Августул был низложен Одоакром, или когда империя стала христианской, или когда исчез городской средний класс, так называемые “куриалы”? Или же Римская империя пала в то роковое утро 30 мая 1453 года, когда Мухаммед II взял штурмом стены Константинополя? Причины упадка, симптомы упадка, упадок и само падение империи стали неразличимыми в дискуссиях по этой известной теме. И это типично для исторической аргументации. Всякая попытка исправить это положение дел обернулась бы формализмом, совершенно чуждым историческому методу.

Все ответы, только что упомянутые мною, в свое время отстаивались историками. Я совершенно убежден, что можно разумно оценить относительную правдоподобность всех этих

²⁷ Munz (1); p. 122.

ответов, но нельзя решить указанный вопрос, просто осмотрев объект, известный всем как "падение Римской империи", и затем установив, в какой момент времени или в какой период он появился на свет. Nss — это не "стенографические значки" (как утверждают сторонники спекулятивной философии истории и приверженцы "истории как социальной науки"), позволяющие нам говорить о вещах в исторической реальности: самому прошлому неведомы никакие "падения Римской империи", никакие "Ренессансы", никакие "социальные классы", никакие "государства"; в отличие от объектов нашего обычного мира, эти "вещи" существуют исключительно в нарративистском универсуме. И этот нарративистский универсум обладает замечательной степенью автономности: по крайней мере, его содержимое никоим образом не является простой проекцией или картиной исторического прошлого.

Если Nss ничего не обозначают, тогда вполне можно задаться вопросом, как же действительно осуществляется референция к реальным вещам. Как согласуется референция к вещам с той картиной распознавания индивидуальных вещей в реальности, которая была нами представлена в предыдущем разделе? Отвечая на этот вопрос, я ограничусь наиболее простыми случаями референции к вещам в реальности: т.е. теми случаями, когда субъект высказывания обозначает определенную индивидуальную вещь. Я надеюсь, что более сложные способы референции к реальности, в конечном счете, можно свести к этим случаям. Если же эта надежда окажется безосновательной, я не считаю, что рассматриваемая проблема имеет отношение только к нарративистской философии.

В предыдущем разделе утверждалось, что интенциональная и только интенциональная типизация Nss позволяет говорить о конкретных представителях (типов) вещей во внеязыковой реальности. Предположим теперь, что у нас есть нарративная субстанция N_1 интенционального типа T , которая содержит высказывания p, q, \dots , не принадлежащие к множеству высказываний N_1 , определяемому типом T . Пусть " T " будет Ns типа T , а " t " — элементом класса вещей, обозначенных типовым понятием, которое соответствует интенциональному типу нарративных субстанций T ; кроме того, все высказывания p, q, \dots , выражающие присутствие в реально-

сти качеств P, Q, \dots , конечно же, следует сформулировать таким образом, чтобы они не предполагали никаких (типов) индивидуальных вещей. Однако, если качества P, Q, \dots оказываются приписанными некоторой индивидуальной вещи типа T , то соответствующие атрибуты a, b, \dots предсказываются субъекту высказывания, обозначающему эту индивидуальную вещь t . Если мы все это будем иметь в виду, то сможем утверждать, что высказывания N_1 влекут за собой следующее высказывание S : "некоторая конкретная t есть a, b, \dots ". S является аналитическим высказыванием: следование S из N_1 означает, что t , которая обозначается субъектом высказывания S , действительно есть a, b, \dots . Итак, субъект высказывания S , т.е. "некоторая конкретная t " обозначает определенную t . Следовательно, S является высказыванием, в котором с помощью его субъекта осуществляется референция к некоторой уникальной индивидуальной вещи во внеязыковой реальности. Этот анализ показывает, как из Nss и содержащихся в них высказываний (которые не обозначают индивидуальных вещей ни взятые как целое, ни благодаря своим составным частям), можно вывести высказывания, субъекты которых обозначают индивидуальные вещи в реальности. И если имеется не одна t , которая есть a, b, \dots , то это не помещает субъекту в S обозначать уникальную индивидуальную вещь, хотя содержащиеся в S описания этой вещи необязательно являются ее идентифицирующей дескрипцией. Ибо высказывание S "некоторые t есть a, b, \dots " нельзя вывести из высказываний, содержащихся в N_1 .

При обсуждении референции Nss еще одна проблема заслуживает нашего внимания. В исторических работах мы иногда встречаем такие высказывания, как "Ренессанс есть p " или "холодная война есть q " и т.д. Мы можем трактовать эти высказывания двояко. Во-первых, в некоторых случаях эти высказывания можно с полным основанием считать избыточными и выражающими просто " p " или " q ". Ибо когда мы сталкиваемся с такими высказываниями, как " p " или " q ", нам всегда следует читать их как " N_1 есть p " или " N_1 есть q " с тем, чтобы определить их нарративное значение, поскольку, с нарративистской точки зрения, высказывания в нарративе являются высказываниями о Nss . Однако, когда историк пишет: "Ренессанс есть p " вместо просто " p ", он лишь стремится

подчеркнуть, что "р" действительно входит в его *Ns* о Ренессансе. Здесь мы не встретим каких-либо затруднений: субъект в этих высказываниях обозначает некоторую конкретную *Ns*, и высказывание в целом является аналитически истинным. Все это согласуется с тем, что пока было сказано о *Nss*. Но в некоторых других случаях мы можем столкнуться с высказываниями о *Nss*, которые, по всей видимости, нельзя тривиальным образом свести к высказываниям, содержащимся в отдельной *Ns*. И тогда возникнут трудности. Например, после чтения книги Гэддиса об истоках холодной войны мы могли бы сказать: "Все же, пересмотренное описание холодной войны (т.е. конкретная *Ns*) не оказалось обоснованной оценкой политической истории, скажем, с 1941 года"²⁸. Несомненно, это высказывание имеет вид "эта *Ns* есть *p*". Вообще говоря, в историографических дискуссиях часто высказываются такого рода утверждения о *Nss*. Из этого примера явствует, что подобные высказывания никогда нельзя (тривиальным образом) свести к высказываниям, содержащимся в некоторой *Ns*: ни одно историческое описание не охарактеризует себя как необоснованную оценку прошлого. Тем не менее, можно было бы сказать, что, будучи высказыванием о некоторой *Ns*, такое высказывание является свойством *Nss*.

Однако, если мы признаем такое свойство *Nss*, это, несомненно, будет противоречить положению, сформулированному в разделе (1) этой главы, а именно, что только высказывания, содержащиеся в *Ns*, можно считать свойствами *Ns*. Я решительно возражаю против трактовки рассматриваемого вида высказываний как дополнительных свойств *Nss*; признание их в качестве свойств *Nss* привело бы к пагубному смещению уровня обсуждения самого прошлого и *взглядов* о прошлом. Такое смещение напустило бы тумана, и вновь исчезла бы вся ясность, которой столь трудно добиться, особенно в анализе историографии. Более того, если бы мы признали такого рода высказывания свойствами *Nss*, мы никогда не могли бы быть уверенными в том, действительно ли *Ns* обладает каким-то определенным свойством или нет, но таким не должно быть отношение между вещами и их свойствами.

²⁸ J.L. Gaddis, *The United States and the Origins of the Cold War*, New York 1972. Краткий обзор взглядов Гэддиса см. на с. 358—361.

Ибо историографические дискуссии всегда затрагивают вопрос о приемлемости конкретных высказываний такого рода. Мы можем считать такие высказывания выражающими свойства *Nss* только в том случае, если мы принимаем некоторое данное состояние историографического обсуждения за абсолютное. А это опять было бы равносильно отрицанию всего *raison d'être* написания истории. Поэтому я предлагаю рассматривать высказывания указанного вида не как высказывания о *Nss*, приписывающие им определенное свойство, но как высказывания о наших мнениях по поводу достоинств определенных *Nss*. А такие мнения нельзя считать свойствами самих *Nss*. Точно так же было бы странно говорить, что мнения людей о нас относятся к нашим характерным чертам.

И, наконец, нам следует рассмотреть такие высказывания, как "Англия сдала позиции в период после второй мировой войны" или "либеральный консерватизм был наилучшим ответом на угрозу тоталитаризма в первой половине XX века". Пессимистические нарративы об Англии стали писать с 1945 года; подобным же образом предлагались *Nss* (например в недавней и монументальной книге Дж.Л. Тальмона "Миф нации и видение революции"²⁹) в отношении зловещей победы политического экстремизма в первой половине нашего столетия. Именно на такие *Nss* мы ссылаемся, когда говорим, к примеру, о том, что "Англия сдала позиции в период после второй мировой войны". Подобные высказывания следует интерпретировать следующим образом: 1) имеется *Ns*, которая является примерно такой-то и такой-то, 2) эта *Ns* представляет собой приемлемую оценку фрагмента прошлого. Поэтому высказывания этого вида отсылают не к реальности, а к *Nss*, и достигается это с помощью очень небольшой процедуры индивидуализации. Многие высказывания в обычном и историографическом языке относятся к этому типу. Будучи высказываниями о *Nss*, все они являются аналитически истинными. Конечно, как мы убедились в заключении

²⁹ Разумное основание, смысл (франц.). — Прим. перев.

²⁹ Я дал оценку историографическому творчеству Тальмона в: F.R. Ankersmit, Jakob Talmon en de totalitaire staat, A.H. Huussen ed., *Historici van de 20e eeuw*, Utrecht 1981.

к главе IV, о самих *Nss*, которые им соответствуют, нельзя сказать, что они являются либо истинными, либо ложными.

(4) *Нарративные субстанции и идентичность*. В предшествующем обсуждении мы неоднократно вели речь об идентичности *Nss* и установили, как их можно индивидуализировать. Видимо, есть основания предположить, что это обсуждение должно иметь какое-то отношение к проблеме идентичности вещей: при анализе изменения часто прибегают к понятию "идентичность вещей", и в главе V мы видели, что *Nss* являются необходимым условием для того, чтобы было возможным описание изменения. Итак, нам следует поставить вопрос: можно ли вывести из нарративистской философии определенное представление о смысле понятия "идентичность *x*" (где "*x*" обозначает отдельную индивидуальность)? Я начну с анализа "идентичности личности". К сожалению, на данном этапе я должен оставить понятие "идентичность личности" без определения, поскольку различные позиции по этому старому спорному вопросу можно считать развитием различных определений этого понятия. Приняв какое-то определение, мы уже заранее решили бы вопрос, который еще только предстоит решить. Поэтому пока это понятие можно истолковать в нефилософском, общепринятом смысле. Может показаться странным начинать анализ понятия "идентичности *x*" с обсуждения идентичности личности, поскольку это наиболее проблематичный случай употребления данного понятия. Тем не менее, есть все основания построить нашу аргументацию в этом обратном порядке: мы увидим, что "идентичность личности" логически предшествует другим случаям употребления понятия "идентичность *x*".

Итак, что мы подразумеваем под "моей (или вашей) идентичностью"? Современные дискуссии по вопросу тожде-

* Используемый Анкерсмитом английский термин "identity" переводится здесь как "тождество" или "тождественность", хотя следует подчеркнуть, что речь идет о тождественности вещи самой себе, иначе говоря, о ее само-тождественности. Однако последний вариант перевода не проходит, поскольку Анкерсмит в дальнейшем использует термин "самотождественность" (англ. "self-identity") для выражения только определенного вида (само)тождественности, а именно (само)тождественности внутреннего "я" человека. — Прим. ред.

ства предполагают два ответа. Во-первых, утверждается, что высказывание "*a* тождественно (или то же самое, что и) *b*"³⁰ следует понимать так: "*a* есть то же самое *f*, что и *b*", где "*f*" обозначает общее понятие. Если речь идет об "идентичности личности", "*f*" могло бы быть понятием "человек" или чем-то более конкретным, например "голландцем" или "историком". Это так называемый *D*-тезис. Во-вторых, принимается *D*-тезис, хотя и с оговоркой, что может существовать другое понятие *g*, в отношении которого высказывание "*a* есть то же самое *g*, что и *b*" не истинно. Это так называемый *R*-тезис. Что касается идентичности личности *R*-тезис представляется наиболее правдоподобным вариантом: я буду оставаться тем же самым человеком всю свою жизнь, но вполне мог бы отказаться от нидерландского гражданства и стать американским гражданином³¹. Кроме того, и *D*-тезис и *R*-тезис требуют определенных критериев тождества, чтобы установить, при каких условиях допустимо говорить, что нечто есть то же самое *f* или то же самое *g*, что и нечто другое. Следовательно, как уже отмечалось сторонниками *D*-тезиса и *R*-тезиса, вся логическая весомость высказываний тождества покоится на этих критериях тождества³². Давайте повнимательнее рассмотрим эти критерии в случае идентичности личности. Очевидным, хотя и довольно наивным подходом было бы опереться на то, как устанавливаются личность человека полицейские и таможенные служащие, т.е. опереться на исследование отпечатков пальцев. Таким образом, если принять *R*-тезис, то высказывание "*x*₁ тождественно *x*₂" (где "*x*₁" и "*x*₂" обозначают конкретных людей) эквивалентно высказываниям "*x*₁ есть то же самое *f* (например человек), что и *x*₂" (1), "возможно, что *x*₁ не есть то же самое *g*, что и *x*₂" (если, к примеру, "*g*" выражает понятие "гражданство") (2), и при этом из (1) вытекает, что "*x*₁ есть то же самое *c*, что и *x*₂" (3), где "*c*" обозначает свойство иметь определенные отпечатки пальцев.

Хотя в дальнейшем мы установим, что в этом изображении идентичности личности есть доля истины, однако следует подчеркнуть, что этот подход к анализу идентичности

³⁰ Ср. сс. 181—182.

³¹ Критику *R*-тезиса Виггинсом см. в: Wiggins (2), особенно в главе I.

³² Ср. сс. 184—185.

личности, как он есть, сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, мы можем усомниться в надежности отпечатков пальцев как критерия идентичности личности: возможно, что чьи-то отпечатки пальцев будут трансплантированы другому человеку. Но, быть может, мы избежим этого затруднения, если обратимся к лучшему критерию тождества. В действительности философы никогда не связывали эти критерии с отпечатками пальцев, но всегда с телесной непрерывностью, непрерывностью памяти и т.д. Однако даже эти лучшие критерии, видимо, не свободны от собственных затруднений. Я не буду углубляться в это весьма бесплодное обсуждение критериев идентичности личности, но в целях аргументации предположу, что обнаружен более приемлемый кандидат на эту роль "С". Даже в этом случае мы сталкиваемся со вторым затруднением. Проблема связана с высказываниями (1), (2) и (3). Они все содержат выражение "то же самое", но именно его мы и пытаемся здесь объяснить: очевидно, что понятие "то же самое" в значительной мере выражает значение понятия "тождество". Ибо в чем же состоит концептуальное различие между прилагательными "тождественный" и "тот же самый"? Видимо, трудно исключить слово "то же самое" из (1) и (2). Все же эту проблему можно решить. Мы можем весь логический упор сделать на высказывании (3), которое вытекает из (1). Это соответствовало бы решениям, предложенным самими сторонниками D-тезиса и R-тезиса. Основанием для этого шага служит то, что, вероятно, удастся исключить выражение "то же самое" из высказывания (3) и тем самым избежать порочного круга в нашем рассуждении.

Высказывание " x_1 есть то же самое с, что и x_2 " можно переписать следующим образом: " x_1 есть C_1 и x_2 есть C_1 ", где " C_1 " — отдельное свойство x_1 и x_2 , которое определяется критерием тождества "С", связанным с вещами типа с. C_1 может выражать или свойство иметь отпечатки пальцев определенного типа, или свойство быть частью особой пространственно-временной сущности (тогда C_1 соответствует критерию телесной непрерывности), или свойство быть частью некоторой конкретной последовательности воспоминаний и/или переживаний (тогда C_1 соответствует критерию памяти). Поэтому может показаться, что тем самым понятия "тот же самый", "тождество", "тождественный" или их синонимы устранимы

из нашего анализа идентичности личности. Однако мы можем говорить об истинности высказывания " x_1 есть C_1 и x_2 есть C_1 ", только если знаем, что означает для двух людей иметь общим какое-то конкретное свойство. Итак, мы оказались в третьей ловушке: очевидно, что мы просто перешли от нашей проблемы тождественности двух людей к проблеме тождественности их свойств. Выражение "... есть C_1 " выражает общий предикат, для правильного применения которого мы снова нуждаемся в критериях тождества. Мы можем продолжать в том же духе, но так никогда и не избавимся от понятий "тот же самый", "тождество" и родственных им. По моему мнению, объясняется это печальное положение дел тем, что понятия "тот же самый", "тождество" и т.п., если их интерпретировать так, как это было сделано здесь, принадлежат к очень своеобразному классу понятий, который также содержит понятие "ценность" и, возможно, "истина". Проблема такого рода понятий заключается в том, что применение критериев их корректного употребления предполагает знание этих понятий, поскольку смысла понятия "критерий" является частью смысла этих понятий, и наоборот. Нам не следует слишком удивляться тому, что мы оказываемся беспомощными в подобных ситуациях. Этот довод усиливает убедительность того тезиса, который я отстаивал в главе V, раздел (б): когда мы пытаемся определить "тождество", мы не можем рассчитывать на анализ, сформулированный с помощью критериев тождества. Теперь этот тезис можно считать третьим возражением против обсуждаемого здесь анализа понятия идентичности личности.

Однако имеется еще и четвертое возражение, которое, на мой взгляд, является наиболее основательным. До сих пор мы обсуждали идентичность личности в надежде получить обоснованный ответ на вопрос о том, что мы имеем в виду, когда говорим, что отдельный человек (например я) есть тот же самый, что и некоторый другой человек (например я в прошлом или будущем). Но иногда идентичность личности обсуждается в совершенно ином контексте. Часто говорят, что есть своеобразное "единство восприятия и/или ощущения", которое пронизывает все наши сменяющие друг друга переживания и состояния сознания. Мы чувствуем, что наша идентичность себе делает нас единственными в своем роде людьми;

тем не менее очень трудно выразить, в чем состоит эта наша уникальность и это единство, связывающее вместе все наши переживания. Совершенная неопределенность идентичности личности в этом смысле может легко убедить нас отказаться от данного понятия как некой психологической иллюзии, не имеющей философского значения. С другой стороны, сама неясность и загадочность идентичности личности в этом смысле призывает философа исследовать именно *это* понятие идентичности личности. Можно даже надеяться, что два понятия идентичности личности (т.е. то, которое мы рассматривали в предыдущих параграфах, и то, о котором я только что говорил) как-то внутренне между собой связаны. Возможно, тогда анализ второй трактовки понятия идентичности личности прольет некоторый свет на первую его трактовку и позволит устранить ряд трудностей, с которыми мы столкнулись. В любом случае, нет оснований сомневаться в том, что две трактовки понятия идентичности личности различаются между собой: подход, предполагаемый первой трактовкой, является, говоря метафорически, “экстерналистским” — например, я рассматривается как бы со стороны. И тогда мы можем задаться вопросом, что *оправдывает* мое утверждение (но после того, как я его уже высказал), что тот и другой человек (например, я в различные периоды моей жизни) действительно являются одним и тем же. Подход, предполагаемый второй трактовкой, можно было бы назвать “интерналистским”: вопрос заключается в том, что *заставляет* меня утверждать, что я являюсь одним и тем же человеком в течение всей своей жизни.

Я согласен с Г. Д. Льюисом и Дж. Веси в том, что нам не следует смешивать интерналистский и экстерналистский подходы. Их смешением объясняется та неопределенность, которая окутывает понятие идентичности личности. Так Льюис пишет: “есть два основных смысла самоидентичности. Во-первых, есть смысл самоидентичности, который я охарактеризовал как наиболее коренной, или базовый. Именно в этом смысле некто знает себя как совершенно неделимое существо, лежащее в основе любых своих переживаний. Сейчас я осознаю себя существом, которое просто не могло бы быть иным. Вопрос о том, чтобы быть или стать каким-то другим человеком, просто не мог бы возникнуть. Я остаюсь самим

собой, каким бы ни был мой опыт. Но в каком-то другом смысле я постоянно подвергаюсь изменению. Каждое мгновение я изменяюсь; вот только что я был человеком, который смотрел на это дерево, а теперь я смотрю на лужайку (...). С точки зрения того, что я испытываю, переживаю или делаю, я никогда не являюсь одним и тем же человеком”³³. Веси принимает Льюисовскую дихотомию двух смыслов идентичности личности. Он отмечает, что в одном смысле слово “я” не обозначает отдельного человека (т.е. меня), которого можно опознать по имеющимся у него конкретным свойствам. В этом смысле слова “я” я мог бы сказать: “Это я, кто бы я ни был”. С другой стороны, выражение “это я” употребляется в том смысле, что я не являюсь каким-то другим человеком”³⁴. Отметив эти два смысла слова “я”, Веси проводит различие между “самоидентичностью” и “идентичностью личности” — первый термин относится к “коренной” (Льюис), или “интерналистской”, трактовке тождества, в то время как второй термин выражает “экстерналистскую” трактовку. С этого момента я буду придерживаться терминологии Веси. Кроме того, я буду проводить различие между “Я_{инт}” и “Я_{экс}”. Первый термин отсылает к интерналистскому способу употребления “я”, а второй — к экстерналистскому. Станет очевидным, что термин “Я_{инт}” может быть использован только *мною* в высказываниях обо мне самом.

Используя эту терминологию, мы можем констатировать, что в недавних философских дискуссиях идентичности личности было уделено значительно больше внимания, чем самоидентичности. Это обстоятельство можно объяснить нашей привычкой обращаться сначала к проблемам, которые легче поддаются решению, а затем, собравшись с духом, приступить к тому, что кажется более сложным. И, безусловно, экстернализм представляет собой гораздо более ясный и наименее рискованный подход к идентичности, нежели интернализм. Интернализм можно заподозрить в запутанном смешении психологических, эпистемологических³⁵ и логических во-

³³ Lewis; p. 239.

³⁴ Vesey; p. 31.

³⁵ Понятие “Я_{инт}”, которое здесь предложено, имеет некоторое поверхностное сходство с “трансцендентальным эго” у Канта и Витгенштейна, поскольку в

просов. Хотя я буду первым, кто признает таинственный и неуловимый характер самоидентичности, тем не менее, я с удивлением обнаруживаю, что даже такие авторы, как Льюис и Веси, удовлетворились простым заявлением об интерналистском употреблении слова “я”, не предпринимая серьезных попыток объяснить или оправдать это словоупотребление. Кроме того, они не задались вопросом, в каком отношении находятся “Я_{инт}” и “Я_{эк}”; но именно этот вопрос, надеюсь, подведет нас к решению проблем, вызванных чисто экстерналистским подходом к идентичности.

Понятие самоидентичности выражает уникальность и единство, которое пронизывает и отличает все мои переживания; именно эта логическая сущность каким-то образом обеспечивает, чтобы все мои переживания и состояния сознания действительно были моими и чтобы они ни частично, ни полностью не принадлежали кому-то еще. Благодаря этой логической сущности, т.е. понятию “Я_{инт}”, все переживания, которые я воспринимаю как свои, будут успешно приписаны мне независимо от того, какими они были или будут. Другими словами, “Я_{инт}” является логической сущностью, обеспечивающей возможность описания (исторического) изменения, претерпеваемого мною в течение (периодов) моей жизни, где “изменение” определяется в терминах переживания и восприятия мной того, что я вижу как самое себя. Таким образом, учитывая сказанное в главе V, раздел (б), мы можем сделать вывод, что понятие “Я_{инт}” является моим объектом изме-

отношении обоих этих понятий нельзя утверждать никаких эмпирических истин. Кант описывает свой трансцендентальный субъект следующим образом: “Посредством этого Я, или Он, или Оно (вещь), которое мыслит, представляет не что иное, как трансцендентальный субъект мысли = x (...), и о котором, если его обособить, мы не можем иметь ни малейшего понятия; поэтому мы постоянно вращаемся здесь в кругу, — так как мы должны уже пользоваться представлением о нем, чтобы высказаться какое-нибудь суждение о нем...”. (И. Кант Критика чистого разума // Собр. соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 3. С. 305).

См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Раздел (5.632) // Философские работы. Ч. 1. М.: Логос. С. 56: “Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира”. Однако и Кант и Витгенштейн рассуждают с позиции эпистемологии, между тем как мы исследуем этот вопрос с точки зрения философской логики.

нения. Следовательно, слово “Я_{инт}”, когда я его употребляю, обозначает Ns , которую я создал о самом себе. Высказывания в этой Ns выражают переживания или восприятия, которые я считаю своими. Количество этих высказываний может быть большим или маленьким, а в случае полной амнезии оно может даже уменьшиться до предела, выражая лишь простую готовность начать с этого момента собирать высказывания в Ns , которая обозначается как “Я_{инт}”. В действительности, готовность собирать высказывания в Ns “Я_{инт}” всегда наличествует в употреблении слова “Я_{инт}”.

Самоидентичность является нарративным понятием: “Я_{инт}” обозначает определенную Ns . Употребляя слово “Я_{инт}”, я не указываю на самого себя, поскольку Nss не обозначают внеязыковые сущности. Если же можно говорить, что “Я_{инт}” что-то обозначает, то оно обозначает высказывания, которые выражают мои переживания, восприятия или состояния сознания. Особый “неуловимый” характер самоидентичности проистекает из того мало осознаваемого факта, что (нарративный) субъект моих переживаний не принадлежит к этому миру, но является частью нарративистского универсума. Самоидентичность не заключена в каком-то моем свойстве или свойствах, сохраняющихся неизменными в течение всей моей жизни, она не заключена ни в телесной непрерывности, ни в непрерывности памяти или сознания, но присутствует в осуществляемом мной соединении высказываний о моих переживаниях в Ns , которую мы называем “Я_{инт}”, и/или в моей готовности добавлять новые высказывания к этой совокупности высказываний. Однако непрерывность опыта, сознания или памяти можно объяснить благодаря анализу понятия “Я_{инт}”: все, что приписывается или будет приписано Ns “Я_{инт}”, является свойством этой очень специфической и уникальной Ns . Поскольку нет явных причин каталогизировать эти свойства как пространственно-временные или как-то иначе, можно утверждать, что в свете настоящего анализа самоидентичности психофизическая дихотомия не имеет под собой достаточного основания. Итак, именно языковая сущность (т.е. Ns “Я_{инт}”), а не какая-то часть или аспект меня самого, делает меня одним и тем же индивидом в разные периоды моей жизни. Даже тот факт, что у меня есть определенные воспоминания, не объясняет самоидентичности, по-

скольку эти воспоминания выражаются в высказываниях, а не высказываниями (т.е. *Ns*).

Единство этой нарративной субстанции “Я_{инт}” объясняет интуитивное ощущение непрерывности, которое мы связываем с потоком наших переживаний, состояний сознания и т.п. Отдельные высказывания о моих переживаниях могут быть аналитически выведены из полного понятия “Я_{инт}” независимо от того, какими были или будут эти переживания. Тем не менее, следует помнить, что *Ns* “Я_{инт}” указывает на историю, которую я создал о самом себе. Эта история будет постоянно меняться. У большинства людей нет неизменных представлений о своем прошлом; кроме того, каждый месяц и каждый год добавляет новую главу к истории нашей жизни. Если термин “Я_{инт}” и не обозначает какого-то конкретного истолкования мной моей жизни, то он представляет собой сцену, на которой разыгрываются эти изменения. В последнем случае мы можем принять предложенное Веси сопоставление слова “Я_{инт}” со словом “здесь”. Я могу сказать с абсолютной уверенностью, что “я есть я, кем бы я ни был”, даже если я забыл о себе — все вплоть до того, что не знаю о своей принадлежности к человеческому роду; точно так же я могу сказать с абсолютной уверенностью, что “здесь есть здесь (или я здесь), где бы это ни было”. Тем не менее, ни в том, ни в другом случае термины “Я_{инт}” или “здесь” не являются избыточными. Хотя эти термины не уточняют историю или место, данные уточнения становятся возможными только после того, как мы научились употреблять эти термины. Они не сообщают нам никакого знания, но позволяют упорядочить наше знание. Достигается это тем, что они обеспечивают нас начальной “точкой зрения”; они предлагают нам систему отсчета, которая сама не является частью более фундаментальной системы отсчета. Но мы можем и, вероятно, должны постоянно менять эти “точки зрения”.

Из этих соображений вполне можно сделать вывод, что самоидентичность представляет собой более фундаментальное понятие, чем идентичность личности. Я могу признать себя индивидуальной вещью, обладающей уникальными особенностями только после того, как создам и осуществляю интенциональную типизацию нескольких других *Nss*. Знание о том, что Я_{инт} есть Я_{инт}, еще не означает, что я знаю себя как

индивидуальную вещь определенного типа (т.е. как человека) с некоторыми конкретными особенностями. Тот факт, что в реальности есть индивидуальная вещь, соответствующая некоторой *Ns*, в частности, *Ns* “Я_{инт}”, является результатом применения процедур типизации. Ради порядка следует отметить, что точное значение термина “соответствует” — этого своеобразного *passe-partout*, конечно же, определяется тем, что мы утверждали в разделах (3) и (4) этой главы. Простое употребление слова “я” необязательно предполагает, что им обозначается какой-то индивид, равно как слово “Ренессанс” не обозначает индивидуальную вещь (оно, естественно, обозначает *Ns*). Но поскольку благодаря процедуре типизации в реальности можно выделять индивидуальные вещи (например отдельных людей), становится возможной (повторная) идентификация этих индивидуальных вещей или людей. Только после этого можно представить себе экстерналистский подход к идентичности (т.е. анализ “Я_{экс}” и “идентичности личности”). Теперь мы можем понять, почему чисто экстерналистский подход оставляет некоторые вопросы без ответа. Все трудности, с которыми столкнулся этот подход, были связаны с тем, что он неизбежно опирается на критерии тождества. А критерии тождества никогда не могут указать нам, в чем состоит значение понятия “идентичность”, поскольку они просто отражают то, что мы, как оказывается, воспринимаем в качестве индивидуальных вещей (т.е. себя в разные периоды жизни). Только благодаря интерналистскому подходу к идентичности мы знакомы с употреблением слова “я”, которое не зависит от критериев тождества. Это слово “я” (т.е. “Я_{инт}”) обозначает *Ns*. После образования других *Nss* и их типологизации можно осуществлять референцию к тем индивидуальным вещам, которые соответствуют представителям определенного интенционального типа *Nss* (например к людям) (ср. сс. 228—229). Таким образом, появляется референциальное употребление слова “я”. Термин “Я_{экс}” был предложен для этого употребления “я”. Критерии правильного употребления “Я_{экс}” (то же самое верно для референциального употребления других слов) заключаются в высказываниях, содержащихся в тех *Nss*, которые были типизированы ин-

* Ключ ко всем замкам, отмычка (франц.)

тенциональным образом и привели к появлению соответствующих типовых понятий. Вот так, если говорить вкратце, соотносятся между собой нереференциальное и референциальное употребление "я", т.е. "Я_{инт}" (обозначающее *Ns*, а не ее имя) и "Я_{экс}" или понятия самоидентичности и идентичности личности.

Следовательно, высказывания о "Я_{инт}" и "Я_{экс}" имеют разную логическую форму, несмотря на их грамматическое сходство. Такое высказывание, как "Я_{инт} есть *a*", говорит не обо мне, но о некоторой *Ns*, которая носит это название и содержит высказывание "*a*" в качестве одного из своих свойств. Это аналитическая истина. В высказывании "Я_{экс} есть *a*" референция осуществляется к конкретному человеку по имени Франк Анкерсмит, и "*a*" не является высказыванием, но обозначает свойство, приписываемое Франку Анкерсмицу. И это случайная истина. Но что касается таких высказываний, как "*a*", входящих в высказывание "Я_{инт} есть *a*", то "Я_{инт}" не может быть их субъектом, поскольку *Ns* не может быть субъектом одного из тех высказываний, которые она содержит. Следует ли нам тогда сделать вывод, что такие высказывания имеют "Я_{экс}" в качестве своего субъекта, и если да, не означает ли это, что понятие "Я_{экс}" логически предшествует понятию "Я_{инт}" (только после того, как были сформулированы такие высказывания, как "*a*", может быть образована *Ns*, содержащая эти высказывания)? Несомненно, этот вывод полностью подорвал бы мое объяснение самоидентичности.

Для решения этой проблемы нам придется возвратиться к тому, что было сказано в разделе (2) по поводу так называемой "точки зрения младенца на реальность". В соответствии с этой точкой зрения, все высказывания о реальности следует формулировать так, чтобы не предполагалось наличия в реальности определенных (типов) индивидуальных вещей. Согласно анализу высказываний, предложенному Расселом и Куайном, субъект высказываний лишен всякого содержания, так что только благодаря предикату высказывание утверждает наличие в реальности определенных качеств. Итак, точка зрения младенца на реальность требует переформулировать высказывания о наших переживаниях, восприятии и чувствах так, чтобы не предполагалась ни наша

собственная индивидуальность, ни наличие других (типов) индивидуальных вещей, например "Здесь и сейчас имеется ощущение боли". Последовательность таких высказываний образует историю или *Ns* обо мне. И когда возникает подобная *Ns*, я могу сказать: "Я_(инт) испытываю боль". Поэтому значение такого высказывания состоит в следующем: 1) "здесь и сейчас имеется ощущение боли" и 2) "высказывание 1) входит в *Ns* "Я_(инт)". Подобные высказывания можно было бы сравнить, скажем, с высказываниями о Ренессансе, в которых вместо простого указания "*p*" или "*q*" постоянно повторяется имя рассматриваемой *Ns*, например "Ренессанс есть *p*", "Ренессанс есть *q*" и т.д.. Тот факт, что имя данной *Ns* упоминается в каждом высказывании, наводит на мысль, что *Nss* со всей очевидностью присутствуют в том случае, когда они выражают самоидентичность. Действительно, как мы вскоре увидим, *Ns* "Я_(инт)" является наиболее важной из известных нам, и, более того, она составляет необходимое условие для самой нашей способности распознавать *другие Nss*, а потому и для нарративного написания истории. Хотя субстанциальный субъект выглядит очень хорошо укорененным в высказывании вроде "я испытываю боль", однако нам не следует думать, будто оно относится к тому роду высказываний, которые *содержатся* в *Nss*: на самом деле, это высказывание о *Ns*. Поэтому его субъектом является имя *Ns*, а не вещь во внеязыковой реальности. Конечно же, такое высказывание влечет за собой другое высказывание о внеязыковой реальности, но в высказывании этого последнего вида субъект не имеет никакого содержания, поскольку подобные высказывания должны быть сформулированы в соответствии с точкой зрения младенца на реальность. Короче говоря, все высказывания вида "я испытываю боль" являются высказываниями о *Ns*; следовательно, они являются аналитически истинными и не отсылают к реальности, хотя из них вытекают другие высказывания, содержащие ссылку на некоторое положение дел в реальности. Представленный анализ самоидентичности аналогичен хорошо известному аргументу Витгенштейна: "Говоря "мне больно", я не указываю на персону, испытывающую боль, так как в известном смысле во все не знаю, кому больно. И это можно обосновать. Ибо прежде всего: я же не утверждал, что то или иное лицо испыты-

вает боль, а сказал “я испытываю...” Ну, а тем самым я ведь не называю никакого лица. Так же как никого не называю, когда от боли издаю стон. Хотя другой человек может понять по стону, кто испытывает боль”.

И немного ниже он добавляет: “Я” — не наименование какой-то персоны, “здесь” — не название какого-нибудь места, “это” — не имя. Но они находятся во взаимосвязи с именами. С их помощью объясняются имена. Верно также, что для физики не свойственно употреблять эти слова”³⁶. В этом рассуждении Витгенштейн хорошо разъясняет нереперенциальный характер слова “я” в высказывании “я испытываю боль”. Тем не менее, мы могли бы уточнить его мысль, добавив, что хотя “я” не обозначает человека (Франка Анкерсмита), все же осуществляется референция к *Ns* “Я_{инт}”. (Замечание Витгенштейна о том, что в физике не употребляются слова “я”, “здесь” и т.д., весьма примечательно в контексте нашего суждения. В самом деле, в отличие от историка или от нас, когда мы обдумываем историю своей жизни, физик не предлагает, а развивает “точки зрения”).

Когда высказывания связываются вместе в *Ns* “Я_{инт}”, они не предполагают ни мою индивидуальность, ни мою идентичность хотя таким образом возникает моя самоидентичность. Поэтому логическая задача, выполняемая *Ns* “Я_{инт}”, состоит не в том, чтобы (повторно) идентифицировать кого-то (т.е. меня) как того же самого человека, каким я был в прошлом и буду в будущем, но создать мою самоидентичность, т.е. установить различие между мною и тем, что мною не является. Сказать, что все мои переживания и состояния сознания являются моими, значит подразумевать, что они не являются вашими. Теперь я рассмотрю, как это разделение реальности на то, что является и что не является частью меня самого, достигается благодаря использованию понятия “Я_{инт}”.

Научиться употреблению слова “Я_{инт}” все равно, что возвести башню и осознать, что она служит нам наблюдательным пунктом, с которого местность видится не так, как она воспринимается с любого другого места; она видится с определенной точки зрения (понятие “точка зрения” будет тщательно

³⁶ Витгенштейн Л. Философские исследования. // Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 206, 207.

рассмотрено в следующей главе). Это вынуждает нас отделить башню (т.е. “Я_{инт}”) от самой местности (т.е. от того, что воспринимается с этой башни). Однако с башней “Я_{инт}” связана та трудность, что она служит точкой обзора всех моих переживаний, а не некоторых из них, поэтому поначалу кажется, что “Я_{инт}” не разделяет мир на меня и не-меня. Ибо почему мне нельзя сказать, что мои переживания и состояния сознания — это вся реальность? Что вынуждает меня отрывать себя от реальности, в которую я изначально погружен? Здесь на ум приходит рассуждение Дидро: “Car après tout qu'il y ait hors de nous quelque chose ou rien, c'est toujours nous que nous apercevons. Nous sommes l'univers entier”³⁷. Пока этот вопрос не поставлен, мы действительно беспомощны. Правда, возможно такое осознание реальности, которое своим происхождением обязано поглощению всей воспринимаемой реальности тем, что мы бы назвали “самоидентичностью”. Поскольку все мои переживания и состояния сознания принадлежат мне, здесь не должно возникать никаких противоречий. Если человек игнорирует тот факт, что он видит местность с определенной точки зрения, мы лучше всего описали бы его душевное состояние, сказав, что для него местность является частью его самого. Повторяю, все мои переживания и состояния сознания в их целокупности являются моими, и это ограждает нас от любых противоречий, пока мы пребываем в этом солипсистском состоянии.

Но как только вышеназванный вопрос сформулирован, у нас не можем быть серьезных сомнений относительно ответа на него. По той же самой причине, а именно что все мои переживания и состояния сознания являются моими, признавать этот вопрос резонным значит допускать, что помимо моих переживаний и состояний сознания должно существовать что-то еще, но как можно было бы фальсифицировать это допущение? В итоге, как только поставлен вопрос о том, разделяет ли “Я_{инт}” мир на то, что принадлежит и что не принадлежит мне, на него должен быть дан утвердительный ответ. Пока этот вопрос не поставлен, солипсистская позиция

³⁷ D. Diderot, *Correspondance* VI, Paris 1955, p. 376: “Независимо от того, существует что-либо вне нас или нет, мы всегда видим только себя. Мы сами — весь наш мир” (франц.). — Прим. перев.

является непротиворечивой, что, однако, не означает отрицательного ответа на наш вопрос, поскольку он еще даже не поставлен. Разграничение между мной и тем, что мне не принадлежит, равнозначно признанию *других Nss* помимо *Ns* "Я_{инт}". Эти другие *Nss* должны отличаться от "Я_{инт}" в силу применимости к *Nss* лейбницевского закона о тождестве неразличимых, как это было показано в разделе (1). Тем не менее, как только признана возможность других *Nss*, можно помыслить себе сходства между *Nss*, а с ними также и индивидуальные вещи (или их типы), остающиеся теми же самыми или тождественными самим себе в процессе изменения. Ибо тот, кто признает различие между *Ns* "Я_{инт}" и другими *Nss*, должен также знать, что значит для *Ns* не быть другой. Таким образом, *тождество* вещей в процессе изменения зависит от *различия Nss*. Поэтому, отказавшись от солипсистской точки зрения на мир, мы можем объяснить, как происходит распознавание в реальности (типов) индивидуальных вещей, остающихся теми же самыми в процессе изменения. Наконец, мне хотелось бы отметить, что в этом аргументе не предполагается тождество положений дел (как они описываются высказываниями в *Nss*). Описания тождественных положений дел, возникающих в разное время и в разных местах, могут быть частью солипсистской *Ns* "Я_{инт}", а, с другой стороны, я могу говорить о сходствах (как я уже делал здесь), не связывая себя определенной позицией в отношении того, что *делает* некоторые *Nss* сходными (например то, что они содержат описания сходных положений дел). Так что возможность тождества вещей в процессе изменения доказывалась здесь с помощью доводов, относящихся исключительно к *Nss*. Только таким образом мы могли избежать порочного круга в нашем рассуждении.

Я хотел бы подчеркнуть, что разграничительная линия между тем, что является и что не является мной, отнюдь не является фиксированной или неизменной: все зависит от того, толкуем ли мы данное переживание или состояние сознания как состояние нас самих или как *сигнал* о том, что имеет место некоторое положение дел вне нас. Такие сигналы говорят об отсутствии логического или аналитического отношения между "Я_{инт}" (некоторой *Ns*) и тем, что воспринимается (т.е. высказываниями, описывающими положение дел в ре-

альности): тот факт, что я что-то воспринимаю, истолковывается не как часть моей собственной истории ("Я_{инт}"), но как часть истории чего-то другого (как другая *Ns*). Поэтому такие сигналы возвещают о случайностях в нашем опыте. От того, как мы нарративизируем себя и внешнюю реальность, будет зависеть то, как мы истолкуем свои переживания и состояния сознания. Это можно проиллюстрировать следующим образом. Если "Я_{инт}" вбирает в себя почти все высказывания о моих переживаниях и состояниях сознания, я крайне близко подхожу к солипсизму (почти вся реальность является частью *моей* истории). Согласно Фихте такое отождествление себя с миром является высшей нравственной целью, которой может достичь человек. С другой стороны, "Я_{инт}" может, в сущности, отказаться вообще от всей реальности; в этом случае даже боль, которую я сейчас испытываю, может истолковываться мною просто как сигнал о том, что кому-то больно (точнее говоря, что здесь и сейчас имеется боль), подобно тому, как нынешнее мое восприятие является просто сигналом о том, например, что этот лист бумаги белый. И если быть листом белой бумаги — это не часть моей истории, почему я должен быть тем человеком, которому больно?" В первом случае мир стал точкой зрения, с которой я смотрю на пустой мир, во втором случае вся реальность (включая меня самого) видится с той точки зрения, при которой утрачивается способность противопоставлять себя реальности.

* Руссо описывает свой опыт подобного восприятия себя. Он был сбит с ног собакой и очнулся, когда прошло много времени: "Надвигалась ночь. Я увидел небо, несколько звезд и какую-то ветку. Это первое восприятие было чудным мгновением. Я ощущал себя тогда только через это. В этот миг я рождался к жизни, и мне казалось, что я наполняю своим легким существованием все воспринимаемые мною предметы. Все сводилось для меня к данному мгновению, я не вспоминал ни о чем; у меня не было никакого отчетливого ощущения своей личности, ни малейшего представления о том, что произошло; я не знал, кто я, где нахожусь; я не чувствовал ни боли, ни страха, ни тревоги. У меня текла кровь, но я смотрел на нее, как смотрел бы на ручей, даже не думая о том, что кровь эта все же моя. Я чувствовал во всем своем существе дивное спокойствие и всякий раз, как вспоминаю о нем, не могу подыскать ничего равного ему среди всех изведанных мною наслаждений". См.: Ж.-Ж. Руссо. Прогулки одинокого мечтателя. // Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 580–581.

Если я веду уединенную жизнь, разграничительная линия между тем, что является и не является мной, скорее всего, будет утрачивать свою устойчивость, которая обычно более или менее поддерживается благодаря всякого рода социокультурным или психологическим навыкам "нарративизации", которые я приобрел в течение своей социальной жизни. В своем замечательном романе Турнье превосходно описывает, как одинокий человек может довольно легко переходить из одной вышеупомянутой крайности в другую. Во время своей уединенной жизни на острове Сперанца Робинзон Крузо пишет в своем вахтенном журнале: "Нынче ночью моя правая рука, свесившаяся с постели, затекла, словно стнялась. Лево́й рукой я приподнял ее — эту ставшую чуждой вещь, эту тяжелую, крупную массу омертвевшей плоти, эту вялую и грузную конечность, незнакомую, постороннюю, ошибкой соединенную с моим телом. И мне не то приснилось, не то пригрезилось: вот так же я поднимаю и переворачиваю мой труп, дивясь его неживой тяжести, теряясь перед этим парадоксом — *вещью, которая является мной*. (...) В самом деле, с некоторого времени я осуществляю над самим собой операцию, которая заключается в том, чтобы последовательно, один за другим, срывать с себя все покровы, — я подчеркиваю: именно все, — так сдирают шелуху с луковицы. Прodelывая это, я словно бы создаю поодаль от себя некоего индивидуума по фамилии Крузо, по имени Робинзон, шести футов ростом и так далее. Я наблюдаю со стороны, как он живет и трудится на острове, и не пользуюсь больше его удачами, не страдаю от его несчастий. Но кто же этот я? Вопрос далеко не праздный. И даже не неразрешимый. Ибо если я — не он, значит, я — это Сперанца. И отныне существует это порхающее, как птица, я, которое воплощается то в человеке, то в острове, делает из меня одно или другое"³⁹. Похожим образом описывает странное поведение Ns "Я_{инт}" Алисон Лурье. Один из главных героев ее романа "Война между Тейтами" произносит: "Кто-то плачет (...) Думаю, это я"⁴⁰. Такие психические расстройства, как деперсонализация, шизофрения,

³⁹ Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб/ Пер. с фр. И. Волевич. СПб.: Амфора, 1999. С. 97—98.

⁴⁰ A. Lurie, *The war between the Tates*, Harmondsworth 1977; p. 345.

состояние беспричинного страха можно, вероятно, определить как проявления неуверенности или непоследовательности в создании людьми Ns "Я_{инт}". Следствием этого всегда является утрата самоидентичности, ясно осознаваемой позиции в упорядочении реальности и воздействии на нее. Все это возможно позволит объяснить терапевтический эффект психоанализа. Ибо психоанализ стремится устранить несогласованности в истории (в Ns "Я_{инт}"), которую отдельный человек создал о себе. Как понятие "нарративная субстанция" и, в частности, Ns "Я_{инт}" связано с понятием (политической) свободы и как его можно положить в основу политической теории, будет описано в ходе дальнейшего исследования.

Манера, в которой люди совместно создают Ns "Я_{инт}", может меняться от одного исторического периода к другому. Например, психоисторики установили, что в классической античности как необычайно смелые, так и крайне малодушные поступки не считались проистекающими от самого человека, в них видели результат вмешательства богов, однако, начиная с романтизма необычное поведение стали связывать с самой сутью личности человека. В следующей главе мы увидим, что подвижность разграничительной линии между тем, что относится и что не относится к определенной идентичности (Ns), создает логическое пространство для выполнения историком своей задачи. Только там, где идентичностине знают жестких границ, можно писать нарративы. Поэтому постоянное осознание этой подвижной границы имеет важнейшее значение не только для уяснения понятия самоидентичности, но также и для понимания методов историографии.

Я неслучайно упомянул понятие самоидентичности наряду с методами историографии. Они очень тесно связаны, и это вполне объясняет, почему здесь отведено так много места обсуждению самоидентичности. Мы вправе утверждать (и это очень существенно), что постижение нашей самоидентичности составляет главное дело историографии и необходимое условие для того, чтобы написание истории вообще стало возможным⁴¹. Как мы только что видели, постижение

⁴¹ Эта мысль была сформулирована еще Гегелем: "der Geschichte, wie der Prosa überhaupt, sind daher nur Völker fähig, die dazu gekommen sind und davon ausgehen, dass die Individuen sich als für sich seiend, mit Selbstbewusstsein erfassen".

моей самоидентичности предполагает разделение реальности на сферу "я" и "не-я". Только после того, как было произведено это разделение, становится возможным писать историю, т.е. распознавать тождественности или *Nss* вне себя или вне "Я_{инт}". Осознание нами того, что у нас есть история самих себя (самоидентичность), является необходимым логическим условием для написания любой истории, т.е. для нашей способности различать во внешней исторической реальности "идентичности" (или *Nss*) и, возможно, на более позднем этапе — "индивидуальности" (т.е. интенциональные типы *Nss*). Перефразируя Лейбница, мы могли бы сказать: "Таким образом, одно Я (self) есть первичное единство, или изначальная простая субстанция. Все монады, сотворенные или производные, составляют его создания, и рождаются, так сказать, из беспрерывных, от момента до момента, излучений Я, ограниченных воспринимательной способностью твари, ибо для последней существенно быть ограниченной"⁴².

Можно было бы сказать, что этот аргумент выявляет зерно истины в герменевтической теории. В каком-то смысле справедливо утверждение о том, что идентичности и индивидуальности, которые мы открываем в историческом прошлом, предполагают осознание нами собственной (само)идентичности или что наше знание о прошлом, по сути, является антропоморфным. Но нам не следует никогда забывать, что структурное сходство между самоидентичностью и нашим знанием вещей из исторического прошлого является совершенно формальным: вывод от моей (само)идентичности к идентичностям, которые мы различаем в прошлом, необходим для исторического понимания, но он должен быть лишен существенного содержания. Я никогда не должен переносить мои собственные переживания на сущности, которые я открываю в прошлом, даже когда я описываю людей подобных

См. G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Band II—IV. Die orientalische Welt. Die griechische und die römische Welt. Die germanische Welt*, Hamburg 1976 (1-е изд. 1919) (Felix Meiner Verlag); p. 357. [к истории, как и к прозе, вообще способны только те народы, которые приблизились к тому и исходят из того, чтобы понимать индивидуумов как существующих для себя в своем самосознании (нем.). — Прим. перев.]

⁴² Ср. Лейбниц Г. В. Монадология // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. С. 421. [Вместо Я в рассуждении Лейбница фигурирует Бог. — Прим. ред.]

себе. Чистый формализм этого вида "Einfühlung" очевиден, поскольку он позволяет нам писать историю не только других людей, но даже таких сущностей, как "Просвещение" или "холодная война", истории которых существенно не похожи на наши. Поэтому одна из ошибок герменевтической теории состоит в том, что в ней всегда придавалось особое значение именно содержательным, а не формальным выводам от собственного опыта человека к опыту других исторических сущностей.

Но даже если сходство между строением моей собственной (само)идентичности и идентичностями, которые могут быть открыты в исторической реальности, является чисто формальным, отсюда можно сделать важные выводы. Так же как нельзя дать никакого эмпирического обоснования тому, какова моя собственная (само)идентичность (только природа индивидуальной вещи определенного типа может быть установлена эмпирически), этого нельзя сделать и в отношении идентичностей или *Nss*, признаваемых в историческом прошлом. Идентичности и *Nss*, обсуждаемые историками: "Ренессанс", "холодная война" и т.п. — были созданы или постулированы, но не были открыты в историческом прошлом. Мы находим в прошлом эти идентичности или *Nss* (*nota bene* — не "индивидуальности", поскольку термин "индивидуальность" выражает понятие индивидуальной вещи определенного типа) лишь потому, что *решили* посмотреть на историческое прошлое с определенной точки зрения. Это можно пояснить с помощью следующего примера. На историческом факультете университета Гронингена была создана исследовательская группа, которая изучает развитие голландской государственной бюрократии, начиная со Средних веков. В контексте этого исследования должна быть написана история государственных служащих. Двигаясь от XX столетия вглубь истории, нам будет нетрудно определить, кто являлся государственным служащим в XIX веке. Однако Республика Соединенных провинций по своей социальной структуре и политическому устройству разительно отличалась от Королевства, которое существует с 1813 года, поэтому во многих случаях мы

* "Проникновение в сущность чего-либо", "вчувствование" (нем.). — Прим. перев.

можем только *решать*, кто был и кто не был государственным служащим до 1795 года. Поэтому история голландского чиновничества в некотором смысле является такой, какой мы решили ее видеть⁴³. В этом заключен некоторый логический круг, присущий нарративной историографии. Нарративистская философия объясняет этот логический круг посредством тезиса о том, что все предикаты некоторой *Ns* можно аналитически вывести из полного понятия этой *Ns*.

Конечно, из этого не следует, что нельзя или не следует приводить доводы в обоснование тех идентичностей или *Nss*, которые историк стремится выделить в исторической реальности. В связи с этим я хотел бы обратить внимание на известную историографическую дискуссию, состоявшуюся в недавнем прошлом по так называемому "общему кризису в XVII веке". То, что этот термин обозначает одну или несколько *Nss* или идентичностей, в разъяснении не нуждается. Французский историк Муснье первым стал отстаивать идею общего кризиса в XVII столетии, хотя он занимался, главным образом, Францией. Муснье утверждал, что в XVI и в XVII веках Франция из наиболее классического феодального государства стала превращаться в наиболее классическое абсолютистское государство. Институциональная нестабильность, вызванная этим переходом, отягощалась экономическим упадком, характерным для большей части Европы XVII века, а также расширяющейся пропастью между различными социальными слоями городского и сельского населения. Марксистский историк Хобсбаум горячо одобрил идею общего кризиса и интерпретировал его как болезнь роста поднимающегося капитализма. Тревор-Ропер, с другой стороны, обращал большее внимание

⁴³ См. также N. Hampson, *The Enlightenment*, Harmondsworth 1979; p. 9: "установки, которые человек решает считать типичными для Просвещения, являются поэтому свободным субъективным выбором, который затем, в свою очередь, определяет форму синтеза, создаваемого человеком для своего "я". Можно с равной убедительностью обосновать, что Руссо был одним из величайших авторов Просвещения или что он был его наиболее ярким и эффективным оппонентом. Взвесив все, что писатели того периода думали о себе и своем времени, человек должен, наконец, придать свою форму беспорядочному изобилию свидетельств. *В определенных пределах Просвещение было таким, каким его считают* (курсив мой. — Ф.А.). Эта книга выражает один конкретный синтез, одну личную точку зрения".

на институциональные и социальные аспекты кризиса, который он объяснял борьбой между Двором и народом. Однако госпожа Люблинская и голландские историки Коссманн и Шоффер полностью отвергли идею общего кризиса; по разным причинам они не считали это понятие способствующим пониманию социально-экономической и институциональной реальности XVII века⁴⁴.

Эта дискуссия по общему кризису в XVII веке показывает, что иногда историки предают определенные *Nss* и тем самым постулируют конкретные сущности в прошлом. И когда они хотят видеть подобную идентичность в прошлом, в определенном смысле она там будет. Затем они приписывают этой идентичности ряд свойств, которые можно выразить при помощи высказываний о прошлом. Каждый историк делает это по-своему, и его доводы в виде описаний прошлого могут быть аналитически выведены из полного понятия такой идентичности или *Ns*. Однако другие историки могут усомниться в плодотворности такого нарративного понятия и заключенной в нем точке зрения на прошлое. Но возникающие в результате историографические дискуссии не затрагивают существования чего-либо в прошлом. Вопрос о том, был или не был общий кризис в XVII столетии, решается не с помощью философской аргументации (как, например, в дискуссиях по поводу существования Бога или Прекрасного), и не посредством эмпирического обследования реальности (существуют ли единороги, или нет?). В историографии идентичности или *Nss* обсуждаются без предположения о том, что нечто, обладающее подобной идентичностью, вообще должно существовать. Ведь даже такие историки, как Коссманн и Шоффер, отрицающие идею общего кризиса в XVII веке, не ставят вопроса о том, не бессмысленно ли существование этого кризиса — между тем, именно так мы обычно реагируем на дискуссии по поводу существования вымышленных сущностей. Мы можем говорить только о существовании индивидуальных вещей определенного типа ("индивидуальность"

⁴⁴ Есть два сборника статей об общем кризисе в XVII веке: T.S. Asten ed., *Crisis in Europe 1560—1660*, London 1965; G. Parker ed., *The General Crisis of the Seventeenth Century*, London 1978.

тей"); идентичность, напротив, логически предшествует существованию, но не предполагает его.

Историографическая дискуссия в нарративистском смысле заканчивается, как только мы переходим с уровня "идентичностей" на уровень "индивидуальностей", и это верно даже для истории индивидуальных вещей определенного типа. Отсюда вытекает различие между *Nss* и нарративными субъектами (глава V, раздел (1)). Так, Хейзинга пишет: "Luther als specimen van het biologisch genus mensch is strikt bepaald, maar Luther als historisch verschijnsel is even volkomen onbegrensd en onafgrensbaar als de Hervorming. (...) Men kan niet objectief vaststellen, welke historische gegevens tot het verschijnsel Hervorming behoren en welke niet. En deze onmogelijkheid ligt niet in den abstracten aard van het verschijnsel, maar in de historische beschouwing ervan. Want zij geldt even goed van een concreet historisch individu als van een algemeen historisch begrip"⁴⁵. Неуловимый характер исторических идентичностей или *Nss* хорошо выражен Хейзингой в этой цитате.

Поскольку историческое знание формулируется в терминах идентичностей или *Nss*, его неустойчивость образует разительный контраст со сравнением с нашим знанием индивидуальных вещей определенного типа. Этот контраст во многом подобен тому, который существует между ощущением запаха или слушанием звука, с одной стороны, и видением вещи, с другой (подчеркиваю, что речь идет именно о запахах и звуках, а не о *вещах*, которые мы привыкли связывать с ними, таких как цветы, мотоциклы или самолеты). Запахи и звуки — это не индивидуальные вещи, подобные тем, которые мы видим. Заметьте, к примеру, что мы не можем различать между слушанием того же самого звука (который мы слышали раньше) и б) слушанием другого случая того же самого звука (который мы слышали раньше) — а) и б) имеют совершенно одно и

⁴⁵ Huizinga (2); p. 53: "Как человек Лютер строго определен, но как историческое явление Лютер имеет не более устойчивые и четкие рамки, чем Реформация. (...) Невозможно объективно установить, какие исторические данные относятся к явлению Реформация, а какие — нет. Причиной этой невозможности является не абстрактная природа данного явления, но исторический подход к нему. Это верно как для конкретной исторической личности, так и для общего исторического понятия".

то же значение. Однако в случае индивидуальных вещей мы видим, что такое различие, как правило, можно провести (взять хотя бы разные мотоциклы одного и того же типа). Итак, выражаясь метафорически, мы могли бы сказать, что такие идентичности или *Nss*, как "Ренессанс" или "холодная война", историки скорее "ощущают" или "слышат", нежели видят. Вероятно, именно это имели в виду такие представители историзма, как Ранке или Гумбольдт⁴⁶, когда утверждали, что задача историка, по сути, состоит в том, чтобы "ahnen" "historische Ideen"⁴⁷.

⁴⁶ См. Iggers and Von Moltke (2); на с. 19 Гумбольдт пишет: "число созидательных сил в истории не ограничено теми, которые непосредственно явлены в событиях. Даже если историк изучил их все отдельно и во взаимосвязи — природу и изменения почвы, различные виды климата, интеллектуальный потенциал и характер народов, и даже более конкретный характер отдельных индивидов, влияние искусств и наук, глубоко проникающие и широко распространяющиеся воздействия социальных институтов — все же остаются более эффективно действующие принципы, которые, хотя и не видимы непосредственно, сообщают этим силам импульс и направление: это идеи, которые в силу самой их природы находятся за пределами конечного, однако пребывают и доминируют в каждой части мировой истории". О том, как эти "идеи" постигаются историками Гумбольдт пишет следующее: "здесь, как и в искусстве, не все можно вывести логически, одно за другим, посредством простой умственной операции, и разбить на понятия. Правильное, утонченное и скрытое можно лишь охватить умом, поскольку ум надлежащим образом приспособлен к тому, чтобы это охватывать" (С. 14). См. также Введение, С. iii—iv.

⁴⁷ Предчувствовать, смутно сознавать (нем.) — Прим. перев.

⁴⁸ "Исторические идеи" (нем.) — Прим. перев.

Глава VII. Нарративные субстанции и метафора

В нарративе обычно существует определенный порядок. Это явствует даже из того, что положение высказываний в нарративе нельзя изменять произвольным образом (ср. главу III). Поэтому мы можем представить себе особый набор правил, которыми руководствуется историк для надлежащего упорядочения высказываний в своем нарративе. Следует заметить, что пока не было сделано никаких предположений относительно статуса и природы таких правил, если они вообще существуют. Мы только признали, что, по всей видимости, в нарративных описаниях прошлого есть некоторый порядок, и этот порядок наводит на мысль о наличии правил. В этой главе мы будем вести поиск этих правил и в связи с этим будем обсуждать правила трех видов. Во-первых, правила, отражающие регулярности в событиях прошлого, связываемых с их помощью (раздел (1)); во-вторых, правила, выражающие регулярности, которые мы можем открыть в связях между нарративными высказываниями (или наборами нарративных высказываний) (раздел (2)); в-третьих, правила, весьма напоминающие такие команды, как "сделай все возможное" или "одержи победу в игре", которые предполагают достижение определенной цели (раздел (3)). Мы обнаружим, что искомые правила имеют больше общего с теми, которые я упомянул последними.

(1) *Естественные регулярности как правила для создания нарративных субстанций.* Весьма убедительная стратегия поиска этих нарративистских правил сразу же оказывается в нашем распоряжении: те регулярности, которые были открыты в науках и/или которые мы признаем надежными в повседневной жизни, с нарративистской точки зрения, тождественны по своему характеру правилам, которым подчиняется создание нарративов. Аналогичным образом, эти регулярности должны воплощать в себе правила, применяемые при индивидуализации *Nss* в нарративной историографии. Подобное положение о природе правил, управляющих narra-

тивом (выдвигаемое, например, такими философами истории как М. Уайт, А. Данто и П. Мунц), уже критиковалось в главе II, раздел (5), где утверждалось, что выполнение требований модели охватывающих законов не является ни достаточным, ни необходимым условием для создания приемлемых нарративов.

Помня о том, что было сказано в главе VI, раздел (2), мы можем теперь указать еще один недостаток в подходе, основанном на модели охватывающих законов. Можно создавать повествования, когда индивидуальные вещи еще не распознаны в реальности. И даже если наличие отдельных категорий индивидуальных вещей в исторической реальности уже было постулировано, то, с чем имеет дело нарратив (т.е. определенная *Ns*), обычно не является элементом некоторого класса *Nss*, соответствующего некоторой индивидуальной вещи (или ее типу). А это означает, что в этих случаях (а к ним относятся большинство нарративов) научные обобщения относительно индивидуальных вещей, безусловно, не могут служить руководством для создания нарратива или *Ns* (конечно же, общезначимость этих обобщений не имеет отношения к настоящему обсуждению).

Можно было бы возразить, что в науках высказывания, формулирующие законы, редко отсылают к индивидуальным вещам, и, по сути, я признаю резонность этого возражения. Однако, как было подчеркнуто Мандельбаумом, те формулировки законов, которые имеют в виду сторонники модели охватывающих законов, всегда являются обобщениями относительно индивидуальных вещей¹. И, разумеется, против таких обобщений возражение, изложенное в предыдущем абзаце, вполне резонно. Я не знаю, можно ли приспособить модель охватывающих законов и к историографической практике, и к принятым в науке формулировкам законов таким образом, чтобы избежать референции к индивидуальным вещам. Я предоставляю приверженцам модели охватывающих законов самим попытаться это сделать. Но даже если, вопреки моим ожиданиям, эта попытка оказалась бы успешной, вряд ли можно получить действенные правила построения *Nss* из этого варианта модели охватывающих зако-

¹ Mandelbaum (3); pp. 97 ff.

нов, ибо индивидуальные вещи (т.е. *Nss*) никогда не могут быть выведены из общих правил (т.е. из охватывающих законов).

Другой аргумент против охватывающих законов как источника правил для создания нарративов и *Nss* дает нам научно-фантастическая литература. Несмотря на представленное в ней нарушение великого множества обычных физических законов, у нас не возникает трудностей с чтением (или написанием) такой литературы. В научной фантастике мы часто становимся свидетелями того, как люди перемещаются быстрее света или проскакивают сквозь так называемое "гипер-пространство". Тот факт, что мы без труда понимаем такую литературу, означает, что она безупречна, с точки зрения повествования. Можно было бы возразить, что писатель-фантаст просто предлагает нам принять *другие* физические законы, а не известные нам, и научно-фантастическая литература создается в соответствии с этими альтернативными физическими законами. Но данное возражение основывается на неверном представлении о том, как читают и пишут научно-фантастическую литературу. В ней повествование не встроено в заведомо предполагаемый универсум, управляемый необычными физическими законами; кроме того, природа этих законов объясняется крайне редко. Существование странных физических законов в воображаемом мире научной фантастики *следует* исключительно из понимания этих повествований. Строение Вселенной в научно-фантастическом романе наряду с определенным набором физических законов (позволяющих, например, перемещаться быстрее света) не *предшествует* пониманию этих повествований, но *зависит* от него. Во многих случаях нам даже не нужно воссоздавать все девиантные физические законы, которые, как неявно предполагается, управляют вселенной в научно-фантастическом романе. Более того, следует заметить, что странность этих воображаемых миров обусловлена не столько девиантными физическими законами, сколько мыслями, к которым подводят некоторые процедуры нарративизации. Научно-фантастические романы Артура Кларка обязаны своим успехом беспрецедентности переживаемых индивидами ко-

¹ Пространство, имеющее более трех измерений. — Прим. ред.

лебаний между солипсизмом и отказом от мира. Еще более наглядным является тот факт, что в нарративах могут безнаказанно нарушаться предписания логики. Так, Айер убедительно показал, что логически невозможно перемещение назад во времени². Тем не менее, истории, в которых люди путешествуют в прошлое с помощью так называемых "машин времени", мы понимаем без труда. С чисто нарративной точки зрения, у нас нет никаких оснований считать эти истории невразумительными. И в главе V, раздел (7), по сути, было доказано, что для нарративистской философии не имеют значения некоторые логические непоследовательности.

Поэтому (вопреки предположениям тех, кто пытается применить модель охватывающих законов к нарративу) в поиске правил, структурирующих нарратив, нам не помогут ни логика, ни научные регулярности. Конечно, я не хочу сказать, что историк должен с высокомерным презрением отказаться от логических правил и научных обобщений. В этом разделе я утверждаю лишь, что правила нарративной согласованности следует искать не там. Формулировка приемлемых с научной и логической точки зрения утверждений относительно прошлого, несомненно, является *частью* той задачи, исполнения которой ждут от историка. Но для того, чтобы предоставить читателю согласованное повествование, недостаточно сообщить (научную) истину и избежать формально-логических противоречий. Таким образом, правила, которым подчиняется создание нарративов и *Nss*, нельзя определить как общие высказывания, выражающие эмпирические обобщения. Этот вывод, конечно же, не удивит нарративного идеалиста и может доставить удовольствие диалектикам.

(2) *Законы для высказываний или для нарративов?* Исследуя природу правил, которым подчиняется создание нарративов, мы, в первую очередь, должны рассмотреть вопрос, связывают ли эти правила (если таковые имеются) только отдельные высказывания между собой или же они управляют созданием всей нарративной картины прошлого. В поиске этих правил мы можем встать на точку зрения читателя или писателя нарратива, т.е. мы решаем воспринимать нарратив

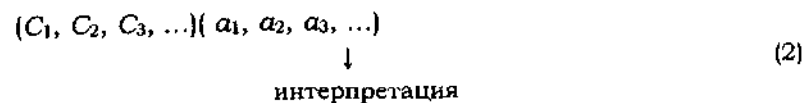
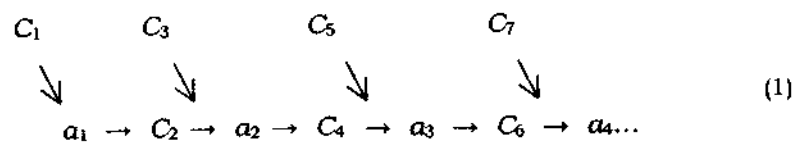
² Айер (2); р. 157.

так, как если бы он был совокупностью высказываний, которые читаются или пишутся одно за другим (тому, кто читает или пишет нарратив, всегда приходится “прогрызать своей путь” в нем). С этой точки зрения, наше исследование требований к удовлетворительному и внутренне согласованному нарративу завершится — если все пойдет хорошо — перечислением правил, указывающих, как связывать вместе последовательности отдельных высказываний (синтаксическим, семантическим, прагматическим или каким-то иным способом).

Однако есть и другая точка зрения на нарратив, когда совершенно не принимается во внимание этот аспект их чтения или написания. Мы можем считать всю совокупность высказываний в нарративе, взятых вместе, орудием создания определенного “образа” или “картины” прошлого. Здесь нарратив воспринимается не как длинная вереница отдельных высказываний, по которой ее читателю или писателю предлагается мысленно пройти, но как единый “блок” высказываний, готовый к нашему осмотру и демонстрирующий одновременно все свои элементы и порядок, которому они подчиняются.

Сравнение с описанием человеческого действия может прояснить эти две точки зрения. Мы можем дать каузальную интерпретацию человеческим действиям, пытаясь объяснить их с помощью предшествующих им условий. Этот подход требует ряда психологических и социологических регулярностей, связывающих определенные внешние условия с конкретными типами поведения. В итоге мы имеем нарративное сообщение, состоящее из серии описаний действий в хронологическом порядке, и при этом каждое из действий объясняется его связью с предшествующими ему условиями. Однако мы также можем дать сводный обзор действий, совершенных определенным человеком. Например, мы могли бы сказать, что многие политические действия Ришелье были инспирированы желанием добиться политического объединения Франции. Нам следует понимать, что это является *интерпретацией* действий Ришелье и поэтому объединение Франции необязательно было его сознательным намерением. Следовательно, такие сводные интерпретации человеческого поведения нельзя напрямую преобразовать в телеологический вариант каузального описания человеческих действий.

Поэтому эти два подхода к человеческому поведению несовместимы, и мы могли бы пояснить их структурные несоответствия с помощью следующей диаграммы.



где a_1, a_2, a_3, \dots обозначают человеческие действия; C_1, C_3, C_5, \dots условия совершения действий человеком в той мере, в какой они сами не являются следствием его предыдущих действий; C_2, C_4, C_6, \dots условия, предшествующие действиям человека в той мере, в какой они сами являются следствием его предыдущих действий. В дальнейшем я буду называть модель (1) “линейной”, а модель (2) — “всеобъемлющей”. В обеих моделях “→” указывает направление аргументации (каузальной или интерпретативной).

Мы могли бы сравнить эти два способа описания человеческих действий с двумя точками зрения на нарративные предложения в нарративе. В соответствии с этим сравнением мы должны рассматривать нарративные предложения как нечто подобное действиям, поэтому мы могли бы говорить о “предложениях-действиях”. Как мы вскоре увидим, это не просто гибридный оборот речи: он может привести к важным и плодотворным выводам о характере нарративной историографии. “Предложения-действия”, входящие в нарратив, можно было бы затем истолковать в соответствии с линейным подходом — в этом случае мы должны будем рассматривать каждое “предложение-действие” индивидуально и тем самым соотносить его с “предложениями-действиями”, которые непосредственно предшествуют ему. Далее, мы могли бы в соответствии со всеобъемлющим подходом рассмотреть нарратив как единую целокупность “предложений-действий”, для которой не будет удовлетворительным анали-

зом простое исследование того, как эти отдельные “предложения-действия” встроены в их непосредственное окружение. Для линейного подхода характерен интерес к обобщениям относительно сходных “языковых ситуаций”, т.е. ситуаций, в которых от человека, сказавшего нечто подобное *x*, ожидается, что он скажет затем нечто подобное *y*. Ведь согласно линейной модели существенное когнитивное значение заключено в каузальных связях между отдельными действиями и условиями, которые им непосредственно предшествуют и с помощью которых можно объяснять эти действия.

Когда в нашем распоряжении окажутся такие обобщения относительно сходных “языковых ситуаций”, мы сможем а) объяснить, почему люди пишут или говорят определенные вещи на разных стадиях своих нарративных описаний, и б) определить, какие “предложения-действия” мы можем или должны использовать при создании нарратива. Здесь может сложиться впечатление, будто мы обнаружили правила, управляющие нарративом: действительно, поскольку мы знаем, как связывать вместе “предложения-действия”, может показаться, что мы также знаем, как следует писать согласованный нарратив. По сути, “линейный”, основанный на обобщениях, подход характерен для многих современных лингвистических теорий нарратива.

С другой стороны, мы могли бы предложить “die Ersetzung einer generalisierenden Betrachtung (...) durch eine individualisierende Betrachtung”²: применительно к изучению человеческих действий это означает выяснение того, какую единственную интерпретацию мы должны дать определенной совокупности человеческих действий. Когда мы изучаем “предложения-действия”, нам необходимо исследовать, какая *Ns* или точка зрения на прошлое индивидуализируется с помощью высказываний в определенном нарративе. Обсуждаемый вопрос (составляющий суть хорошо известного определения историзма³, данного Майнеке) наводит на мысль о большой ценности философии историзма, когда она преобразуется в теорию написания истории. По большей части ска-

² “Заменить обобщающее рассмотрение (...) индивидуализирующим” (нем.). — Прим. перев.

³ Meinecke; p. 2.

занное представителями историзма о прошлом и о человеческих действиях совершенно приемлемо, если оно истолковывается как философский анализ того, как следует описывать человеческие действия и прошлое. Например, уникальность, или так называемая “Einmaligkeit”, которую представители историзма всегда приписывали периодам, событиям или людям прошлого, несомненно, является характерной чертой *Nss*, т.е. описаний прошлого. Защита человеческой свободы сторонниками историзма строилась на том допущении, что человеческие действия никогда нельзя полностью редуцировать к предшествующим им детерминирующим условиям, а это сопоставимо с тем положением нарративистской философии, что *Ns* (уникальную индивидуальную вещь) никогда нельзя полностью вывести из общих нарративистских правил (предложенных в “линейной” модели). Тезис историзма о том, что природа исторических явлений заключена в их истории, равнозначен “всеобъемлющему” подходу, характерному для нарративной логики. В соответствии с этим подходом природе некоторой *Ns* можно установить только при перечислении всех, от начала и до конца, высказываний, содержащихся в этой предлагаемой нарративом *Ns*. В отличие от линейного подхода, и историзм, и “всеобъемлющий” подход подчеркивают своеобразие и индивидуальность фрагментов прошлого или *Nss* в ущерб их обобщению. Повторяю, сходства между историзмом и нарративной логикой поразительны. Однако нам следует понимать историзм не как философию о вещах прошлого, но как философию об их (нарративном) описании; а поскольку мы знаем прошлое только по его описаниям, неудивительно, что представители историзма легко смещивали первое со вторыми. Таким образом, целью моего сопоставления человеческих действий с “предложениями-действиями” было еще раз поддержать историзм, очищенный от метафизических наслоений.

Я не хочу отрицать продуктивность линейного, лингвистического подхода. Например, недавние работы Т. ван Дейка⁴ без сомнения обещают в будущем успех исследованию то-

⁴ “Неповторимость” (нем.). — Прим. перев.

⁴ Работу Т. ван Дейка можно рассматривать как анализ того, что я позднее называю критериями “познаваемости” нарратива.

го, как связываются высказывания в текстах. Немного менее убедительным образом линейный, лингвистический подход был уже применен Штемпелем к написанию истории⁵. Тем не менее, я серьезно сомневаюсь в том, что главные тайны нарратива можно открыть таким путем. Прежде всего, я отношусь с недоверием к присущей линейному подходу тенденции заменять логическую аргументацию психологической. Странник линейного подхода будет стремиться к обобщениям относительно существующих нарративов, а это означает, что любой нарратив придется разделять на составные части таким образом, чтобы эти части совпадали с частями других нарративов. Самое большее, что можно ожидать от такого подхода, это ряд психологических обобщений относительно того, как можно связать конечные цепочки высказываний (т.е. части нарративов) с тем, чтобы они действительно были понятны обычному носителю языка. Во-первых, этот подход, по всей вероятности, сводится к тому взгляду на нарратив, который я критиковал в первом разделе первой главы. Во-вторых, присущий ему психологизм был подвергнут критике в главе I, раздел (2).

По сути, как указано в конце предыдущего абзаца, при линейном или лингвистическом подходе главная и, вероятно, исключительная забота направлена на *умопостигаемость* нарратива. Когда несколько высказываний связываются вместе в соответствии с регулярностями, открытыми благодаря линейному, лингвистическому подходу к языку, результатом, несомненно, будет вразумительный текст. Однако умопостигаемость или доступность пониманию — это только предварительное требование к тексту, чтобы он был приемлемым и согласованным нарративом. Есть множество типов вразумительных текстов, высказывания в которых соединены в соответствии с языковыми критериями умопостигаемости, но которые, тем не менее, не заслуживают определения

⁵ В своей статье Штемпель отталкивается от нескольких очень обобщенных “стандартных” нарративов, которые предоставляют нам образцы для некоторых частей действительных нарративов. Эта стратегия позволяет уйти от вопроса о природе нарратива и не раскрывает, как возникают действительные нарративы, т.е. законченные нарративные целостности, создаваемые историками. Кроме того, этот подход является аналитическим, а не синтетическим.

“нарратив”. Трактаты по химии, математические доказательства, рекомендации по проведению военных или политических акций, статьи уголовного кодекса — вот несколько примеров таких текстов. Или же, если взять более близкий пример, мы могли бы выделить десять или пятнадцать последовательных предложений из какого-нибудь исторического нарратива. В большинстве случаев такая последовательность предложений будет вразумительной, но, взятую как целое, ее нельзя будет назвать нарративом. Части нарратива сами necessarily являются нарративами, хотя такие части нередко совершенно вразумительны, а иногда даже весьма информативны. Подобным образом, мы часто можем объяснить действия какого-то отдельного человека, указывая, что этот человек делал перед каждым действием и каковы были условия совершения им действий, но в то же время мы оказались бы в затруднении, если бы нас попросили дать сводный обзор всей этой совокупности действий в целом. Возможным исключением из этого правила являются действия людей, которые не могут поступать по своей собственной воле, как, например, действия Ивана Денисовича⁶.

Основное различие между требованиями вразумительности и требованиями нарративистской адекватности состоит, по моему мнению, в том, что в первых совершенно не учитываются те аспекты нарративного дискурса, которые я называл бы “конструктивистскими”. В начале главы V отмечалось, что высказывания имеют *двойную* функцию в нарративе: а) они описывают прошлое и б) посредством этих высказываний создается “образ” или “картина” прошлого (некоторая *Ns*). Требования вразумительности действуют только на уровне а), где описывается историческая реальность. Описание прошлого, содержащиеся в высказываниях нарратива, должны быть связаны между собой вразумительным образом, т.е. не должно быть никакой неоднозначности в референции относительных местоимений, следует четко указывать изменения в темах, большинство следующих друг за другом вы-

⁶ Лагерную жизнь Ивана Денисовича настолько определяли внешние по отношению к нему факторы, что было бы бесполезно требовать полной интерпретации его действий. См.: *Солженицын А.* Один день из жизни Ивана Денисовича.

сказываний в нарративе нуждаются в некотором общем знаменателе и т.д. На этом уровне линейный, лингвистический подход, вероятно, будет успешным. Но вразумительность сама по себе не обеспечивает для некоторой совокупности высказываний ее собственное "лицо", т.е. она не гарантирует передачу "образа" или "картины" прошлого. Я хотел бы напомнить примеры из предыдущего абзаца: математические доказательства, группы отдельных высказываний из нарратива и т.д. Итак, хотя "плавность перехода" (Гэлли) и вразумительность, несомненно, входят в число требований к удовлетворительному нарративу, они не позволяют объяснить, что превращает некоторый текст в согласованный нарратив. Ибо ответить на *этот* вопрос удовлетворительным образом можно только в том случае, если мы будем также учитывать вторую функцию высказываний в нарративе, т.е. их способность создавать "образ" или "картину" прошлого. Эта способность нарративных высказываний соответствует тому, что я назвал "конструктивистскими" аспектами нарративного дискурса.

Мы могли бы уподобить историка-нарративиста архитектору. Архитектор всегда должен помнить о двух вещах. Во-первых, он должен быть уверен в том, что его постройка не обрушится на головы тех, кто собирается в ней жить. Это требует от архитектора обладания определенной суммой *общих* знаний о том, как следует соединять такие строительные материалы, как камень, древесина, бетонные конструкции и т.п. Этим мы помещаем архитектора на один уровень с лингвистом, отстаивающим линейный подход к языку. Во-вторых, архитектор должен построить здание (жилой дом, вокзал, школу и т.д.), служащее конкретной цели. Кроме того, он, вероятно, стремится построить здание эстетически приятное для глаз. И здесь, конечно же, мы обнаруживаем аналогию с нарративистским исследованием, которое имеет дело с *целыми* нарративами, а не с их частями. Или же на ум приходит живописное полотно. То, что мы видим, — это не огромное количество взаимосвязанных цветных пятен (хотя, возможно, акт написания картины отчасти можно было бы охарактеризовать таким образом). То, что мы действительно видим, есть картина в целом, на которой изображен фрагмент (воображаемой) реальности. Возможно, все это звучит удручающе

коалистично и антинаучно, но если мы хотим понять нарратив, нам придется смириться с этим положением вещей. Из *этих* сравнений мы можем вынести тот урок, что когда мы собираемся говорить о нарративах как таковых, мы не можем позволить себе делить их на части: мы должны совладать с *целыми* нарративами. Это также объясняет, почему лингвистический подход имеет столь удивительно маленькое значение для нарративов. Дело в том, что общее знание, которым обладает архитектор, одинаково полезно ему, когда он строит мосты, жилые дома, гостиницы или правительственные учреждения; точно так же общее знание, приобретаемое в ходе линейного, лингвистического исследования — по общему признанию — полезно для написания нарративов, но оно полезно и для написания партийных программ, учебников по медицине, театральных пьес, туристических путеводителей и т.д. То, что составляет отличительную особенность нарративов, т.е. их способность выражать "картину" или "образ" прошлого, выходит за рамки применения лингвистического подхода, поскольку он никогда не требует анализа *целых* нарративов в их уникальном своеобразии.

К тому же, проявляемый при лингвистическом, линейном подходе исключительный интерес к дескриптивным аспектам нарративного употребления языка говорит о близости этого подхода к нарративно-реалистической интерпретации нарративного языка. Как только мы отказываемся от убеждения, что нарратив индивидуализирует определенную *Ns* (т.е. предлагает определенный "образ" или "картину" прошлого), и оставляем себе лишь возможность дескриптивистского анализа, нарратив тут же вырождается в длинную цепочку отдельных высказываний, которые, как мы можем надеяться, связаны между собой вразумительным образом. Получение нарративного знания о прошлом, с этой точки зрения, состоит в следовании "лингвистическим путем", отмеченным высказываниями-нарративами. Однако, читая нарратив, нам следует избегать интуитивного представления о том, что мы следуем определенным лингвистическим путем. Чтение нарратива стоит сравнивать не с прогулкой по саду исторических фактов, но с получением общего представления об этом саду. Нарратив не ведет нас по аллеям, которые сами по себе достойны созерцания, не пытается он и направлять нас,

как можно более утонченным образом от одной аллеи к другой. Идея о том, что нарратив должен быть путешествием по прошлому, есть вводящая в заблуждение метафора. Высказывания в нарративе не следует рассматривать как сложную систему указателей, каждый из которых отсылает к следующему (при этом требование, предписывающее им это делать, равнозначно лингвистическому требованию вразумительности). Этот взгляд обусловлен нарративно-реалистическим представлением о том, что нарратив "следует понимать как вербализацию всех отдельных образов в фильме о прошлом", представлением, которое мы отвергли в главе IV (ср. с. 118 и далее). Нарратив лучше уподоблять карте (хотя даже эта метафора немного рискованна): нам сразу представлены особенности конкретной панорамы прошлого; точно так же карта или вид ландшафта с высоты птичьего полета дают нам общую картину всех географических особенностей некоторого участка поверхности Земли.

Итог этих размышлений состоит в следующем. Критерии построения согласованного нарратива не будут найдены, если мы будем пытаться выяснить, как можно вразумительным образом связывать между собой высказывания (множества высказываний). В нарративе создается новая лингвистическая сущность (т.е. *Ns*), и мы только тогда осмысленно ставим вопрос о том, как можно создавать согласованные *Nss*, когда говорим о полных нарративах. Это очень важно для нашего поиска правил, управляющих созданием нарративов. Из общих дедуктивных правил мы можем вывести только классы вещей, а не уникальные индивидуальные вещи вроде полных нарративов. Поэтому, с логической точки зрения, мы должны прийти к выводу, что нельзя сформулировать правила создания нарративов. Здесь может оказаться полезной следующая аналогия. В ходе профессиональной подготовки художник учится тому, как с помощью законов перспективы добиваться иллюзии глубины и удаленности изображаемого на картине; он учится тому, как достигать эффекта *светотени* и т.п. Но по самой своей природе такие общие правила или инструкции не могут направлять художника, когда он создает *этот* рисунок или *эту* картину как нечто уникальное. Законы перспективы определяют те черты этого рисунка (или этой картины), которые он (она) разделяет со всеми

другими рисунками (или картинами), подчиняющимися этим законам. Законы перспективы можно сопоставить с правилами вразумительности, которые вынужден соблюдать историк, если он желает быть понятым своими читателями. Но то, что является уникальным в *этом* рисунке или в *этом* нарративе, нельзя вывести из общих дедуктивных правил создания рисунков или нарративов.

Не является уникальностью нарратива также и лингвистическим эквивалентом уникальности (фрагмента) прошлого, которое изучает историк и к которому он применяет набор общих правил при создании его нарративного описания. Во-первых, это представление основывается на нарративно-реалистическом предположении о том, что нарративы являются проекцией фрагмента прошлого на лингвистический уровень в соответствии с определенными правилами перевода. Во-вторых, уникальность нарратива нельзя объяснить уникальностью того, о чем в нем говорится: если мы действительно считаем, что нарратив имеет свой предмет рассмотрения (а мы вскоре увидим, что это мнение отнюдь не бесспорно), мы не должны сомневаться в том, что по одному и тому же предмету может быть написано неограниченное число нарративов. Уникальность нарратива заключена не в его предмете рассмотрения, но в *интерпретации* этого предмета. Уникальность нарратива неразрывно связана с самой его сущностью, т.е. с его способностью предоставлять интерпретацию фрагмента прошлого. Поэтому было бы серьезной ошибкой полагать, что постепенным усовершенствованием дедуктивных правил нарративного употребления языка мы смогли бы сократить число нарративов, которые могут быть созданы по определенной исторической теме, и тем самым приблизились бы к идеалу единственного нарратива по этой теме. Уникальность нарратива проявляется не в ряде несущественных деталей, которые сохраняются после применения общих дедуктивных правил, а в стремлении историка дать приемлемое описание фрагмента прошлого. Нарративы пишутся с целью представить особую, уникальную интерпретацию прошлого: для них существенно как раз то, что ускользает от нас при применении общих дедуктивных правил.

Тот факт, что нельзя представить себе общие правила, управляющие созданием нарративов, не оставляет нас ни с

чем. Если таких правил нет, то вполне могут быть правила оценки относительных достоинств отдельных полных нарративов. Можно было бы даже утверждать, что эти последние правила (или, скорее, критерии) в чем-то подобны общим дедуктивным правилам, которые обсуждаются в этом разделе. Ибо их можно было бы преобразовать в общее дедуктивное правило вида: "создавай нарратив таким образом, чтобы он максимально соответствовал критериям оценки относительных достоинств индивидуальных нарративов". "Правила" или наставления такого рода обычно имеют небольшую практическую ценность. Игрокам футбольной команды ничего не даст совет постараться выиграть матч. С другой стороны, правила, применяемые нами при выполнении арифметических операций, тождественны критериям, определяющим правильность выполнения этих операций. Стало быть, возможно, что интуитивные соображения, которыми руководствуются историки при создании нарративов, не так уж сильно отличаются от критериев, определяющих их относительные достоинства. Фактически, историки часто решают, какой, в конечном счете, написать нарратив, после того как они рассмотрят и сравнят большое число других возможных нарративов по той же теме. Поэтому создание отдельного нарратива и оценку его относительных достоинств необязательно разделяет слишком большое расстояние.

В следующем разделе и в главе VIII я надеюсь раскрыть характер критериев, определяющих относительные достоинства полных индивидуальных нарративов. На данном этапе нашего обсуждения я удовлетворюсь следующим заявлением: а) никаких общих дедуктивных правил создания нарративов предложить нельзя, можно предложить только критерии их оценки, и б) при отсутствии общих дедуктивных правил идея таких критериев не является противоречивой. Как иллюстрация последнего утверждения: мы можем быть вполне уверены в том, что заставляет нас предпочесть один стул другому, при этом ничего не зная о том, как изготавливаются стулья.

Очевидно, что эти результаты согласуются с нашим неприятием идеального нарратива (ср. главу II). Поиск идеального нарратива вдохновлялся тем соображением, что мы смогли бы найти правила (перевода), позволяющие идеальным образом преобразовывать сырой материал прошлого в

его нарративное описание. В этом разделе мы решили удовлетвориться критериями нарративной согласованности, т.е. правилами, помогающими определить, какой нарратив из числа конкурирующих является наиболее предпочтительным. А такие правила или критерии действуют только после того, как нарративы уже даны нам; таким образом, они позволяют отобрать наиболее хороший, но не самый лучший или идеальный нарратив. Отсюда следует, что сравнение нарративов — это сравнение нарративных структур как таковых. Мы предпочитаем один нарратив другому не потому, что в них обоих был описан и объяснен один и тот же четко определенный предмет (или фрагмент самого прошлого), но потому что в лучшем из них был достигнут более высокий уровень нарративной согласованности. Иначе и не могло бы быть. Как мы видели в главе IV, нарративы не отражают, но определяют "лицо" прошлого. Стало быть, разные нарративы имеют разные предметы (что само по себе является рискованным утверждением, поскольку предполагает существование некоторого объективного ненарративного критерия, с помощью которого можно указать предмет нарратива, т.е. предполагают *quod non**), поэтому ни предмет нарратива, ни даже "само прошлое" не могли бы быть высшим арбитром при выборе самой лучшей нарративной интерпретации прошлого. Все нарративы несоизмеримы.

Кроме того, это подсказывает еще и другое объяснение того факта, что хотя не существует правил, предписывающих, как создавать нарративы из сырого материала (истинных высказываний о прошлом), все же мы можем методом исключения отобрать среди нарративов наиболее согласованный. Мы могли бы сказать, что не существует предшествующих нарративу правил, устанавливающих, как нам следует смотреть на историческую реальность, поскольку, фактически, каждый нарратив сам является набором таких правил. Именно потому, что прошлое не имеет своего собственного лица, нарративное воспроизведение которого подчинялось бы правилам, мы можем утверждать, что нарратив является указанием, как следует представлять себе историческую реальность. Как мы увидим в последнем разделе этой главы,

* Того, чего нет (лат.). — Прим. перев.

нарративы (или *Nss*) задают определенное видение прошлого, и тот фрагмент прошлого, который попадает в круг этого "видения как ...", часто выходит за пределы того, о чем действительно упоминается в высказываниях, содержащихся в нарративе. Поэтому отнюдь небезосновательно говорить о том, что поскольку нарратив задает определенное "видение" прошлого, он, по сути, функционирует в качестве правила или системы правил, устанавливающих, как следует представлять себе прошлое.

До сих пор я усматривал задачу лингвиста в поиске правил, устанавливающих, как можно *вразумительным образом* связывать между собой высказывания. С другой стороны, я не раз указывал, что ищу правила или критерии, которые гарантируют или определяют *согласованность нарративов*. Но может возникнуть вопрос о том, допустимо ли говорить о *согласованности высказываний* в приемлемом нарративе. Конечно, это можно делать. В приемлемом нарративе мы имеем дело с цепочкой высказываний, которые являются одновременно *вразумительными* и *согласованными*. Но нам не следует забывать о том, что такая цепочка высказываний становится согласованной благодаря тому, что она индивидуализирует ясную и согласованную "картину" или "образ" прошлого. Только эти "картины" или "образы" прошлого (т.е. *Nss*) являются ясными или согласованными (или неясными и несогласованными) в строгом смысле слова. Таким образом, и о цепочке высказываний можно говорить, что она является ясной и согласованной (или неясной и несогласованной), но только в производном смысле.

(3) *Метафора*. В начале главы V мы установили, что высказывания в нарративе выполняют двойную функцию: 1) они описывают прошлое (приписывая определенные свойства тем вещам, которые обозначаются (нарративными) субъектами этих высказываний), 2) они создают "образ" или "картину" (фрагмента) прошлого (высказывания в нарративе индивидуализируют *Ns*). Следовательно, описывая прошлое в нарративе, мы создаем его "образ" или "картину", а описываем мы прошлое, когда индивидуализируем его "образ" или "картину". В нарративе оба эти действия совершаются одновременно. Итак, два обычно отдельных способа употребле-

ния языка — описание и индивидуализация — сливаются в один внутри нарратива.

Эту двойную функцию нарративных высказываний можно также приписать и метафорическим высказываниям. Возьмем метафорическое высказывание: "Сталин был волком". Несомненно, в этом высказывании содержится элемент описания, поэтому оно может быть истинным или ложным. Отчасти оно выражает то, что Сталин был жестоким тираном и его поступки были подобны тем, которые обычно считаются свойственными волкам. Я не претендую на точность этой парафразы; ее несовершенство вскоре получит объяснение. Я только хочу сказать, что в этом метафорическом высказывании что-то утверждается об исторической личности, известной под именем Сталин, и в каком-то смысле это высказывание могло бы оказаться ложным, если бы, например, в ходе исторического исследования было обнаружено, что действия Сталина почти всегда вызывались гуманными и альтруистическими мотивами. С другой стороны (и в этом метафорическом высказывании отличаются от буквальных), высказывание "Сталин был волком" побуждает нас сформировать особое описательное, буквальное высказывание о Сталине, т.е. высказывание о жадности, жесткости и бесчеловечности, проявившихся в политической деятельности Сталина. Но вторая функция метафорического высказывания определено состоит не в том, чтобы быть формулировкой или парафразой подобных высказываний: метафорическое высказывание просто указывает, что такие высказывания следует предпочитать другим при обсуждении Сталина. Эта вторая функция метафорического высказывания состоит в том, чтобы определить или индивидуализировать "точку зрения", с которой следует рассматривать политические действия Сталина, или чтобы сформулировать "образец", с которым его действия следует соотнести. Бёрк даже ограничивает значение метафорических высказываний этой второй функцией, когда пишет, что "метафора есть прием, позволяющий видеть одно с точки зрения чего-то другого. (...) (М)ы могли бы сказать, что метафора сообщает нам об одном персонаже что-то с точки зрения другого персонажа. Рассматривать А с точки зрения В, несомненно, означает использовать В в ка-

честве перспективы для А⁷. Но как я указывал выше, это слишком узкий подход.

Таким образом, для данного метафорического высказывания различие между "описательной", или "буквалистской", функцией и функцией "точки зрения" состоит в том, что первая представляет собой обобщение относительно поступков Сталина (которое можно фальсифицировать найденными эмпирическими данными), в то время как последняя только побуждает нас описывать Сталина особым образом, но сама не предоставляет этих описаний и поэтому не является фальсифицируемой. Последняя функция не предполагает никаких эмпирических утверждений и даже не выражает правила формулирования эмпирически проверяемых высказываний. Она лишь указывает, какого рода высказывания следует выбирать из всех возможных высказываний о Сталине, когда обсуждается его политическая деятельность. Сразу же приходит на ум аналогия с нарративными высказываниями, содержащимися в *Ns*. Эти нарративные высказывания также описывают прошлое, но в дополнение к этому они индивидуализируют *Ns* или задают "видение как..." для исторической реальности (см. главу VI, раздел (3)). Фактически, метафорические высказывания являются превосходными сумматорами нарративов: они побуждают нас представить себе те буквальные высказывания о прошлом, которые нам предстоит найти в соответствующих нарративах. Например, метафорическое высказывание "Европейская культура была возрождена в ходе XV столетия" побуждает нас выбирать или предпочитать среди всех высказываний, которые можно было бы сформулировать о европейской культуре этого периода, те высказывания, которые мы находим в нарративах о Ренессансе, хотя само метафорическое высказывание, конечно же, не выражает явным образом ни одного из этих высказываний. Наша реакция на эти и подобные им призывы видеть прошлое особым образом всегда зависит от того, что мы привыкли связывать с таким терминами, как "возрождение".

Из этих соображений следует, что различие между буквальными и метафорическими высказываниями заключено в способности последних определять или индивидуализировать

⁷ Burke, pp. 503—504.

"точку зрения". Это означает, что метафорические высказывания никогда нельзя полностью свести к буквальным высказываниям, которые одни имеют описательное или познавательное содержание. В этом отношении мой анализ расходится с самыми последними теориями метафорических высказываний, авторы которых, в отличие от Бёрка, подчеркивают описательную составляющую метафоры. По сути, эти теории главным образом направлены на установление того, в чем заключается значение метафорического высказывания. Согласно Шиблзу, мы можем выделить здесь две традиции: а) теорию дополнения и б) теорию замещения, или буквалистскую теорию метафоры. Согласно первой теории "метафора передает значение, которое не может передать буквальным язык". Метафора рассматривается как новая и нередуцируемая идиома. Эту теорию отстаивает сам Шиблз, Уилрайт и, по всей вероятности, Блэк в своей известной статье о метафоре⁸. Согласно второй теории (ее начало восходит к Аристотелю) метафоры представляют собой скрытые сравнения, которые можно преобразовать без потери значения в высказывания, в которых слова имеют только буквальное значение. Шиблз выделяет еще и третью теорию метафоры, а именно теорию контroversии Бердсли. Но поскольку я согласен с Шиблзом в том, что эта теория близка к б), я не буду ее здесь обсуждать. Следует отметить, что противоположные теории а) и б) разделяют одно важное допущение, а именно что значение метафорического высказывания должно быть чисто познавательным. Эта идея важна еще тем, что благодаря ей становится осмысленным спор между сторонниками этих двух теорий: если метафорическим высказываниям приписывается чисто познавательное значение, действительно име-

⁸ Shibles; p. 65

⁹ Когда Блэк обсуждает проблему парафразирования метафор, он пишет: "среди прочего я особенно хочу подчеркнуть тот момент, что в таких случаях имеет место потеря познавательного содержания; важный недостаток буквальной парафразы состоит не в том, что она может быть утомительно длинной или надоеливо подробной (или может иметь стилистические погрешности); она не является переводом, поскольку не передает мысль, которую выражает метафора". Ср. Black (1); p. 46. Очевидно, это близко к теории дополнения; тем не менее, Бердсли трактует статью Блэка как защиту теории контroversии. Ср. Beardsley (1); p. 160.

ет смысла сравнивать их с буквальными высказываниями, значение которых состоит в том, чтобы сообщать что-то о четко определенном множестве объектов (или об их аспектах) в виде описания или оценки. Поэтому это предположение служит общей основой, предотвращающей непонимание между сторонниками теории дополнения, утверждающими, что парафразирование метафорических высказываний влечет за собой потерю "познавательного содержания" (Блэк¹⁰), и защитниками теории замещения, отрицающими эту точку зрения.

Я же хочу оспорить именно этот "дескриптивистский" взгляд, который я определяю как убеждение в том, что значение метафорических высказываний должно быть чисто познавательным, т.е. все, что они должны делать, — это сообщать информацию о природе реальности так, как это делают буквальное высказывания. Согласно теории дополнения оттенки смысла, передаваемые метафорой, слишком тонки, чтобы их мог выразить имеющийся в нашем распоряжении буквальное язык, тогда как теория замещения отрицает эту точку зрения. Однако и для теории дополнения, и для теории замещения общим является "дескриптивистское" убеждение в том, что следует отрицать наличие у метафоры некоторого дополнительного аспекта, который отсутствует в буквальном высказывании. Повторяю, я действительно признаю, что *отчасти* значение метафоры носит когнитивный характер, но оно не ограничивается им. И именно это "добавочное" значение образует существенное логическое отличие метафорических высказываний от буквальных. Метафора — это нечто гораздо большее, чем просто украшение языка или попытка поэтически сказать то, что можно выразить также и буквальным языком. Если бы метафорическое измерение было устранено из языка, наше представление о мире немедленно распалось бы на несвязанные и трудно обрабатываемые единицы информации. Метафора синтезирует наши знания о мире. Наконец, если бы метафора была отброшена, сразу исчезла бы согласованность, которую мы сообщаем миру благодаря нашей исторической осведомленности и благодаря нашей способности выделять идентичности (Nss и, особенно, Ns "Я_{инт.}") в реальности.

¹⁰ Black (1); p. 46.

Я начну обоснование этого утверждения с того, в чем согласны все исследователи метафоры: необходимым условием для признания некоторого высказывания метафорическим является наличие в нем одного или нескольких слов или словосочетаний, которые не имеют своего обычного или буквального значения. Это формулируется самыми разными способами. Так, утверждают, что метафорическое употребление языка "состоит в некотором преобразовании буквального значения" (Блэк), что существует "логическая оппозиция" между буквальным значением слова и тем значением, которое оно имеет в метафорическом контексте (Бердсли), тогда как Левин в своей недавней работе о метафоре прямо говорит о "семантической аномальности", характерной для метафоры¹¹. Наконец, Моей пишет, что в метафоре "некоторые свойства F [т.е. области буквального значения слова, которое употребляется метафорически] несовместимы с (нашим представлением об) A [т.е. с субъектом, о котором, по существу, говорится в метафорическом высказывании]"¹².

Памятуя об этом, я предлагаю рассмотреть, что случилось бы, если бы мы стали отрицать метафорические высказывания. Возьмем метафорическое высказывание "х есть a " (1) и предположим, исходя из дескриптивистских допущений, что это метафорическое высказывание эквивалентно буквальному высказыванию "х есть $\pm \emptyset$ " (2) (я намеренно пишу " $\pm \emptyset$ " вместо простого " \emptyset " ради успокоения сторонников теории дополнения). Теперь произведем отрицание метафорического высказывания (1); причем неважно, имеем ли мы дело с внутренним или внешним отрицанием. Благодаря признаваемой всеми "логической оппозиции" (Бердсли) или "несовместимости" (Моей) между субъектом и предикатом метафорических высказываний в результате отрицания мы всегда получаем очень ясные высказывания и иногда даже логические истины (например "Сталин не был волком"). Допустим, отрицанием высказывания (1) является высказывание "х не есть a " (3). Ясно, что при отрицании утрачивается метафорический характер метафорического высказывания: больше нет "логической оппозиции" или "несовместимости", столь су-

¹¹ Black (1); p. 35; Beardsley (2); p. 299; Levin; p. 4.

¹² Mooij; p. 21.

щественных для того, чтобы некоторое высказывание было метафорой¹³. Теперь, (2) и (3) будут совершенно совместимы. Согласно дескриптивистскому допущению (1) и (2) эквивалентны, и нам приходится заключить, что если дескриптивизм правилен, метафорическое высказывание и его отрицание являются совместимыми, а это абсурдно.

Мы можем избежать этого абсурдного вывода, предположив, что метафорические высказывания помимо описательной функции имеет также функцию определения "точки зрения" и что эта последняя функция была устранена, когда высказывание (1) было преобразовано в чисто описательное высказывание (2). Если мы сохраним эту вторую функцию, то увидим, что отрицание метафорического высказывания, по существу, равносильно отказу от "точки зрения", которая определяется с его помощью. Тот факт, что именно "точка зрения", а не описательная составляющая метафорического высказывания поглощает в себя отрицание, означает также, что первая является гораздо более выраженной, чем вторая. И, наконец, добавлю, что эти две функции метафорического высказывания не следует рассматривать как части *всего* его значения в целом. Само же метафорическое высказывание не следует рассматривать как соединение этих двух функций, каждую из которых можно установить, "вычитая" другую из значения данного метафорического высказывания. Метафорическое высказывание выполняет две функции и не имеет некоторого первоначального значения, в котором обе функции все еще слиты вместе. Подобным образом и инструменты никогда не снабжаются списком, ограничивающим возможные способы их использования.

Вышеуказанные замечания можно проиллюстрировать на примере отрицания метафоры. 9 термидора Робеспьер попытался выступить со своей последней и самой безапелляционной речью в Конвенте. Целью этой речи было обличить таких людей, как Фуше, Тальен, Баррас и Барер, которых Ро-

¹³ Я не согласен с Блэком, когда он пишет, что отрицание метафоры "столь же метафорично, как и ее противоположность" (Black (2) p. 35). Метафорические "точки зрения" не могут иметь отрицательного определения. Подобным образом и высказывание "теория Т ложна" само не является теорией, хотя его можно подкрепить теоретическими соображениями.

беспьер подозревал в заговоре против режима доблести. Однако на этом самом драматичном парламентском заседании Тальен, Барер и другие помешали Робеспьеру произнести свою речь, и это стало непосредственной причиной его падения. Следующая цитата из речи Робеспьера имеет отношение к нашему обсуждению метафоры: "Les bons et les méchants, les tyrans et les amis de la liberté disparaissent de la Terre mais à des conditions différentes. Français, ne souffrez pas que vos ennemis cherchant à abaisser vos âmes et à énerver vos vertus par une fineste doctrine. Non Chaumette, non, Fouché, la mort n'est point un sommeil éternel. Citoyens, effacez des tombeaux cette maxime impie qui jette un crêpe funèbre sur la Nature et qui insulte à la mort; gravez-y plutôt celle-ci: *La mort est le commencement de l'immortalité*"¹⁴.

Эта цитата содержит два метафорических высказывания о смерти. Мы можем быть уверены, что разногласия между Робеспьером и Фуше не касались описательной составляющей в обеих метафорах. И Робеспьер и Фуше понимали, что значит мертвый человек, а Робеспьер не стал бы отрицать сходства между мертвыми и спящими людьми. Существование такого сходства является необходимым условием истинности описательной составляющей метафоры Фуше. Поскольку мы не можем считать, что Робеспьер и Фуше спорили относительно описательного содержания этой метафоры, уже это наводит на мысль, что вся ее сила сосредоточена во второй функции, выполняемой метафорическими высказываниями. Следовательно, оба революционера разошлись именно в своем отношении к смерти, в своих взглядах на смерть. Робеспьер считал, что в смерти следует "видеть" начало бессмертия; тогда как Фуше должен был "видеть" в смерти вечный сон. Выбор любой из этих точек зрения не является произ-

¹⁴ M. De Robespierre, Discours et rapports à la Convention, s.l. 1965; p. 292: "Праведники и злодеи, тираны и поборники свободы — все исчезли с лица Земли, но при разных обстоятельствах. Французы, ваши страдания проистекают от друзей, которые изобретением утонченной теории стремятся уколоть вас в самое сердце и надругаться над вашими добродетелями. Нет, Шомет, нет, Фуше, смерть вовсе не вечный сон. Граждане, сотрите с могильных плит эту постыдную надпись, бросающую похоронную тень на Природу и оскорбляющую смерть; лучше напишите там следующее: *Смерть есть начало бессмертия*" (франц.). — Прим. ред.

вольным, хотя их нельзя фальсифицировать при помощи фактов. Ведь каждую точку зрения можно аргументировать. Так, Робеспьер приписал Фуше убеждение в том, что мы можем делать все что угодно, не страшась посмертного наказания. С другой стороны, сам Робеспьер полагал, что История, в конце концов, рассудит, кто славный мальчик, а кто злодей, и поэтому следует вести себя так, как если бы нам, в определенном смысле, были уготованы награды и наказания. В силу этих соображений Робеспьер чувствует, что его "точка зрения" на смерть достойна большего одобрения, чем "видение" Фуше. Но в отношении объективных признаков мертвых людей, в отношении способа описания смерти их мнения не расходятся. Поэтому отрицание метафорического высказывания не следует истолковывать так, как если бы имело место отрицание описательного содержания высказывания: отвергается правдоподобность некоторой "точки зрения". Но, повторяю, когда метафорическое высказывание "la mort est un sommeil éternel" описывает реальность и определяет "точку зрения", оно само выполняет эти две функции одновременно — их не выполняют парафразы для обеих его функций, например, (1) "мертвые люди похожи на спящих" и (2) "рассматривай мертвых людей, как если бы они были спящими". Подобным же образом и говорить — это не значит (а) производить шум и (б) выражать идеи, но значит делать обе эти вещи одновременно. Парафраза (2) является "точкой зрения", которая индивидуализируется или определяется метафорическим высказыванием.

Если признать, что метафора не только имеет описательное содержание, но и выполняет функцию, состоящую в определении "точки зрения", с которой следует смотреть на реальность, то можно попытаться найти решение для двух проблем, часто обсуждаемых в литературе, посвященной метафоре. Во-первых, иногда ставится вопрос о том, могут ли метафорические высказывания быть (не)истинными¹⁵. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отделить "описательную" функцию метафоры от функции "точки зрения". В отношении первой функции совершенно правильно будет

¹⁵ "Смерть есть вечный сон" (франц.). — Прим. перев.

¹⁵ Большое внимание этой проблеме уделяет Левин. См.: Levin, ch. IV.

сказать, что метафорические высказывания, подобно буквальным высказываниям, могут быть или истинными, или ложными. Однако в этом отношении нам следует быть очень осторожными и четко различать два вида метафорических высказываний. Существуют метафорические высказывания, которые мы можем понимать, даже если у нас нет никакого предварительного знания о том, что утверждается с помощью описательной составляющей метафоры. Если мы не ведаем о жестокостях Сталина или даже искренне считаем, что он был благодетелем человечества, мы все же можем понять метафору "Сталин был волком". С другой стороны, если мы не знаем, что мертвые не говорят, не двигаются и т.д. так же, как этого не делают спящие люди, метафора "la mort est un sommeil éternel" будет нам непонятна. В таких случаях знание истинности описательного значения метафоры является необходимым условием ее понимания. В подобных метафорах весь акцент сделан на их функции "точки зрения", тогда как истинность описательного содержания просто обеспечивает осмысленность метафоры.

Наилучший способ определить, на чем сделан акцент, это произвести отрицание метафорического высказывания и посмотреть, что оказывается под ударом — некоторый аспект самой реальности или кандидат на роль "точки зрения". В случае чисто метафорического высказывания, т.е. метафоры, описательное содержание которой нельзя отрицать без того, чтобы вся она не утратила смысла, бесполезно говорить о ее истинности или ложности. Все значение таких метафор сосредоточено в их функции определения или индивидуализации "точки зрения". Дескриптивное знание о реальности не выражается, но скорее используется в таких метафорах для индивидуализации "точки зрения". А в случае индивидуализирующего употребления языка нельзя говорить об эмпирической истинности или ложности (мне хотелось бы напомнить о различии между "индивидуализацией" и "идентификацией", проведенном в главе V).

Во-вторых, исследователи метафоры часто задаются вопросом о том, можно ли парафразировать метафорические высказывания посредством буквальных, неметафорических высказываний без потери значения. Поскольку характерная для метафорических высказываний индивидуализирующая

функция отсутствует в буквальных высказываниях, первой нашей реакцией будет отрицательный ответ. Однако можно было бы возразить, что с помощью описательных, буквальных высказываний иногда удается индивидуализировать "точку зрения", а именно *Ns*. Следовательно, есть возможность (по крайней мере, теоретическая) парафразировать метафорические высказывания с помощью нарратива. Идея о том, что между нарративом, с одной стороны, и метафорическими высказываниями, с другой, должен существовать плавный переход, не является совершенно абсурдной¹⁶. Возможно, понятие мифа могло бы послужить необходимой *trait d'union* между ними. Но исследование этой проблемы, безусловно, выходит за рамки наших нынешних интересов.

Итак, когда мы в согласии с выводами из глав V и VI утверждаем, что описание и индивидуализация представляют собой две логические операции, воплощающие сущность нарративного употребления языка, у нас есть основания приписать нарративу глубоко метафорический характер¹⁷. Метафору также можно свести к этим двум логическим операциям. То, что нарративное употребление языка по своей сути является метафорическим, составляет третий ключевой те-

¹⁶ Связь между "историями" и "метафорами" уже была показана Шоном: "постановки проблем, по моему мнению, опосредуются "историями", которые люди рассказывают о затруднительных ситуациях и в которых они описывают, что не так и что требует разрешения. Когда мы разбираем истории, рассказанные теми, кто анализирует и проводит социальную политику, становится ясно, что формулировка проблем очень часто зависит от метафор, лежащих в основании историй, в которых ставятся проблемы и задается направление их решения". См. Schön (2); p. 255.

¹⁷ Связующая нить, мостик между чем-либо (франц.). — Прим. ред.

¹⁷ В своей очень ясной статье Стивен Хамфриз обсуждает метафорический характер исторического знания. Он утверждает, что метафоры служат нам моделью для описания прошлого: "(...) метафоры образуют ядро моделей реальности. В метафоре упорядоченная и умопостижимая форма, выделенная в одной совокупности явлений, переносится на другую совокупность; тем самым метафоры указывают структуру — систему категорий и закономерных связей — в этом втором сегменте реальности". Ср. Stephen Humphreys; p. 15. Однако я возражаю против склонности Стивена Хамфриза рассматривать метафоры как модели, заранее данные историку; по моему мнению, они рождаются в нарративе.

зис, отстаиваемый мной в этой работе. Наиболее интересным моментом относительно и метафоры и нарратива является то, что помимо описания реальности они индивидуализируют или определяют некоторую "точку зрения" или "видение как..." для интерпретации реальности. И нарратив и метафора с помощью некоторого лингвистического приема (*Ns* или функции "точки зрения" в случае метафорических высказываний) индивидуализируют ту перспективу, в которой следует анализировать или рассматривать реальность. Действительно, если затрагивается их наиболее заметное логическое свойство, то нарратив и метафора являются не описаниями, но трактовками, которые по своей природе никогда не могут быть эмпирически истинными или ложными. Это, кстати, служит окончательным обоснованием моего довода против понятий истинности и ложности нарративов, сформулированного в конце главы III. Наконец, я хотел бы в дополнение к сказанному в этом разделе оговорить следующее условие: даже если можно выдвинуть убедительные возражения против моего анализа метафоры, это не повредит моей дальнейшей аргументации. Ибо с этого момента, когда бы ни зашла речь о метафорическом характере нарратива, я буду использовать понятие "метафора" в разъясненном выше смысле. Я не буду отстаивать представлений о нарративе, не сводимых к данному в этом разделе анализу метафоры. Поэтому если кто-то усомнится в надежности моих утверждений относительно метафоры, одно это не может быть причиной для отказа от следствий, выводимых мной из метафорической природы нарратива. Ему нужно лишь помнить, что, по его мнению, я использую понятие "метафора" в том смысле, который иронически можно назвать "метафорическим".

Какие выводы можно сделать из этих данных? Подобно метафоре, нарратив одновременно описывает реальность и индивидуализирует некоторую "точку зрения". Но как и в случае метафорических высказываний, нарративные высказывания не следует рассматривать как соединение описательного и нарративного значения, определенного раз и навсегда. В частности, каково нарративное значение некоторого высказывания и какую *Ns* оно позволяет индивидуализировать, зависит также от того, какие другие нарративные высказывания содержатся в нарративе. Например, автор не-

давшей работы по истории Бельгии и Нидерландов с 1780 года утверждает, что во второй половине XIX века бельгийская католическая партия отказалась от протекционизма¹⁸. Такое высказывание могло бы привести к одному из следующих заключений: (1) "довольно странно, что бельгийская католическая партия стала проводить политику свободной торговли во второй половине XIX века. Это необычное явление защиты христианской партией либеральной экономической политики в данном случае все же можно объяснить, если принять во внимание соответствующие обстоятельства $c_1 \dots c_n$ "; или (2) "во второй половине XIX века свободная торговля перестала быть характерной чертой либеральной экономической политики. Таким образом, бельгийская католическая партия одной из первых отвергла протекционизм". Читателю следует знать, что подобная дилемма очень типична для написания истории. Тому, кто пишет историю экономической политики либералов или христианских демократов, в конце концов, придется выбирать между этими двумя утверждениями. Затем другой историк может заявить, что, по его мнению, это ошибочная позиция. Возникшая историческая дискуссия вряд ли когда-либо позволит докопаться до истины.

Из этого примера мы можем извлечь тот урок, что одно и то же высказывание "Во второй половине XIX века бельгийская католическая партия выступила в защиту свободной торговли" можно использовать для индивидуализации двух разных *Nss* (которые в самых общих и приблизительных чертах представлены утверждениями (1) и (2)). В обоих случаях высказывание, если взять его описательное значение, является иллюстрацией конкретного исторического тезиса (или *Ns*) (ср. сс. 198—199). Помимо описания самого исторического прошлого, такое нарративное высказывание становится также аргументом в пользу некоторой "точки зрения", например "одобрение политики свободной торговли бельгийской католической партией является замечательным подтверждением ее реалистического прагматизма, которым мы так часто наделяем христианско-демократические партии", или "пример бельгийской католической партии доказывает лишь, что политику свободной торговли не следует считать исключительно

¹⁸ E. H. Kossmann, *The Low Countries 1780–1940*, Oxford 1978; pp. 252 ff..

либеральной экономической политикой". В нарративах по истории христианской демократии или по истории политики свободной торговли в XIX веке рассматриваемое высказывание допускает любую из этих интерпретаций. Всякий, кто когда-нибудь пробовал свои силы в написании истории, ощущал чрезвычайную податливость описательных высказываний о прошлом: они послушно входят в самые разные рассказы о прошлом¹⁹. Эта податливость нарративных высказываний объясняется тем, что в нарративном контексте они носят иллюстративный или аргументативный характер; они носят такой характер, поскольку могут вносить вклад в индивидуализацию большого числа *Nss*. Описательные высказывания не имеют, так сказать, собственных нарративных пределов. Такие пределы появляются лишь тогда, когда историк предоставляет некоторую "точку зрения": описательные высказывания становятся тогда иллюстрациями этой "точки зрения" или аргументами в ее пользу. Но нарративные высказывания никогда не становятся чем-то большим по сравнению с иллюстрациями или аргументами; т.е. их никогда не следует отождествлять с самими историческими тезисами. Даже если *Ns* содержит только одно высказывание *p*, это высказывание является простой иллюстрацией *Ns*, названной "*p*". Зависимость отдельных описательных высказываний от "точек зрения", которые они [высказывания], вместе взятые, индивидуализируют наряду с "неограниченностью" каждого из этих высказываний в отдельности также лежит в основе логического круга, столь характерного для исторического знания. По отдельности индивидуальные высказывания в нарративе могут указывать во всех мыслимых направлениях, и только нарративная "точка зрения" задает им "нарративное направление", однако сама "точка зрения" возникает лишь благодаря этим беспомощным описательным высказываниям.

¹⁹ Этот факт признает также Стивен Хамфриз: "все это открывает интересную возможность: любой данный корпус документов может служить веским подтверждением нескольким тезисам, а, по аналогии, любой ряд событий оправданно мог бы подкреплять многие интерпретаций". Ср. Stephen Humphreys; p. 10.

Эти соображения позволяют прояснить смысла положения, которое отстаивали многие историки (например Беккер²⁰) и философы истории, а именно что “факты нельзя, как предполагалось в теории соответствия, просто воспринимать, они должны быть *установлены*. (...) Факт не существует независимо от того, замечает ли его кто-нибудь или нет; скорее, факт — это итог размышлений”²¹. Это, несомненно, имеет место, когда мы рассматриваем *вместе* описательное и нарративное значение нарративных высказываний: многообразие нарративных значений, которые может иметь одно и то же высказывание в разных нарративах, говорит о том, что исторические факты (т.е. то, что выражают нарративные высказывания) всегда зависят от нарративного употребления данных высказываний. Таким образом, нет фактов, свободных от нарративной интерпретации в нарративах. В этом утверждении есть немалая доля правды, и мы можем считать его нарративным аналогом тезиса о “теоретической нагруженности эмпирических фактов”, который отстаивается в философии науки. Но нам не следует забывать, что мы всегда должны различать описательную и нарративную функцию нарративных высказываний. А описательное содержание нарративных высказываний позволяет нам интерпретировать их так, чтобы мы могли называть их либо истинными, либо ложными (разумеется, исключая тот тип высказываний, о котором говорится на сс. 253—255). Не все в истории непрочное и неустойчиво. Наконец, поскольку историки всегда пользуются нетеоретическим, обыденным языком, было бы некорректно применять тезис о “теоретической нагруженности эмпирических фактов” к описательному содержанию нарративных высказываний.

Упомянутый выше логический круг, характерный для исторического знания, отражает подвижность разграничительной линии между идентичностью вещами, о которых пишут историки, и тем, что им предсказывается в ходе нарратива. Ренессанс — это ни больше и ни меньше, как то, что нам сообщают о нем отдельные историки. Поэтому рассказ о Ренес-

²⁰ См. Becker; p. 130; также хорошей иллюстрацией является: E. H. Carr, *What is History*, London 1961; ch. I.

²¹ Walsh (3); p. 77.

сансе совершенно отличается, например, от описания физического объекта: что бы мы ни писали в своем историческом сочинении о Ренессансе, это не может не быть истинным в отношении *нашего* Ренессанса. Мы не можем *неправильно описать* Ренессанс (поскольку не существует такой вещи), тогда как нетрудно *неправильно описать* стулья или автомобили. Самое большее мы можем пренебречь существующими в историографии обычаями, но в какой-то мере историки даже обязаны ими пренебрегать. Идентичность нарративистских вещей, т.е. *Nss*, и их описания, т.е. нарративные высказывания, являются взаимозаменяемыми. Я полагаю, что именно это имеет в виду Перельман, используя понятие “*liaisons de coexistence*”^{*}. Отношение, существующее между представлением о человеке (очевидно, что это *Ns*) и высказываниями, которые можно сформулировать о его действиях, является архетипом этих “*liaisons de coexistence*”: там “*nous voyons à l'oeuvre cette curieuse dialectique qui nous permet de tracer le portrait de notre personnage à travers ses actes, ses manifestations de tout genre et plus d'interpréter ses actes et ses arguments à travers l'idée qu'on a fournie de la personne*”²². Наиболее заметной особенностью этих “*liaisons de coexistence*” является то, что “*qu'on refuse de voir dans le rapport de la personne et ses actes une simple réplique des rapports entre un objet et ses propriétés*”²³. По сути, если первое отношение всегда является аналитическим, то второе, по большей части, синтетическим. Метафорический характер этих “*liaisons de coexistence*” нельзя не заметить: идентичность личности, народа, социальной системы или интеллектуального движения постигается через их действия, решения, достижения, и наоборот.

* “Отношения сосуществования” (франц.) — Прим. перев.

²² Regelman (1); p. 376: “... мы наблюдаем в действии эту любопытную диалектику, которая позволяет выявить образ нашего героя благодаря его действиям и разным проявлениям чувств, а затем интерпретировать его действия и рассуждения с помощью идеи, движущей этим человеком” (франц.). — Прим. ред.

²³ Regelman (1); p. 397: “... во взаимосвязях между человеком и его действиями отказываются видеть простое отражение взаимосвязей между объектом и его свойствами” (франц.). — Прим. ред.

(4) "Область". В предыдущем разделе утверждалось, что когда мы формулируем метафорическое высказывание или пишем нарратив, мы индивидуализируем "точку зрения", с которой следует смотреть на реальность. В этом разделе я хочу поточней определить эти "точки зрения" и их функцию в нарративном представлении прошлого.

Точку зрения, определяемую метафорически высказыванием "Сталин был волком", можно было бы приблизительно описать следующим образом: "Смотри на действия Сталина так, как если бы они были вызваны жестокостью и низкими или своекорыстными побуждениями". Ибо именно с ними у нас ассоциируется (неважно, правильно или нет) поведение волков. Даже если бы *действительные* волки были самыми миролюбивыми и альтруистическими существами на Земле, это не имело бы значения для "точки зрения", определяемой рассматриваемым метафорическим высказыванием. Я считаю, что выражения вроде "Смотри на... как если бы..." не представляют проблемы. Мы можем видеть вещи так, как если бы они были чем-то другим. В облаках мы можем видеть очертания животных, а гряде снега — очертания автомобиля и т.д. Философы уже уделали немало внимания этому вопросу (например Д. А. Шон).

Следует помнить, что метафорические высказывания всегда выполняют две функции: а) они описывают вещь, которую обозначает субъект высказывания, и б) определяют "точку зрения". Метафорическое высказывание "x есть T" (1) выполняет следующие две функции: оно выражает, что "x есть ± ø" (2), и "смотри на S, как если бы оно было T" (3). Здесь "x" обозначает существующую вещь, а "S" обозначает множество ее черт, не упоминаемых ни в (1), ни в (2). S является суммой всех тех свойств x, которые можно осмысленно сопоставить с тем, что мы обычно приписываем T или ассоциируем с T. Между x и S следует проводить различие, поскольку вещи следует отличать от (подмножества) их свойств. Теперь я определяю область высказывания (1) как всю совокупность положений дел в реальности, описываемых во всех тех высказываниях, которые имеют S в качестве своего субъекта. Поскольку S не входит составной частью ни в значение (1), ни в значение (2), выражение, формулирующее "точку зрения", побуждает нас образовывать высказывания,

которые нельзя вывести из описательного значения (1), т.е. из (2). Высказывания, описывающие отдельные жестокие действия Сталина, не входят составной частью в значение высказывания "Сталин был жесток". Таким образом, следуя тому, к чему побуждает нас выражение, формулирующее "точку зрения", мы получим больше информации о реальности, чем ее имеется в описательном содержании метафорического высказывания, поскольку из него мы не можем вывести высказывания о свойствах, приписываемых его субъекту. Отсюда мы можем сделать вывод, что область метафорического высказывания шире, чем значение его описательного содержания.

Во-первых, следует отметить, что не всю реальность, а только ее часть, можно определить как то, что входит в область метафорического высказывания. Например, история Британских правовых институтов с 1832 года не входит в область метафорического высказывания "Сталин был волком". Выражение, формулирующее "точку зрения", предполагает, что никакое осмысленное сравнение Сталина с волками не имеет отношения к истории Британского конституционного развития после 1832 года. Во-вторых, область метафорического высказывания может быть шире, чем значение его описательного содержания благодаря тому обстоятельству, что выражение, формулирующее "точку зрения", точно не *устанавливает*, что мы будем видеть, приняв эту точку зрения. Определение "точек зрения" отличается от описания реальности. Из-за обладания большей областью метафорические высказывания имеют решающее преимущество перед буквальными высказываниями. Точно так же, будучи описательным содержанием метафор, буквальны высказывания утверждают что-то о реальности, но поскольку они не определяют "точку зрения", они не имеют и обширной области, столь характерной для метафорических высказываний. Благодаря своей способности формулировать "точку зрения" метафорические высказывания могут придавать "облик" или "структуру" относительно большим частям реальности, но, разумеется, этот "облик" или "структуру" никогда не следует относить к самой реальности. Отдавать предпочтение определенному виду высказываний о реальности не значит утверждать что-то о природе реальности. Способы видения реальности не вклю-

чаются в строение самой реальности. И последнее: поскольку существенное различие между буквальными и метафорическими высказываниями заключается в способности последних структурировать входящий в их область фрагмент реальности, видимо, есть все основания утверждать, что наиболее удачными являются те метафорические высказывания, в которых различие между областью и описательным содержанием оказалось максимальным. При метафорическом использовании языка целью является максимизация области метафоры.

Вышеприведенные замечания относятся также и к нарративам. *Ns*, индивидуализируемая нарративными высказываниями, заставляет нас смотреть на отдельные фрагменты исторической реальности с определенной "точки зрения". Указание "смотри на *A*, как если бы оно было *T*" означает здесь, что нам следует формулировать те высказывания о прошлом, которые подсказывает нам *T* (т.е. *Ns*). Или формулируя более полно: нарративные высказывания в нарративе индивидуализируют "точку зрения", а все положения дел, описываемые теми высказываниями, которые могут быть по смыслу связаны с высказываниями в нарративе, вместе образуют область нарратива. Какие высказывания могут быть по смыслу связаны с высказываниями в нарративе, не должно заботить философа истории. Культура, обычаи и социально-психологические особенности людей, живущих в определенный исторический период, верные или неверные (социально-) научные воззрения, простой здравый смысл и, наконец, но не в последнюю очередь, общепринятые исторические представления — все это определяет, что будет ассоциироваться с содержащимися в нарративе высказываниями, и, таким образом, определяет область *Ns* в нарративе²⁴. Здесь мы вступаем во владения социологии и истории и оставляем позади себя сферу философии истории: философ истории должен быть просто знаком с понятием "область нарратива" и с его ролью в нарративной историографии. Поэтому необходимо подчеркнуть, что ни в коем случае не следует

²⁴ Анализ некоторых аспектов этой проблемы можно найти в: Miller, esp. pp. 203—205. См. также: G. Lakoff & M. Johnson, *Metaphor We Live By*, Chicago 1980; esp. chs V—VII.

отождествлять область нарратива с условиями, определяющими ее обширность. Подобным образом, политическая власть народа может быть обусловлена его экономическим потенциалом и военной мощью, но это не дает нам права приравнять политическую власть экономическому потенциалу и военной мощи. Этот довод также в сжатом и ясном виде показывает разницу между психологическим подходом к нарративу и тем подходом, который представлен в этой работе.

Индивидуализация нарративной "точки зрения" выражается в предпочтении особого рода высказываний об исторической реальности, но не в формулировании самих этих высказываний. "Точки зрения" не выражают, какой является реальность, но указывают те ее аспекты, которые следует учитывать или выделять для оптимального понимания прошлого. Что же касается двух *Nss* относительно христианской демократии (ср. сс. 305—306), то мы можем согласиться с тем, что первая побуждает нас рассматривать высказывания об обстоятельствах, при которых бельгийская католическая партия отказалась от протекционизма, тогда как вторая *Ns* склоняет к формулировке высказываний, описывающих общее распространение политики свободной торговли среди ряда нелиберальных партий во второй половине XIX века. В обоих случаях мы имеем дело с высказываниями иного рода, чем просто описывающими, как таковой, отказ бельгийской католической партии от протекционизма (т.е. имеем дело не с описательным содержанием тех *Nss*, которые были нами общих и приблизительных чертах охарактеризованы). Как раз это мы могли бы назвать приданием "облика" или "структуры" исторической реальности. Нарративное значение нарратива состоит в том, чтобы предлагать возможные высказывания, которые нам следует отбирать для структурирования наших представлений по определенным историческим темам. Поэтому для историка основная проблема заключается не в том, какие высказывания ему следует отобрать для своего нарратива, но в том, какой подход он должен предложить для отбора высказываний о некотором фрагменте прошлого. Высказывания, используемые историком для изложения такого принципа отбора, не совпадают с теми высказываниями, которые предлагается отобрать; они только определяют этот принцип отбора. Тонкий намек, меткая формули-

ровка или искусно сделанное отступление часто могут оказаться весьма пригодными для этого, хотя их описательное содержание может быть ничтожно малым. Как и в случае метафорических высказываний, область нарратива будет значительно шире того, что описывают нарративные высказывания. Она может быть шире, поскольку "точка зрения", индивидуализируемая в нарративе, не обеспечивает ни истинности, ни ложности высказываний, которые описывают положения дел, попадающих в область нарратива. Не истинность, а *продуктивность* является нашим критерием при определении относительных достоинств нарратива. Нарративное употребление языка не представляет собой объективный язык, а "точки зрения" не являются ни истинными, ни ложными. Нарратив не *утверждает*, что между событиями или их аспектами в прошлом существует взаимосвязь (такое утверждение могло бы быть истинным или ложным), но лишь *создает* взаимосвязь между областью нарратива и тем, о чем в нем явным образом говорится.

Следовательно, не только фрагменты исторической реальности, явно упоминаемые в высказываниях нарратива, создают область выражаемой им "точки зрения". Не является "точка зрения", представленная нарративом также и простой оценкой высказываний нарратива или того, что они выражают. Бессмысленно говорить о "точках зрения" на высказывания; нарративные "точки зрения" всегда представляют собой способы видения исторической *реальности*. "Точка зрения", представленная нарративом сопоставима с бельведером: вид, который открывается нашему взору после того, как мы поднялись по всем ступеням вверх, значительно шире самой лестницы на бельведер: сверху мы смотрим на весь ландшафт. Высказывания в нарративе можно рассматривать как средства достижения "точки зрения", аналогичные ступеням лестницы на бельведер, но увиденное нами, в конечном счете, охватывает значительно больше, чем выражают сами высказывания. Какими бы недостатками ни обладало историческое знание (а во многих отношениях когнитивный инструмент историка производит гораздо меньшее впечатление, чем имеющийся в распоряжении его коллеги из точных наук), мы имеем здесь наиболее внушительные средства из методологического оснащения историка.

Все это также объясняет, почему возможны осмысленные исторические дискуссии и какова их природа. Историческая дискуссия — в ее наиболее типичной форме — ведется не по поводу фактов относительно прошлого, а по поводу интерпретаций прошлого, т.е. по вопросу о том, с какой "точки зрения" следует рассматривать прошлое. Таким образом, вполне можно утверждать, что два исторических повествования расходятся друг с другом (т.е. предлагают разные "точки зрения") даже в отношении аспектов прошлого, которые нигде в них явным образом не упоминаются. Это может быть обусловлено тем, что области этих двух нарративов выходят за пределы того, что эксплицитно утверждается в их нарративных высказываниях. В результате их области могут значительно совпадать, так что расхождения между ними уже нельзя отрицать по причине отсутствия общего основания. Возможно, что ни одного высказывания из "Века Людовика XIV" Вольтера или противоречащего ему высказывания не встречается в работе Губера "Людовик XIV и двадцать миллионов французов", однако мы можем сказать, что эти два нарратива расходятся друг с другом, поскольку они предлагают разные "точки зрения" для совпадающих частей их областей.

Мы можем теперь ответить на вопрос, сформулированный в начале этой главы относительно природы тех правил, которые управляют нарративом. Сходство между метафорическими высказываниями и нарративами указывает на то, что историку следует максимизировать область своего нарратива. Наиболее характерным свойством нарратива является его способность индивидуализировать "точки зрения". С этих "точек зрения" получают "освещение" определенные фрагменты прошлого, охватываемые областью нарратива. Чем шире эта область, чем больше она выходит за рамки описательного значения нарративных высказываний, тем удачней является нарратив с нарративистских позиций. Поэтому разумно требовать от историка максимально расширять область своего нарратива. Очевидно, что это требование не может выступать в качестве правила создания или образования нарративов; скорее, это критерий, который позволяет оценить относительные достоинства нарративов. Он указывает историку, к какой цели ему следует стремиться, но не

говорит, как он может ее достичь. Поэтому он больше похож на приказ "постарайся выиграть" или "победи противника", чем на стратегический совет по поводу того, как побеждать в игре (ср. с. 278). Телеологические спекуляции сторонников историзма следует преобразовать в признание определенной цели историографической "игры".

Сформулированный подход к установлению относительных достоинств индивидуальных нарративов основывается на предположениях относительно природы нарратива и его сходства с метафорой. Поэтому более строгое доказательство приемлемости этого подхода еще впереди. Оно будет представлено в главе VIII, раздел (4). В надежде на то, что моя аргументация окажется убедительной, я осмелюсь сделать сейчас два замечания об этом подходе. Конечно, максимального увеличения области нарратива можно было бы достичь непрерывным добавлением к нему новых высказываний. Однако, когда я говорю, что следует максимально увеличить область нарратива, я подразумеваю, что необходимо максимизировать степень превышения нарративом описательного значения нарративных высказываний. В очень коротком нарративе вполне можно достичь большей максимизации области, чем в многословном. Кроме того, максимизировать область нарратива и стремиться к обобщениям — это не одно и то же. Обобщение нарратива означает обобщение описательного содержания нарративных высказываний, а это необязательно увеличивает степень, в какой область нарратива превышает его описательное содержание. Подобным образом, можно представить себе нарративы о весьма незначительных исторических явлениях, которые оказались более успешными в максимизации их области, нежели многие социально-научные исследования прошлого.

(5) *Заключение.* По существу, мы смогли показать метафорический характер нарратива, просто воспользовавшись тем фактом, что нарратив состоит из высказываний, выполняющих двойную функцию. Затем мы сформулировали критерий, позволяющий нам устанавливать относительные достоинства нарративов. Я подчеркиваю, что этот критерий является лишь интерпретацией с позиций нарративной логики того, что имеет в виду историк, когда говорит, что нарратив N_1 лучше нарратива N_2 . Исследование того, что *заставляет*

его это утверждать или *оправдывает* это его утверждение, не относится к компетенции нарративной логики. Только чисто историческая дискуссия имеет здесь решающее значение; никогда не следует смешивать области исследований философа истории и историка.

Мне хотелось бы завершить эту главу замечанием о том, что работа историка в некотором смысле сходна с созданием метафизических систем¹⁵. Философ, утверждающий, что "реальность есть вода" (Фалес) или "реальность есть идея" (Гегель) и т.д., подобно историку, защищает некоторую "точку зрения", с которой следует рассматривать реальность. В этом плане я могу согласиться с утверждением Кроче, что деятельность историка и деятельность философа весьма сходны¹⁶. И здесь, наконец, мы имеем еще один довод против слепой приверженности спекулятивной философии истории или против той идеи, что признание спекулятивной философии является необходимой предпосылкой самой возможности нарративной историографии (Х. Фейн и Х. Уайт). Ибо разные формы спекулятивной философии сами представляют собой метафизические системы. Задача же историка, как мы видели, состоит в том, чтобы *создавать* подобные воззрения о прошлом, а не *перенимать* их. Если историк довольствуется исследованием в рамках гегелевской или марксистской схемы, он похож на писателя, который считает, что хороший роман должен содержать максимальное количество клише или избитых фраз. Если историк с радостью пишет историю, скажем, исключительно с марксистской "точки зрения", он не может не закончить тем, с чего начал. Я не сомневаюсь, что иногда надлежащим образом проведенное историческое исследование дает результаты, гармонично согласующиеся со спекулятивными интерпретациями истории, ведь такие уче-

¹⁵ Это сходство уже обсуждал Уолш. См.: W.H. Walsh, *Metaphysics*, London 1963; pp. 172 ff.

¹⁶ В. Кроче, *History. Its Theory and Practice*, New York 1960; p. 61: "но когда хроника сводится к свойственной ей практической и мнемонической функции, а история поднимается до уровня знания о вечном настоящем, то она раскрывает себя как нечто единое с философией, которая в некоторой степени представляет собой ни что иное, как мысль о вечном настоящем".

ные, как Маркс и тем более Гегель²⁷, обладали необыкновенным талантом историка. Однако отсюда не следует делать вывода, что историк всегда должен искать вдохновение в спекулятивной философии истории. Это было бы равносильно совету использовать неисправные часы только потому, что каждые двадцать четыре часа они дважды показывают точное время.

²⁷ Многие философы истории, справедливо критиковавшие гегелевскую спекулятивную философию истории, проявляли немного интереса к тому, как Гегель применял свою философию истории к истории как таковой. Однако гегелевская характеристика индийской и египетской культуры, магометанства и его удивительный "tour de force" в отношении борьбы между Сократом и афинским государством (Hegel (2), pp. 618—647), безусловно, принадлежат к лучшим образцам нарративной историографии. Даже сама гегелевская спекулятивная философия может оказаться для нас весьма полезной. Согласно этой спекулятивной философии разум разворачивает себя в ходе человеческой истории. Завершает исторический процесс Абсолютный дух, т.е. осознание того, как универсальное воплощает себя в индивидуальном ("das konkrete Universelle"). Если перевести это предположение о ходе истории как таковой в теорию написания истории (что мы уже проделали с историзмом), оно будет равнозначно тезису о том, что следует универсализировать область индивидуальных *Nss.* И, фактически, сам Гегель истолковал свою философию истории именно в этом ключе. Ибо он выделяет три стадии исторического познания, которые достигают своего апогея в "философской истории" (Hegel (1); pp. 3 ff.); эти три стадии соответствуют трем этапам самоосуществления Духа в ходе человеческой истории.

Глава VIII. Объяснение, объективность в истории и нарративные субстанции

Возможно, стоит попытаться разрешить ряд традиционных проблем философии истории, исходя из достигнутого в предшествующих главах понимания обсуждаемого предмета. Мы займемся историческим объяснением и объективностью, поскольку современная философия истории (как континентальная, так и англосаксонская) обнаруживает сильное пристрастие к этим двум темам. Кроме того, обсуждая объективность истории, я надеюсь показать, что требование максимального расширения области нарратива сверх его описательного содержания выражает наилучший критерий оценки относительных достоинств отдельных нарративов.

(1) *Некоторые общие замечания по поводу объяснения.* Когда мы объясняем? Объяснения можно запрашивать и давать только тогда, когда вещи могли бы быть иными, чем они действительно являются или были. Утверждение о том, что вещи могли бы быть иными, чем они действительно являются или были, может иметь два значения. Во-первых, могли бы быть другими все регулярности, открытые нами до сего момента в объективной реальности. Это тоже неоднозначное высказывание. Прежде всего, оно может означать, что мы могли бы "охватить" наш действительный мир регулярностями и физическими законами, отличающимися от тех, в чью обоснованность мы сейчас продолжаем верить. Мы вполне можем представить себе подобную ситуацию, — по сути, она даже является условием прогресса в научных исследованиях. Наука движется вперед только тогда, когда мы готовы (если это покажется оправданным) "охватить" реальность законами, отличными от тех, которые мы признавали до настоящего времени. Таким образом, признание иной совокупности научных законов ни в коей мере не предполагает скептицизма в отношении возможности объяснять реальность. Другое

возможное значение рассматриваемого двусмысленного высказывания состоит в том, что сама природа демонстрирует иной, аномальный, вид поведения. Если такой аномальный мир имеет определенный порядок, подобный нашему, то нет никаких оснований сомневаться в том, что, в конце концов, мы раскроем его. Следовательно, в таком мире можно было бы объяснить и конкретные положения дел.

Но могли бы мы представить себе неупорядоченный универсум? Я имею в виду не универсум, законы которого нам неизвестны ("идеалистическая" интерпретация понятия "неупорядоченный универсум"), а универсум, который сам лишен упорядоченности. Несомненно, мы могли бы создать идею такого универсума, представив себе универсум, в котором в каждый следующий момент времени действует другая совокупность физических законов; какая именно — решает случай (Бог бросает кости). Можно задаться вопросом: установят ли когда-либо ученые из "упорядоченного" универсума то, что происходит в этом удивительном мире? Вероятно, они придут лишь к выводу, что научно изучать этот мир крайне трудно. Но основное возражение состоит в том, что предложенное представление об этом неупорядоченном универсуме является совершенно неприемлемым. По всей видимости, образцом ему служит парламентское законодательство. Однако физическая реальность не "управляется" физическими законами; также неясно, каким мог бы быть этот субстрат, который кажется независимым от указанных совокупностей физических законов, но может "управляться" каждой из них по отдельности. Очевидно, здесь предполагается, что природе можно сравнивать с нацией, управляемой с помощью постоянно меняющихся законов.

Я признаю, что моя модель неупорядоченного универсума очень наивна. Однако физические законы являются синтетическими высказываниями, поэтому они могли бы быть иными. Таким образом, идея неупорядоченного универсума не кажется мне противоречивой, хотя для осуществления этой идеи потребуется, вероятно, значительно больше изощренности, чем я здесь проявил. В любом случае, какую бы модель неупорядоченного универсума мы ни взяли, я утверждаю лишь, что в таком универсуме нельзя будет объяснить существование определенных положений дел. Отсюда мы

можем заключить, что объяснения могут быть даны только в мирах, которые сами демонстрируют определенный минимальный порядок (повторяю, термин "порядок" здесь не следует интерпретировать в идеалистическом ключе).

К счастью, этот вид неупорядоченного универсума не имеет ничего общего с миром, который в настоящее время является объектом научных исследований. В природе и в опыте повседневной жизни мы открыли большое количество вполне надежных общих правил, которые постоянно служат людям полезным и даже незаменимым руководством к действию. Следовательно, мы вполне можем говорить об объяснимости положений дел в нашем мире (например, в соответствии с моделью охватывающих законов; напомним, что я говорил о неприемлемости этой модели только для *narrative*). Итак, как можно было бы истолковать фразу "Вещи могли бы быть другими" с точки зрения нашего собственного мира? Найти ответ на этот вопрос очень важно, поскольку, как было указано на с. 319, объяснения можно давать только в том случае, если вещи могли бы быть иными, чем им действительно случилось быть. Нетрудно представить себе мир, который очень отличается от нашего действительного мира, хотя в этом мире действуют те же самые общие законы и оказываются полезными те же самые общие понятия. По сути, эти неизменные законы и общие понятия даже необходимы, чтобы представить себе мир, отличный от нашего. Эти общие понятия и законы в действительности определяют, какие другие преобразования элементов нашего мира можно вообразить. Вся совокупность этих преобразований определяет всю совокупность всех возможных миров, к которым применимы законы и общие понятия, имеющие силу для нашего действительного мира. Поскольку наш мир является одним из этого общего множества миров, мы можем осмысленно спрашивать об объяснении положений дел, имеющих место в нашем мире (наш мир мог бы быть иным, т.е. он мог бы быть каким-то другим возможным миром). Таким образом, мы приходим к странному выводу, что те же самые законы и общие понятия, которые помогают нам объяснять наш мир, также ответственны за то, что мы иногда испытываем затруднения в нашем мире и ищем объяснений.

Благодаря общему характеру законов и понятий мы можем создать идею других возможных миров. В связи с этим я считаю нужным немного сузить утверждение, сделанное в предыдущем абзаце. Безусловно, для объяснения нашего мира обязательно нужны законы. Тем не менее, для того чтобы мы сумели представить себе другие возможные миры, уже достаточно одних общих понятий, которыми мы пользуемся, каково бы ни было их происхождение. Более того, в наиболее удачных объяснениях, т.е. объяснениях, основанных на результатах наиболее точных теоретических наук, всегда используются общие понятия, значение которых определяется содержащими их общими высказываниями, выражающими законы. Поэтому мы можем сказать, что для запрашивания объяснений нам следует иметь в своем распоряжении общие понятия. Без общих понятий мы можем только машинально принимать мир таким, каков он есть. Мир (даже если это наш собственный мир), о котором можно говорить только при помощи имен собственных, отбросив все общие понятия, т.е. все возможные предикаты, из всех миров был бы в наибольшей степени связан необходимостью: мы не смогли бы даже формулировать и понимать вопросы относительно этого мира. В нем все должно быть так, как оно есть.

Нетрудно понять, каким должен был бы быть язык для такого мира. Мы можем представить себе, что язык для этого мира создан по образцу существующих языков, но содержит только имена для формулируемых нами высказываний. Пусть высказывание "Р есть красное во время t_1 " называется "а", высказывание "Q есть квадратное во время t_2 " называется "b", высказывание "Р есть круглое во время t_1 " называется "с" и т.д. Люди, которым известно все об истории нашего мира, могли бы вести осмысленный разговор, только упоминая эти имена. Разумеется, их память должна была бы очень хорошей, чтобы удерживать все, что обозначают эти имена. По сути, эти люди должны были бы быть богоподобными созданиями. Пользуясь данным языком, они были бы убеждены в необходимости и неизбежности всего, что произошло в их мире, хотя для них было бы невозможно выразить это убеждение. Как бы то ни было, мы знаем, что именно так они воспринимают реальность. Мы можем также утверждать, что

они будут солипсистами из-за отсутствия в их мире случайностей (см. сс. 263—264).

Боюсь, что эти богоподобные создания вскоре окажутся в затруднительном положении. Во-первых, встанет проблема, как можно было бы научиться их языку. Например, чтобы отличить высказывание "а" ("Р есть красное во время t_1 ") от высказывания "с" ("Р есть круглое во время t_1 "), представляется совершенно необходимым знание общих понятий. Но поскольку говорящим на этом языке известно, на что указывают имена "а" и "с", им уже не нужно знание общих понятий. Для знания референции имени не требуется общего знания. Знание различия между референтами имен "а" и "с" не предполагает *общего* знания: всеобщность, подразумеваемая выражаясь на лейбницеvский манер в "модификациях" "Р-краснота" и "Р-округлость", логически зависит от употребления этих имен. Можно представить себе, что однажды один из этих богоподобных носителей языка совершит ошеломляющее открытие: "Р-краснота", "Q-краснота" и "R-краснота" имеют нечто общее, — и тогда вся картина мира разрушится. Следовательно, если мы вдобавок предположим, что говорящие на этом языке должны были обучиться ему обычным способом, т.е. с помощью общих понятий и т.п., а затем они неожиданно забыли, как приобрели свое знание о референции имен, то все, видимо, вновь окажется в полном порядке.

Есть и другая проблема. Я сказал, что "а", "b", "с" и т.д. являются именами *высказываний*. Весьма вероятно, что наши носители языка сочли бы это утверждение относительно их языка и мира довольно нелепым. Они отказались бы видеть в высказываниях неких логических монстров и стали бы утверждать, что их имена отсылают непосредственно к реальности, к ее "Р-красноте", "Р-округлости" и т.д. С их точки зрения, имена обозначали бы вещи в реальности, а "вещи" были бы для них тем, чем аспекты вещей являются для нас. Но можно ли действительно утверждать, что "а", "b", "с" и т.д. обозначают эти необычные, по общему признанию, вещи? И, в частности, можем ли мы быть уверены в том, что не возникнет никаких проблем в отношении референциальной способности "а", "b", "с" и т.д.? Например, если мы устраним высказывания из нашего анализа, можем ли мы быть твердо убежденными в том, что вещь обладает некоторым аспектом только

“один раз”? Почему не два раза или не тысячу раз? Это потребовало бы значительно больше имен, и было бы невозможно отличить то, что обозначает каждое из них. Кроме того, мы должны понимать, что имена “*a*”, “*b*”, “*c*” и т.д. для наших носителей языка не могут иметь никакого значения (если допустить, что в определенных контекстах имена все-таки имеют значение). Ибо единственное значение, которое могли бы иметь эти имена, т.е. значение указываемых ими высказываний, было бы непостижимым для наших носителей языка. Поэтому они могут иметь множество имен для одного и того же положения дел или аспекта вещи, совершенно этого не осознавая, но это составляет серьезную угрозу для референциальной способности имен, которыми они пользуются. Более важно то, что говорящие на этом языке никогда не могли бы быть уверены в том, что они используют нужное имя для нужной “вещи”. Так, если “*a*” указывает на “*P*-красноту во время t_1 ”, а “*c*” — на “*P*-округлость во время t_1 ”, то откуда они знали бы, что эти имена не были употреблены неправильно, что, например, на “*P*-округлость во время t_1 ” не ссылаются с помощью “*a*”, исходя из допущения, что оба имени действительно применяются к одному или нескольким аспектам реальности? Они должны были бы полагаться только на свою память. Когда же память является единственным критерием в споре о том, что обозначают имена, мы бы сочли, что их язык, вопреки их собственным представлениям, отсылает не к реальности, но к состояниям их сознания. Воспоминания, а не сама реальность — вот что действительно ставится на карту в таких спорах. Воспоминания, возникающие у наших носителей языка, когда они слышат имя, а не реальность сама по себе, обозначается этим именем. Конечно, принимая по внимание доводы из главы VI, раздел (3), где было показано, что высказывания как таковые не отсылают к реальности, это уже не может вызывать у нас удивления.

(2) *Историческое объяснение.* Аномальность этого гипотетического языка, состоящего только из имен собственных, исчезнет, как только на место говорящих на нем богоподобных созданий мы поставим обычных историков. Коли на то пошло, уподобление историков богам — это не просто лесть. Лейбниц приписывал Богу обязанность (и способность) вычислять, какая последовательность осуществленных положе-

ний дел приведет к наиболее гармоничному универсуму. Точно так же и историк должен вычислять, какая последовательность высказываний о прошлом приведет к наиболее гармоничному нарративу. Действительно, когда историк пишет историю, его можно считать своего рода богом, хотя, конечно же, лейбницевский Бог имеет дело с действительными положениями дел, в то время как историк работает только с их описаниями.

Это отличие подсказывает также, как можно решить проблему, которая в предыдущем разделе привела нас к такому печальному заключению. Как мы видели, наши богоподобные создания могли бы вести осмысленные дискуссии: и хотя каждому из них были известны все возможные высказывания о прошлом (или, во всяком случае, огромное количество таких высказываний), их дискуссии необязательно были бы лишь пустым перечислением общих для воспоминаний. Мы охарактеризовали нарративы как множества высказываний о прошлом, поэтому наши богоподобные создания вполне могли бы вести историческую дискуссию, подобную тем, в которых участвуют историки. Трудность, однако, состояла бы в том, что из-за отсутствия референциальной способности у используемых ими имен, их разговор уже не был бы разговором о прошлом. Они обсуждали бы не прошлое, а свои воспоминания.

Затруднение, с которым мы столкнулись в конце предыдущего раздела, было вызвано тем, что со сцены были удалены высказывания. В нарративной историографии такой опасности не возникает, ибо в нарративе высказывания выполняют двойную функцию: 1) они индивидуализируют *Ns* (это единственная функция нарративных высказываний, оставшаяся в языке богоподобных созданий) и 2) описывают реальность. Таким образом, если принять во внимание описательные аспекты нарратива, то он действительно отсылает к реальности (благодаря субъектам в его высказываниях), и двусмысленности, упомянутые в конце предыдущего раздела, не могут возникнуть в случае нарратива.

Но давайте теперь рассмотрим нарратив в нарративистской перспективе. В своем особом смысле нарратив является попыткой объяснить прошлое. Однако явления объясняются не как таковые, а всегда в том описании, которое им было

дано. Это означает, что когда мы спрашиваем об объяснительной силе нарратива, мы, по сути, спрашиваем, почему нам следует принять нарративное описание прошлого. Является ли логическая форма нарративного объяснения такой, что мы не можем не принять объяснения, имеющего эту форму? Подобным образом мы принимаем объяснения, даваемые в соответствии с моделью охватывающих законов явлениям, открытым в ходе исторических исследований, поскольку в таких объяснениях экспланандум логически вытекает из эксплананса. Царствующая на языковом уровне необходимость гарантирует объяснение явлений *реальности*.

Если принять это во внимание, наш поиск объяснительной силы нарратива сведется к вопросу о том, царствует ли необходимость в нарративистском универсуме. Тогда, если бы *Ns* (лингвистический прием, используемый нами для объяснения фрагмента прошлого) содержала какое-то другое множество высказываний, а не то, которое она действительно содержит, оставаясь, в сущности, той же самой *Ns*, у нас не было бы уверенности в объяснительной силе этой *Ns*. Разные множества высказываний соответствовали бы разным областям нарратива и, следовательно, разным аспектам прошлого. Но если *Ns* объясняет разное прошлое, она не объясняет никакого прошлого. Поэтому, если *Nss* должны объяснять прошлое, то не допускается никакой неопределенности в отношении того, каковы свойства *Ns* (т.е. какие высказывания она содержит). *Nss* должны быть тем, чем они являются. Таким образом, вопрос об объяснительной силе *Nss* равносителен вопросу о том, царствует ли в нарративистском мире необходимость, т.е. не могли бы *Nss* быть иными, чем они являются в действительности.

Поэтому давайте рассмотрим вопрос о том, не могли бы свойства *Ns* быть иными, чем они действительно являются. Несомненно, применительно к "вещам", отличным от *Nss*, на этот вопрос, как правило, можно ответить утвердительно. Однако (и в этом состоит ключевой момент) применительно к *Nss* на такой вопрос *никогда* нельзя ответить утвердительно. Какую бы *Ns* мы ни выбрали, ни одна не смогла бы быть иной, не переставая быть той *Ns*, какой она является. *Nss* полностью и однозначно индивидуализируются *всеми* своими свойствами (т.е. всеми высказываниями, которые они со-

держат); как только опускается или добавляется одно единственное высказывание, мы уже имеем дело с другой *Ns*. Следовательно, мы не можем осмысленно спрашивать, могли бы *Nss* быть другими (такие вопросы заставили бы нас рассматривать самопротиворечивые высказывания о *Nss*); *Nss* с необходимостью являются такими, какие они есть. Итак, когда прошлое (т.е. *не Nss*) описывается с помощью (нарративных высказываний) *Nss*, можно сказать, что *прошлое* получает объяснение, поскольку *Nss*, представляющие такое объяснение, не могли бы быть другими. Экспанандум (т.е. фрагмент прошлого) получает объяснение благодаря тому, что определяет область нарратива (т.е. с помощью высказываний, содержащихся в *Ns*). Необходимость же, царствующая в нарративистском универсуме, вынуждает нас принимать эти нарративные описания прошлого точно так же, как необходимость, связывающая эксплананс и экспланандум, вынуждает нас принимать объяснения, построенные согласно модели охватывающих законов. То, что получает объяснение (и могло бы быть другим), конечно же, не следует смешивать с логической структурой объяснения (которая не могла бы быть другой): вещи в прошлом могли бы быть другими, но это не так в отношении *Nss*, которые их объясняют. Колоссальная сложность даже простого нарратива как приема объяснения по сравнению с объяснением согласно модели охватывающих законов не должна заслонять от нас этого факта. И, наконец, отметим, что нарративные объяснения не служат основой для предсказания.

Конечно, мы могли бы декларировать, что только объяснения в соответствии с моделью охватывающих законов следует называть "объяснениями", но это, пожалуй, был бы очень ограниченный подход. Ведь исторические нарративы объясняют прошлое тем способом, который в течение длительного времени устраивал многие поколения историков и широкую публику. Кроме того, как было показано в предыдущих абзацах, логика вынуждает нас принимать (исторические) объяснения, сформулированные с помощью *Nss*. И если мы готовы признать историческое нарративное объяснение корректным типом объяснения, отсюда следует вывод, что прошлое можно объяснять, не прибегая явным или неявным образом к общим высказываниям, выражающим законы.

Хорошо известно, что споры вокруг модели охватывающих законов всегда заходили в тупик из-за очевидного отсутствия общих законов в исторических объяснениях. Несмотря на множество изобретательных предложений, попытки приблизить модель охватывающих законов к историографической практике всегда терпели неудачу. Теперь мы знаем, что вышло *échec** модели охватывающих законов: для исторического объяснения может оказаться достаточно множества единичных высказываний. Теперь мы также понимаем и более глубокую причину затруднения, в котором оказался сторонник модели охватывающих законов: для него "объяснением" могло быть только объяснение наличия или отсутствия определенных положений дел в реальности. Однако историк может объяснять прошлое и по-другому, а именно "видя его в свете" определенной *Ns*. На этом уровне сами нарративы являются объяснением. Повторяю, я не отрицаю ценности модели охватывающих законов на уровне исторического исследования, но как только мы достигаем уровня написания нарративной истории, в силу вступает другая модель объяснения, которая не требует общих законов.

Наконец, не следует забывать о различии между корректной логической *формой* нарративистского объяснения и ее *осуществлением* в виде конкретных нарративных объяснений. Все приемлемые нарративистские объяснения должны соответствовать только что изложенной логической модели, и они согласуются с ней, когда *Ns* индивидуализируется в соответствующем нарративе. Но это ничего не значит, если речь идет об их относительных достоинствах в глазах историков. Хотя два нарратива могут удовлетворять указанным выше требованиям, историк, в силу особых историографических соображений, может предпочесть один нарратив другому. Подобное утверждение верно также и для модели охватывающих законов. Его можно проиллюстрировать с помощью следующего освященного временем примера. Спрашивается, почему погибли цветы в саду. Можно представить себе такие объяснения: 1) почва была слишком сухой, 2) было слишком мало дождей, 3) садовник забывал поливать цветы. Каждое из этих трех объяснений безупречно, с точки зрения модели

* Неудача (франц.). — Прим. перев.

охватывающих законов; тем не менее, скорее всего, именно третье объяснение будет представлять для нас интерес. То, что объяснения должны быть сформулированы в соответствии с некоторой моделью объяснения, является необходимым, но не достаточным условием для того, чтобы они были приемлемыми. Как модель охватывающих законов, так и обрисованная выше нарративистская модель объяснения имеют отношение к сфере логики или философии науки, но не к действительной научной или историографической практике. Таким образом, нашу нарративистскую модель объяснения не следует рассматривать как инструмент, позволяющий определить относительные достоинства отдельных историографических объяснений. Развитие историографии вызывается не стремлением как можно ближе подойти к нарративистской модели объяснения в ее чистом виде. Доводы, убеждающие историка предпочесть одно историческое, нарративистское объяснение прошлого другому, не имеют никакого отношения к утверждению, сделанному в предыдущем разделе относительно надлежащей логической формы нарративистских объяснений. Если мы смешиваем деятельность философа с деятельностью историка, мы получаем полную неразбериху. Философские аргументы никогда не могут иметь решающего значения в дискуссиях историков.

(3) *Несколько общих замечаний по поводу субъективности и объективности.* Об однозначных буквальных высказываниях можно утверждать, что они являются либо истинными либо ложными. В главе III мы отвергли предположение об "истинности" или "ложности" нарративов. Взамен терминов "истинность" и "ложность" я предлагаю термины "объективное" и "субъективное" в качестве признаков относительной приемлемости или адекватности нарративов; эти термины можно также использовать для оценки того вида высказываний, который упоминается на сс. 253—255. Как в обыденной, так и философской речи эти термины уже имеют многие из тех смысловых значений (коннотаций), которые я хочу придать им в этой связи. И все-таки я испытываю сомнения, используя понятия "объективное" и "субъективное", поскольку, как правило, они ассоциируются исключительно с дискуссиями о роли ценностей в истории.

По моему мнению, необходимо проводить различие между двумя контекстами: "... есть субъективное" (а) и "... испытывает влияние моральных ценностей" (b). Необходимость этого различия явствует уже из того факта, что называть "субъективными" (а) можно *тексты*, а не *людей* (т.е. не историков), тогда как на *людей*, а не на *тексты* могут влиять ценности (b). Правда, когда на историка влияют ценности (b), его исторические сочинения могут быть субъективными (а), однако, это не отменяет необходимости тщательного различения этих двух контекстов. Кроме того, исторические сочинения могут быть "субъективными" и по ряду других причин, а не только из-за влияния ценностей на их автора. В самом деле, эстетические пристрастия, стилистические особенности, недостаток воображения или понимания определенного предмета, или просто полная некомпетентность также могут сделать произведения историка "субъективными". Коли на то пошло, было бы странно, если бы термин "субъективное" всегда связывали исключительно с этическими или политическими ценностями.

В любом случае термины "субъективное" и "объективное" относятся к сфере нарратива: они говорят об относительной приемлемости или адекватности нарратива даже в их обычном употреблении. Когда мы говорим о "влиянии ценностей, эстетических пристрастий, определенных интересов" и т.п., мы стремимся найти некоторое психологическое объяснение относительным достоинствам и недостаткам конкретного нарратива. И хотя сказанное в контексте (а) обычно имеет своего коррелята в контексте (b), это не должно заслонять от нас различия между этими двумя контекстами. Даже если бы содержание нарратива можно было полностью объяснить, сославшись на психологические, социологические, этические и эстетические особенности его автора, это различие не перестало бы существовать. Ибо "объективный" нарратив следует определять в когнитивных выражениях, а не с точки зрения психологии, социологии или эстетики. Мы можем заключить, что даже при обычном словоупотреблении термин "объективное" применительно к нарративу выражает когнитивную адекватность, а не отсылает к личной биографии историка. Поэтому мы не идем вразрез с уже имеющимися коннотациями терминов "субъективное" и "объективное", когда ис-

пользуем эти термины для указания относительных достоинств и недостатков нарративов как *нарративов*.

(4) *Субъективность и объективность в истории*. Когда мы используем термины "субъективное" и "объективное", мы можем иметь в виду две вещи: (1) сам нарратив и (2) соответствие между нарративом и исторической реальностью. Видимо, необходимость пункта (1) может вызывать сомнения. Разве мы могли бы квалифицировать некоторый произвольный список из истинных высказываний о прошлом как "хаотичный, но объективный"? Другими словами, на первый взгляд кажется, что для объективности нарратива достаточно, чтобы его высказывания соответствовали действительным положениям дел в исторической реальности. Следовательно, никакие дополнительные требования, связанные с пунктом (1), не представляются необходимыми. И все же я не думаю, что эта идея будет встречена всеми с пониманием. Можно было бы возразить, что данный произвольный список высказываний является субъективным, поскольку при отборе включаемых в него высказываний не учитывалась историческая реальность. Поэтому рассматриваемый список уже расходится с пунктом (2), который вначале был признан достаточным условием объективности. Таким образом, когда мы обсуждаем, что означает выражение "объективный нарратив", нам приходится принимать во внимание также и сам нарратив. Мы не можем ограничиться простым рассмотрением соответствия между отдельными высказываниями нарратива и теми фрагментами исторической реальности, для которых они служат описаниями.

Однако можно было бы утверждать, что я истолковал пункт (2) весьма специфическим образом. Пункт (2), говорящий о необходимости соответствия между нарративом и исторической реальностью, был истолкован в конце предыдущего абзаца как требование соответствия между *отдельными* высказываниями-нарративами и исторической реальностью, хотя формулировка пункта (2) не дает оснований для такого истолкования. Другое возможное истолкование состоит в том, что должно существовать соответствие между нарративом, *взятым как нарративное целое*, и исторической реальностью. В таком случае "объективный" нарратив следует определить как такой, который *весь целиком* соответству-

ет исторической реальности. Полагаю, что большинство историков и философов истории вполне удовлетворит это определение "объективного" нарратива. Конечно, они могут расходиться в отношении деталей, но в целом это определение будет принято большинством из них.

Однако, принимая во внимание претензии нарративного реализма, совсем нетрудно увидеть ошибку в предложенном выше определении. Идея о том, что историк должен осуществлять нарративный "перевод" того, каким действительно является прошлое, составляет ошибочное допущение, общее для этого и подобного ему подходов. Ибо не существует правил перевода, аккуратное применение которых может обеспечить объективность нарратива. Прошлое просто не отражается в нарративе, поэтому выражение "соответствие между нарративом, взятым как нарративное целое, и исторической реальностью" лишено смысла. В этой связи можно вспомнить о наших доводах против "истинности" и "ложности" нарратива, а также об "отсутствии устойчивой связи" между описаниями прошлого и самим прошлым (с. 107 и далее). Вышеприведенные соображения и, в особенности, наша неизменная оппозиция нарративному реализму, возможно, доказывают, что понятие "объективность нарратива" не имеет никакого приемлемого содержания, если учитывается только пункт (2). Поэтому для того, чтобы придать смысл понятию "объективность нарратива", мы должны теперь сосредоточить свое внимание на первом пункте.

Следуя решению, предложенному Купперманом в сходном контексте¹, мы могли бы истолковать понятие "объективный нарратив" двояко: 1) в абсолютном смысле (т.е. существует один и только один объективный нарратив по определенной исторической теме, и этот объективный нарратив может служить критерием при установлении объективности других нарративов по той же самой исторической теме), и 2) в относительном смысле (не существует объективного нарратива, данного нам в качестве абсолютного критерия: по любой исторической теме мы располагаем несколькими нарративами и есть надежда, что, сравнивая их между собой,

¹ J.J. Kupperman, Precision in History, *Mind* LXXXIV (1975) 372—390; см. особенно pp. 377 ff.

мы выясним, какой из них является наиболее объективным). Рассмотрим вначале понятие "объективный нарратив", истолкованное в абсолютном смысле. На первый взгляд, идею существования абсолютно объективного нарратива вполне можно было бы критиковать, используя те же самые аргументы, с помощью которых мы оспаривали нарративный реализм и утверждение о том, что пункт (2) позволяет придать смысл понятию "объективность нарратива". Но боюсь, что нам не удастся так легко выйти из положения. Мы всегда утверждали, что никакие нарративы не возникают благодаря применению правил перевода, так что даже объективный нарратив в абсолютном смысле (допуская, что такой нарратив существует) нельзя считать созданным с помощью этих правил перевода. Следовательно, обращение к нашей критике правил перевода было бы бесполезным в этой связи.

Мы можем истолковать понятие "объективный нарратив" в абсолютном смысле двумя способами. Либо существуют правила, обеспечивающие построение объективного нарратива в абсолютном смысле, либо существуют правила или критерии, позволяющие нам выделять этот нарратив среди других нарративов. Первое истолкование уже было отвергнуто в предыдущей главе, где было показано, что общими правилами никогда не создашь *Nss*, предлагаемых в нарративе. Что касается второго истолкования, то мы должны понимать, что количество нарративов по той или иной исторической теме может быть бесконечным. Поэтому всегда есть логическая возможность вслед за определенным нарративом, который мы вначале сочли объективным в абсолютном смысле, предложить другой нарратив, еще лучше соответствующий критериям объективного нарратива в абсолютном смысле. Мы никогда не сможем быть уверены в том, что какой-то конкретный нарратив действительно является самым объективным в абсолютном смысле по некоторой теме. Это можно расценивать как сокрушительный довод против попытки дать приемлемое определение понятию "идеальный нарратив".

В результате мы остаемся со вторым истолкованием понятия "объективный нарратив": если в нашем распоряжении имеется несколько нарративов (т.е. *Nss*), мы можем выбрать наиболее объективный нарратив из этого множества. Здесь мы не столкнемся с трудностями, возникшими при обсужде-

нии первого истолкования этого понятия. В самом деле, я убежден, что этот не очень впечатляющий критерий объективности нарративов является наиболее приемлемым. В таком случае встает вопрос о том, как мы можем установить относительную объективность нарративов. Иначе говоря, как мы выбираем наиболее объективный нарратив из множества различающихся нарративов по некоторой исторической теме? Поскольку в своем рассмотрении объективности нарратива мы ограничились пунктом (1), мы должны понимать этот вопрос следующим образом: какие критерии дают нам возможность выбрать наиболее объективный нарратив из множества конкурирующих нарративов по некоторой исторической теме, когда мы рассматриваем эти нарративы исключительно в нарративистской перспективе, т.е. не принимая во внимание в этом контексте их "соответствие исторической реальности" (второй пункт)?

И вновь нам приходится вспомнить о том, что нарративные высказывания в нарративе выполняют две функции: описывают историческую реальность и индивидуализируют "точку зрения" (или *Ns*). Ясно, что "соответствие исторической реальности" обеспечивается первой функцией. Таким образом, наша аргументация в предыдущих абзацах показывает, что "объективность нарратива" должна быть связана с выполняемой нарративными высказываниями функцией "точки зрения". Следует отметить, что когда бы мы ни сравнивали нарративы, сравнению подвергаются не представленные в них "точки зрения", а их *области*. В отличие от областей, нарративные "точки зрения" не имеют общей основы, благодаря которой их можно было бы сравнивать. Мы можем осмысленно сравнивать два нарратива о Людовике XIV (например написанные Губертом и Вольтером) даже тогда, когда представленные в них точки зрения (т.е. соответствующие *Nss*, какими они индивидуализированы с помощью высказываний в нарративе) не имеют ничего общего. Подобным же образом, когда говорят, что кому-то открывается лучший вид на ландшафт из положения P_1 , нежели из положения P_2 , подтверждением этому утверждению служат не сами эти положения, а то, что из них видно. В результате, если мы считаем задачей историка предоставление наиболее полного описания (фрагмента) прошлого, нам следует признать наилучшим,

наиболее адекватным или наиболее объективным среди конкурирующих нарративов по некоторой исторической теме тот, область которого максимально превосходит его описательное содержание (при прочих равных условиях). Прежде чем рассматривать критерий максимизации области нарратива, мне хотелось бы сделать несколько замечаний, проясняющих мой замысел.

В историографической практике максимизацию области нарратива можно достичь следующим образом. Нарративы — это способы видения прошлого. Поэтому общее для множества нарративов, касающихся приблизительно одной и той же темы, — я буду называть его "конвенциональным" компонентом — не входит в то, как каждый отдельный нарратив из этого множества предлагает видеть прошлое. Только благодаря существованию различий можно говорить о способах видения прошлого. Стало быть, мы можем быть уверены в том, что предлагаемая в нарративе "точка зрения" определяется лишь теми частями нарратива, в которых он отличается от других нарративов. По понятным причинам то же самое верно и в отношении области нарратива. Таким образом, можно сказать, что сокращение конвенционального компонента в нарративе равнозначно расширению его области. Те нарративные компоненты, которые постоянно повторяются в нарративах по некоторой исторической теме, в конечном итоге, создают условия для интенциональных типизаций. Как следствие, нарративы с конвенциональным компонентом разделяются на неисторическую часть, в которой осуществляется референция к одной или нескольким индивидуальным вещам определенного типа, и на подлинно нарративную часть, воплощающую в себе область нарратива. Наиболее объективный нарратив, т.е. обладающий наиболее широкой областью, является наименее конвенциональным, наиболее оригинальным нарративом. Таким образом, важнейшая обязанность историка — быть оригинальным и как можно строже воздерживаться от повторения того, что было сказано его предшественниками в изучении какой-то конкретной темы. Требование к историку максимально расширить область своего нарратива можно было бы истолковать как призыв к "интегральной истории", т.е. к такой историографии, когда в одну наррацию включается все, что было открыто в историче-

ских дисциплинах, изучающих интеллектуальный, политический, социальный или экономический “пласты” исторического прошлого. Специализация ведет к субъективной историографии (хотя, конечно же, я не отрицаю, что тщательное изучение деталей прошлого скорее чаще, нежели реже является необходимым условием создания объективного нарратива). Но в историографии к специализации всегда следует относиться с величайшим подозрением; лучше всего ее рассматривать как “une terrible nécessité”.

Максимизировать область нарратива — не значит просто заявлять, что он дает более полный “образ” или “картину” прошлого, чем конкурирующие нарративы, не подкрепив это заявление никакой аргументацией. В историографии исторический тезис и аргументы в его пользу неразрывны (ср. сс. 73—76). Выводы нельзя отделить от их нарративного обоснования. Следовательно, в отношении нарратива мы не можем одновременно утверждать, а) что он плохо аргументирован и б) что он обладает широкой областью. Эти два положения являются взаимоисключающими друг друга. Историографии неведомы счастливые догадки.

Одно из наиболее неожиданных следствий из предшествующих рассуждений состоит в том, что для установления области нарратива, а значит и для установления его объективности необходимы другие нарративы. Невозможно определить объективность нарратива, если по какой-то теме имеется только один нарратив (или только стандартный нарратив). Другими словами, чем больше общего обнаруживают *Nss* на некотором этапе развития историографии, тем более очевиден упадок, переживаемый в этот период историческим знанием (суть которого заключается в том, чтобы формулировать “точки зрения”). Победа нарративного реализма (под маской ли исключительно социально-научной историографии или под маской историографии, черпающей вдохновение только в спекулятивной философии истории) была бы началом такого упадка в историческом знании. В подобных условиях преобладание одного взгляда на прошлое оборачивается исчезновением вообще любого взгляда на прошлое. И это не просто интерпретация, но описание положения дел в

* “Ужасная необходимость” (франц.). — Прим. перев.

историографии: “точки зрения” на прошлое могут существовать, только если есть другие “точки зрения”. *Nss* могут быть признаны таковыми лишь в том случае, если осознается их специфичность и к ней всеми силами стремятся. Осознаваемая возможность других взглядов на прошлое входит важнейшей составной частью в значение выражения “иметь знание о прошлом”. Например, чем больше у нас есть нарративов о Великой французской революции, тем глубже мы ее понимаем, но не потому что в каждом нарративе упоминаются факты, не упомянутые в других нарративах, а главным образом, потому что только присутствие других нарративов позволяет нам очертить контуры и осознать специфичность того взгляда на прошлое, который представлен в каждом нарративе. Историческое понимание достигается только тогда, когда наш взгляд на прошлое очерчен как можно более ясно (конечно, это всегда вопрос степени). Поэтому для полного исторического знания была бы необходима “заполненность” нарративистского универсума. В таком заполненном универсуме, где осуществлен лейбницевский принцип полноты, наличие каждой *Ns* является необходимым условием специфичного характера любой другой *Ns*, содержащейся в этом универсуме². Таким образом, мы можем поддержать следующие положения Лейбница: 1) каждая субстанция является отражением всех других субстанций, и *vice versa*, и 2) совершенный универсум является наиболее изобильным универ-

² Мы могли бы перефразировать Лейбница следующим образом: “Ибо так как все наполнено (что делает все *Nss* связанными между собой), и в наполненном пространстве всякое движение производит некоторое действие на удаленные *Nss* по мере их отдаления, так что каждая *Ns* не только подвергается влиянию тех *Nss*, которые с ней соприкасаются, и чувствует некоторым образом все то, что с последними происходит, но через посредство их испытывает влияние и тех *Nss*, которые соприкасаются с первыми, касающимися ее непосредственно, то отсюда следует, что подобное сообщение происходит на каком угодно расстоянии. И следовательно, всякая *Ns* чувствует все, что совершается в универсуме, так что тот, кто видит, мог бы в каждой *Ns* прочесть, что совершается повсюду, и даже то, что совершилось или еще совершится, замечая в настоящем то, что удалено по времени и месту; все дышит взаимным согласием, как говорил Гиппократ”. См.: Лейбниц Г. В. Монадология // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. С. 423—424. (У Лейбница речь идет, естественно, не о *Nss*, а о телах. — Прим. перев.)

сумом. Удаление из него только одной субстанции, пропуск одного лишь звена в этой “великой цепи бытия” делает оставшиеся субстанции несовершенными и неясными. Короче говоря, область *Ns* определяется преимущественно другими *Nss*, а не ею самой. Степень же совершенства *Ns* зависит от степени совершенства нарративистского универсума, частью которого она является. В том же духе мы могли бы добавить, что 1) оптимальное знание об индивидуальности других людей и 2) максимальное разнообразие этих индивидуальностей являются необходимым условием развития нашей собственной индивидуальности. Несомненно, это подразумевает критику атомистического индивидуализма, характерного для большей части либеральных политических теорий.

Поэтому свобода мысли является важнейшим методологическим требованием, определяющим саму возможность исторического знания. Кроме того, прошлое необходимо охватить сетью нарративов, и благодаря их частичному совпадению мы сможем определять объективность нарративов по относительно новым историческим темам. Это также объясняет, почему историография является коллективным предприятием в значительно большей степени, чем физика, хотя обычно историю пишут ученые-затворники, уединившиеся в своих кабинетах. Человек может один открывать истины о природе, но чтобы было возможно знание о прошлом, требуется наличие и противоборство разных мнений в гораздо более драматичном смысле. Следовательно, по своему назначению так называемый “научный форум” очень отличается от “форума историков”. Первый выносит решение о приемлемости результатов научного исследования, тогда как второй является необходимой отправной точкой для получения исторического знания, и в этом качестве он абсолютно неустрашим. Вот почему историографию справедливо считают частью культуры или цивилизации, в то время как физику нет.

В главе II, раздел (2), мы видели, что разные представления о будущем, питаемые несходными нравственными убеждениями, определяют разные интерпретации прошлого. По-

³ De Groot; глава 1, разделы (1; 3; 5): “форум” всех ученых, специализирующихся в определенной научной области, выносит решение относительно приемлемости теорий и/или гипотез.

скольку каждая такая интерпретация предполагается как содействие утверждению некоторой модели будущего, достоинства этих интерпретаций нельзя определить в ходе рационального обсуждения. Когда же для оценки интерпретаций прошлого, инспирированных этическими соображениями, не используются в качестве мерила будущие общества, построению которых эти интерпретации способствуют, установление их объективности не является априорно невозможным делом. Поскольку я полностью отделил термины “объективное” и “субъективное” от причин, которые могут обуславливать написание объективных или субъективных нарративов (например, к ним относятся моральные убеждения историка), не будет противоречием сказать, что объективный нарратив создавался под влиянием определенных этических или политических ценностей. Этические ценности (или другие, не относящиеся к истории, обстоятельства) могут побудить историка написать определенный нарратив о прошлом, но это необязательно должно помешать нам в установлении его относительной объективности. Как и в любом другом случае, здесь действует критерий, определяемый областью нарратива. Поэтому я полагаю, что нет необходимости и нет оснований требовать от историка, чтобы он отбросил все свои этические и политические убеждения, приступая к написанию истории: благодаря приверженности некоторой этической позиции можно иногда создавать нарративы с необычайно широкой областью. Как лаконично выразился Майкл Ховард, “нет пристрастия, нет книги”⁴. Стоит ли говорить о том, что нравственное осуждение тоталитарного государства во многом способствовало углублению нашего исторического знания об этом явлении. Несомненно, этические убеждения не являются необходимым условием максимального увеличения области нарратива, не расширяется эта область и тогда, когда моральные убеждения просто высказываются.

Это согласуется с практикой историографических дискуссий. Объективность исторических описаний, на которые повлияли этические или политические ценности, вполне может быть оценена в ходе историографических дискуссий; это касается даже тех описаний, в которых влияние ценностей

⁴ M. Howard, Lord of Destruction, *Times Literary Supplement*, 13—11—81; p. 1323.

совершенно уместно и просматривается очень отчетливо. Так, часто говорят, что именно приверженность определенным этическим и политическим идеалам открыла глаза какому-то историку на те или иные аспекты прошлого или, наоборот, не позволила их увидеть. Во многих подобных случаях влияние ценностей может не быть просто *причинным* (в том смысле, что оно *побудило* историка принять определенный взгляд на прошлое). “Точки зрения” историков, которые, как мы убедились, определяют всю структуру нарративных описаний прошлого, очень часто неразрывно связаны с политическими и этическими ценностями. Многие нарративы утрачивают свою внутреннюю связность, когда из них устраняют структурирующие их политические ценности. Более того, между нарративом и этическими или политическими ценностями существует естественная близость. Метафорический компонент нарратива определяет “точку зрения”, предполагающую конкретный вид действия. То же самое можно сказать об этических и политических ценностях. Нарратив — это *trait d'union*⁴ между описанием и нормативностью: с одной стороны, мы имеем множество описательных высказываний, с другой — предписываемый образ действия⁵. Мы могли бы даже поиграть с той мыслью, что историография дает возможность опробовать этические или политические ценности. Если благодаря определенной совокупности политических и этических ценностей регулярно создаются более объективные нарративы, обладающие более широкой областью по сравнению с нарративами, на которые повлияла другая совокупность ценностей, то это, несомненно, было бы серьезным аргументом в пользу первой совокупности ценностей. Я признаю, что основной недостаток исторического знания состоит в том, что на оценку области нарратива также влияют ценности. Тот факт, что область нарратива можно установить, как мы убедились, только путем сравнения его с другими конкурирующими нарративами, предполагает зна-

⁴ Связующая нить, мостик между чем-либо (франц.). — Прим. перев.

⁵ См. также Schön (2): p. 268. “Благодаря процессам именованию и выражения в словах рассказы осуществляют то, что Рейн и Шён называли “нормативным скачком от данных к рекомендациям, от факта к ценности, от “есть” к “следует”.

комство с конкретными историческими традициями. Такие исторические традиции тесно связаны с политическими и этическими идеалами культурной и национальной “Umwelt”, в которой они возникают. Тем не менее, сам критерий, задаваемый областью нарратива логически не связан с этическими или политическими ценностями и, следовательно, в своей сущности, является ценностно нейтральным. Поэтому историки и философы истории могут надеяться только лишь на непредвзятую и не подверженную цензуре дискуссию. И вновь мы оказываемся перед методологической необходимостью свободы исторического исследования.

Теперь я рассмотрю наиболее очевидное возражение, которое может возникнуть в отношении моего предложения определять наиболее объективный нарратив среди конкурирующих нарративов по определенной теме как тот, область которого максимизирована относительно его описательного значения. Здесь укажут, что обязанность максимально увеличивать область нарратива потребует от историка *подразумевать* как можно больше, а *говорить* открыто как можно меньше. Видимо, это сведет историографию к пропаганде: пропаганда и тенденциозные сообщения подразумевают многое, но мало доказывают. Я не собираюсь опровергать эту критику. Выражаясь провокационно, я считаю наиболее объективным нарративом тот, который максимально приближается к пропаганде (однако никогда не *становится* ею). Следующие соображения помогут прояснить это малопривлекательное утверждение.

Согласно нарративному реализму нарратив представляет собой отражение, нарративное воспроизведение прошлого, каким оно действительно было. Прошлое не имеет ни сущности, ни ядра (в нарративистском смысле): само прошлое не является нарративом. Поэтому, согласно нарративному реализму, всякая теория и всякий тезис о прошлом несут на себе отпечаток деятельности историка, который создал описание прошлого, воплощающее в себе такую теорию или тезис, так что это описание должно быть субъективным. С точки зрения нарративного реализма наиболее объективными должны быть *те* нарративы, которые не имеют ни сущности, ни ядра (как и

⁵ Среда, окружающий мир (нем.). — Прим. перев.

само прошлое) и которым, подобно прошлому, характерны непредсказуемые и беспорядочные изгибы и повороты. Для нарративного идеализма, напротив, удаление от исторической реальности, рассматривание ее с максимально большого расстояния является предпосылкой достижения объективности. То, что для нарративного реалиста является дорогой к субъективности, для нарративного идеалиста является дорогой к объективности, и наоборот. В нарративном идеализме разграничиваются уровень высказываний о прошлом и уровень нарративных интерпретаций прошлого; стало быть, создается логическое пространство, необходимое для формулировки и признания представлений о прошлом и интерпретаций прошлого в качестве таковых. Нарративный реализм соединил эти два уровня, в результате чего объективной интерпретацией прошлого может быть лишь так называемое "воспроизведение" прошлого, воспроизведение неизбежно неясное и непостижимое, как и действительное прошлое, которое оно должно прояснить.

Установление, в соответствии с нарративным идеализмом, максимального расстояния между нарративом и исторической реальностью (что служит метафорическим выражением той мысли, что область нарратива должна быть максимизирована относительно его описательного содержания) ни в коей мере не означает устранения любой возможности выяснить относительную адекватность созданного таким способом нарратива. Напротив, именно стратегия нарративного идеалиста делает нарративы открытыми для проверки. Нарратив, который удовлетворит нарративного реалиста, вряд ли можно подтвердить или фальсифицировать (я в виде исключения позволю себе позаимствовать эти термины из такой далекой области, как философия науки)⁶. Масса высказываний понадобится для того, чтобы подтвердить или фаль-

⁶ Следует отметить, что в главе VI я доказывал ложность нарративного реализма как теории написания историй. Кроме того, редукционизм, стремящийся ограничить историографию историческим исследованием, несомненно, имеет своим источником нарративный реализм. Мы можем отсюда заключить, что историк, всерьез воспринимающий нарративный реализм, будет создавать субъективные нарративы, нарративное значение которых затушевывается тем, что излишне подчеркивается историческое исследование.

сифицировать чрезвычайно слабое ядро такого нарратива. Ясно, что когда почти нет нарративного ядра, отсутствует именно то, что нужно подтверждать или фальсифицировать. Однако гораздо легче установить адекватность нарративов, написанных в духе нарративного идеализма: иногда достаточно лишь принять во внимание несколько исторических фактов, чтобы отнестись с недоверием к нарративно-идеалистическому историческому тезису. Например, интересный тезис Вентури о том, что политическую мысль XVIII века по большей части следует рассматривать как защиту республиканских, а не демократических идеалов, в значительной мере утрачивает свою правдоподобность, если указать, что политические теоретики XVIII века очень хорошо понимали недостатки, внутренне присущие Венецианской, Женевской, Генеузской и Голландской республикам⁷.

Однако сформулированное в предыдущем абзаце утверждение о том, что высказывания иногда должны подтверждать или фальсифицировать нарративы, нуждается в уточнении. Относительную полезность *Nss*, предложенных историком, придерживающимся нарративного идеализма, нельзя доказать или опровергнуть, просто сославшись на высказывания (не важно, входят они в эти *Nss* или нет). Мы можем определить (относительные) достоинства нарратива, только сравнив его с другими нарративами. Поиск наиболее объективного нарратива в некотором отношении напоминает выбор наилучшей звуковоспроизводящей аппаратуры: мы не сравниваем эту аппаратуру с тем, что мы действительно слышим в концертном зале, мы сравниваем ее с другой аппаратурой. Подобным же образом и свет объективности идет, так сказать, изнутри нарратива, отнюдь не соответствие исторической реальности является его источником. Это не означает, что историческая реальность не принимается в расчет, когда мы ищем наиболее объективный нарратив или *Ns*: сравнивая две *Nss*, "*N*₁" и "*N*₂", мы вполне можем предпочесть *N*₂, поскольку в ней упоминаются другие факты и/или приводятся больше фактов, чем в *N*₁. Однако мы предпочитаем *N*₂ не из-за самих этих фактов, а потому что высказывания об этих фактах в *N*₂ обеспечивают нас более широкой "областью" в

⁷ См. F. Venturi, *Utopia and Rreform in the Enlightenment*, Cambridge 1971.

отношении исторической реальности. Следовательно, мы можем сказать, что факты могут “подтверждать” (“не подтверждать”) некоторую *Ns*, но такое “подтверждение” (“неподтверждение”) всегда осуществляется посредством другой *Ns*, в которой эти факты уламинаются. Но хотя мы действительно сравниваем *Nss*, когда пытаемся найти наиболее объективный нарратив, все же именно высказывания превращают *Nss* в то, чем они являются. Поэтому наиболее успешно работает тот историк, который знает, какие фрагменты реальности (если описать их с помощью высказываний о прошлом) позволяют создать нарратив с более широкой областью по сравнению с конкурирующими нарративами.

Высказывания должны быть истинными, т.е. они должны соответствовать исторической реальности. Итак, если взять вместе два упомянутых в начале этого раздела пункта, то можно утверждать следующее: наиболее объективным среди конкурирующих нарративов является тот, в котором высказывания 1) индивидуализируют определенную *Ns* таким образом, что область нарративного значения максимально превышает описательное значение, и 2) все высказывания соответствуют исторической реальности. Нарратив, удовлетворяющий этим двум требованиям, является наиболее “дерзким” и “смелым”. Автор такого нарратива очень прилежно следует эпиграфу к “Логике научного открытия” Поппера: “Гипотезы — это сети: ловит только тот, кто их забрасывает”.

Находясь на максимальном расстоянии от нарратива, одобряемого нарративным реалистом, нарратив нарративного идеалиста может быть довольно легко отвергнут и заменен новым и более объективным нарративом. Действительно, подразумевая как можно больше и при этом утверждая как можно меньше, нарративный идеалист создает нарратив, в некоторых отношениях подобный пропаганде. Однако существенная разница между “дерзким” нарративом нарративного идеалиста и пропагандой заключается в том, что пропаганда подкрепляется только фактами, упомянутыми в ней, в то время как историк нарративно-идеалистических взглядов строит свой нарратив так, что довольно трудно обнаружить факты, “не подтверждающие” его нарратив. Честный историк предложит свою дерзкую и смелую *Ns*, будучи в то же самое время убежденным в том, что ее не отбросят на осно-

вании некоторых аспектов прошлого, которые он в ней не упомянул. Создателя пропаганды такие соображения не беспокоят. Он стремится лишь убедить, тогда как цель историка состоит в том, чтобы убедить и вместе с тем максимально приблизиться к истине. Поскольку историк стремится с помощью своей *Ns* “осветить” как можно большую часть прошлого, есть все основания назвать его работу более “объективной” — или, как предпочли бы сказать историки, более близкой к “истине”, — по сравнению с работой его коллеги, который осторожничает из-за нарративно-реалистических заблуждений, или по сравнению с тем, в чем нас хочет убедить создатель пропаганды. Кроме того, осознавая уязвимость защищаемого им тезиса о прошлом, он приступит к написанию нарратива только после того, как пробьется сквозь “ряды” *Nss*, упоминающих факты, которые он, в конечном счете, решил не включать в свой нарратив. По сути, историка можно сравнить с Одиссеем, который должен проплыть между Сциллой дерзости и Харибдой осторожности. Думаю, что если посмотреть на работу историка в этом свете, мое утверждение о том, что историография должна максимально приближаться к пропаганде, в значительной мере лишится своей провокационности.

И вновь, по видимому, мне следует предостеречь против смешения задач философа и историка. Философу допустимо лишь утверждать, что историк должен максимально расширить область своего нарратива относительно его описательного содержания. Но он не может указать, как следует добиваться этого в действительной историографической практике. Не входит в его задачу и установление в конкретных случаях, какие *Nss* имеют наибольшую область. Ибо это было и остается сферой деятельности и обсуждения историков. И даже историку будет достаточно трудно отвечать на подобные вопросы. Прежде всего, помехой ему будет служить то, что нельзя установить область нарратива, не рассматривая другие *Nss* по той же самой или родственной ей тематике. Ибо нельзя определить границы области *Ns* при отсутствии других *Nss*. Историк находится в гораздо более затрудненном положении, чем ученый (хотя разрыв между историком и ученым, возможно, не столь велик, если верны хорошо известные идеи Лакатоса о росте научного знания). В естественных науках относительные дос-

тоинства конкурирующих теорий во многих, если не во всех, случаях можно установить чисто экспериментальным путем. В историографии ситуация иная. Область, которую кто-то приписывает некоторой *Ns*, во многом определяется тем, что им уже было прочитано по истории. Любой несведущий в истории человек окажется совершенно беспомощным, если ему придется сравнивать, например, исторические сочинения Вольтера и Губерта о Людовике XIV. Тот факт, что он понимает каждое предложение в этих нарративах, не устранит его затруднения. Это означает, что между историками будут сохраняться разногласия относительно того, какую область приписать тем или иным отдельным *Nss*. Эти разногласия во многом объясняются принадлежностью историков к разным историографическим традициям, тем, что ими прочитано и т.д. Это еще один довод в пользу утверждения, что только благодаря критериям нарративной объективности мы способны определять *относительные* достоинства *Nss*. Но даже это достаточно трудно сделать.

Конечно, неутешителен тот факт, что мы никогда не сможем знать, как писать объективное историческое сочинение; мы можем — и то с большим трудом — установить лишь, что один нарратив является более объективным, нежели другой. Тем не менее, наш критерий максимизации области нарратива, по крайней мере, может показать, каким компасом пользоваться в решении этого вопроса. Но до сих пор этот компас был даже неизвестен философу истории; хотя историки, конечно же, всегда руководствовались им в своей оценке законченных нарративов. Однако все попытки превратить его в инструмент, указывающий, как *пересекать* моря исторических сочинений, обречены на неудачу. Часто бывает так, что мы обладаем критериями, которые позволяют выяснить, *была ли достигнута* определенная цель или нет, хотя у нас нет критериев или правил, указывающих, как *достичь* данной цели: эти два вида критериев часто совершенно не совпадают. У нас есть довольно надежные критерии, чтобы установить, *является ли кто-то счастливым*. Но не существует таких правил, которые говорили бы, как *стать* счастливым: завершение книги может иногда — как, например, в моем случае — приводить к этой цели, но это случается не всегда.

Заключение

В этой работе я отстаивал три принципиальных тезиса. Согласно первому не существует правил перевода, позволяющих получать “проекцию” прошлого на нарративном уровне его историографического представления; поэтому нарратив не является “картиной” или “образом” прошлого. Этот тезис предполагает критику всех видов спекулятивной философии истории и всех попыток превратить историю в социальную науку. Правила перевода, представленные в социально-научных теориях или моделях, на основе которых нарративный реалист строит свои доводы, могут быть полезны историку, пока он занимается историческим исследованием, но они сбивают его с толку, как только он достигает этапа сведения результатов своего исторического исследования в объективный нарратив. Поскольку в модели охватывающих законов упор сделан исключительно на регулярностях, о которых мы знаем из повседневной жизни или из социальных наук, мы можем заключить, что эта модель оправданно применима только в области исторического исследования, но не в области нарративного написания истории. Современные социально-научные исследования прошлого являются весьма полезной вспомогательной наукой для историографии, но они никогда не могут заменить саму историографию. Попытка сделать это оборачивается лишь весьма субъективными нарративами, т.е. нарративами с очень узкой областью.

Второй основополагающий тезис состоял в том, что нарратив историка, взятый как целое, предлагает нам некоторую интерпретацию прошлого и эта интерпретация выражается в *Ns*. По сути, этот тезис означает признание наиболее существенных принципов историзма: “*historische Ideen*” или “*historische Formen*”, так сильно интересовавшие представи-

* “Исторические идеи” (нем.). — Прим. перев.

** “Исторические формы” (нем.). — Прим. перев.

телей историзма, можно определить как *Nss*, природа которых была проанализирована в этой работе. Историзм был подвергнут критике по другим причинам. Как было указано, требование представителей историзма всегда помещать исторические явления в контекст уникального процесса исторического изменения и понимать их в контексте на методологическом уровне исключает возможность надежного исторического знания. Невозможно вывести уникальное историческое явление из уникального исторического контекста, и наоборот: для получения надежных выводов требуется общее знание о том, с чем можно соотнести эти исторические явления или исторический контекст, в который они включены. Однако как только мы осознаем, что историческая уникальность должна всегда связываться с нарративами, а не с исторической реальностью, эта критика теряет свой смысл. "Уникальным" является не то, что подлежит объяснению, а то, что объясняет. Уникальными в нарративе являются не аспекты обсуждаемого предмета, но то, как эти аспекты соединяются или "связываются" в единую *Ns*. Этот аргумент позволяет также защитить историзм от наиболее уместной критики. Из исследований прошлого представителями историзма были сделаны политические выводы¹. Но в историзме следует видеть только философскую теорию, объясняющую, как возможно историческое знание и в чем заключается его природа. Как нам следует поступать в будущем и как следует соединять нарративные высказывания о прошлом в объективный нарратив — это совершенно разные проблемы. Представители историзма могли формулировать свои политические наставления только потому, что они истолковывали связность нарратива в том смысле, будто само прошлое, о котором сообщается в этом нарративе, указывает в определенном направлении. Но объективный и связный нарратив — это достижение историка, а не указание того, каким путем в будущем пойдет история. Поэтому очищенный от метафизических наслоений историзм уже больше не дает оснований для политических выводов. В итоге эту работу можно рас-

¹ Историзм много критиковали за политические выводы, которые, как казалось, из него следовали. См.: Iggers (1) и M.C. Brands. *Historism als ideologie*. Assen 1965.

смаживать как призыв в защиту философии историзма, в поддержку которой говорит тот факт, что все исторические сочинения, написанные современными историками и их предшественниками, согласуются с ее установками.

Третий принципиальный тезис указал на сходство между метафорическими высказываниями и нарративами. И метафорические высказывания и нарративы определяют "точку зрения", с которой нам предлагается смотреть на реальность. "Точка зрения" выражает предпочтительность определенного отбора высказываний, которые могут быть сформулированы об исторической реальности. Вся совокупность этих высказываний образует "область" метафорического высказывания или нарратива. Так как в самом нарративе не утверждается об истинности или ложности этих высказываний, мы пришли к выводу, что имеется существенное различие между теориями (или общими теоретическими высказываниями) и "теориями" (или интерпретациями прошлого), предлагаемыми историком. Поскольку любое действие, как подразумевается в этой работе, нуждается в "точке зрения", т.е. осмысленное действие всегда предполагает понимание того, как продолжить в будущем нашу личную или коллективную историю, то это различие соответствует различию между теоретическим и практическим знанием. По сути, историческое знание не является знанием в собственном смысле этого слова; его лучше охарактеризовать как упорядочение знания. Историческое знание оказывается столь интересным, с философской точки зрения, явлением благодаря тому, что для него главным является вопрос о том, что нам следует или не следует говорить о реальности, а не о том, как нам следует говорить о реальности (это область науки). Этот вопрос всегда тесно связан с "практическими" соображениями или, как показал Фуко, с осуществлением власти: "поскольку знание можно анализировать с точки зрения места, области, насаждения, вытеснения, перемещения, мы способны уловить процесс функционирования знания как формы власти и процесс распространения его влияния. Существует управление знанием, политика знания, отношения власти, пронизывающие знание, которые, если попытаться их описать, приводят к рассмотрению форм господства, выражаемых такими понятиями как поле,

место и территория”². Что мы решим говорить о реальности, во многом определяется тем, как мы стремимся воздействовать на нее.

Как можно большее расширение области нарратива является необходимым условием создания “объективных” нарративов. Формальная структура высказываний о *Nss* (предикаты таких высказываний аналитически выводимы из полного понятия их субъекта) обязывает нас принять объяснения прошлого, сформулированные с помощью *Nss*³.

² M. Foucault, *Power/Knowledge*, New York 1980; p. 69.

³ Для каждого из этих трех принципиальных тезисов можно найти подтверждение в теоретических трудах Хейзинги. Первый тезис можно сопоставить с утверждением Хейзинги о том, что не существует того, что соответствовало бы “*es*” из изречения Ранке, предписывающего историку изображать прошлое “*wie es eigentlich gewesen*” [“как оно было на самом деле” (нем.). — Прим. перев.] (Huizinga, p. 44). Его инаугурационная лекция “*Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen*” в полной мере свидетельствует о том, что он осознавал разрыв между прошлым и его нарративными описаниями, существующий благодаря эстетическому постижению прошлого историком (Huizinga; pp. 3–39). Аналогом нашему второму тезису является то, что Хейзинга писал об “исторических формах” и “исторических идеях” (Huizinga, pp. 69–85, 134–150). Что касается третьего тезиса, то метафорический характер нарратива Хейзинга выразил в следующей поэтической форме: “Историческое познание едва ли равнозначно выявлению жесткой причинной связи. Оно неизменно является пониманием “взаимосвязи” (“*saamhang*”). Как мы указывали, эта взаимосвязь всегда открыта; иначе говоря, ее никогда не нужно представлять в виде звеньев, образующих цепь, но, скорее, в виде нестянутой вязанки, к которой можно добавлять новые ветки, пока хватит веревки. Еще лучше подошел бы образ букета полевых цветов. Из-за разнообразия и неравноценности новых понятий, добавляемых к пониманию исторической взаимосвязи, каждое из них производит действие, подобное тому, которое производит новый цветок, добавленный в букет. Он изменяет вид всего букета” (Huizinga (2); p. 56). Используя нашу собственную терминологию эту же мысль можно выразить так: каждое новое высказывание, добавляемое в нарратив, изменяет точку зрения, с которой следует смотреть на прошлое (как его описывают другие высказывания в нарративе). Как цветы букета, высказывания в нарративе определяют нарративное значение друг друга.

По моему мнению, теоретические работы Хейзинги содержат лучший на сегодняшний день анализ природы исторического знания.

Ссылаясь на необходимость постулирования понятия “нарративная субстанция”, я вынес на рассмотрение разнообразные философские темы. Кто-то мог бы возразить, что эти темы следует анализировать по отдельности. Однако понятие “нарративная субстанция” во многом обязано своей убедительностью тому факту, что оно оказалось весьма полезным при изучении такого множества различных тем. В некотором смысле понятие “нарративная субстанция” подобно вспомогательной линии в геометрии: мы представляем ее себе, поскольку она дает возможность решить многие иначе неразрешимые проблемы. Поэтому рассмотрение разнообразных философских проблем следует считать не недостатком настоящего исследования, а его существенной частью. Только таким образом можно было дать удовлетворительное объяснение и обоснование центральной идее этой книги, т.е. понятию “нарративная субстанция”.

В ходе нашего исследования было принято только одно существенное допущение, а именно что историки описывают прошлое с помощью единичных констатирующих высказываний. Поскольку в отношении содержания этих высказываний не было введено никаких ограничений, результаты моего анализа могут иметь значение и для иных областей исследования, а не только для историографии. Например, если верно, что во время “научной революции” противопоставляются не только различные описания одних и тех же явлений, но и разные “парадигмы”, то на этом этапе своего развития наука приближается к истории. Возможно, есть основания говорить, что относительная широта области отдельных научных “парадигм” является решающим критерием при определении их продуктивности. Однако у нормальной науки и истории мало общего: нормальная наука имеет дело с *предикатами*, а историография — с *высказываниями*.

Нарративистская философия может оказаться полезной и на другой стороне спектра человеческого опыта. Вполне возможно, что способ синтеза сознанием чувственных восприятий имеет больше общего с историческим, нежели с (“нормальным”) научным подходом к реальности. Тот факт, что наша самоидентичность (*Ns* “*Я_{инт.}*”), интегрирующая в себя все наши чувственные восприятия, является нарративным понятием, убедительно говорит в пользу этого предпо-

ложения. Существенная разница между роботами или компьютерами и человеческими существами, по моему мнению, заключается в способности людей создавать *Ns* "Я_{инт.}". Возможность искусственного интеллекта, вероятно, в значительной степени зависит от того, можно ли заставить компьютеры употреблять слово "Я_{инт.}". Проблема в том, что компьютеры нельзя научить тому, как употреблять это слово, поскольку здесь неуместны ссылки на регулярности, руководства или инструкции. Человек, употребляющий слово "Я_{инт.}", не учился идентифицировать особую индивидуальную вещь в реальности: он пришел к философскому пониманию того, что солипсизму можно следовать, но его нельзя непротиворечиво мыслить. Это отнюдь не отвлаченный вопрос: всепроникающий антинарративизм, свойственный интеллектуальному климату XX столетия⁴, создает хорошую почву для солипсизма. А солипсизм является заболеванием, для обнаружения которого может потребоваться много времени: он никогда не вступает в конфликт с реальностью.

Библиография

- F.R. Ankersmit, Het narratieve element in de geschiedschrijving, *Tijdschrift voor geschiedenis* 91(1978)181—213 (1).
- F.R. Ankersmit, Een nieuwe synthese? Recente ontwikkelingen in de Angelsaksische geschiedfilosofie, *Theoretische geschiedenis* 6 (1979) 58—91 (2).
- C.J. Arthur, On the Historical Understanding, *History and Theory* VII (1968) 203—216.
- J.L. Austin, *Philosophical Papers*, Oxford 1970 (1st ed. 1961).
- A.J. Ayer, Names and Descriptions, *Thinking and meaning*, Louvain/Paris 1963 (1).
- A.J. Ayer, *The Problem of Knowledge*, Bungay 1969 (1st ed. 1956) (2).
- H.M. Baumgartner, Narrative Struktur und Objektivität, in J. Rüsen ed., *Historische Objektivität*, Göttingen 1975 (1).
- H.M. Baumgartner, *Kontinuität und Geschichte*, Frankfurt am Main 1972 (2).
- M.C. Beardsley, *Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism*, New York 1958 (1).
- M.C. Beardsley, *The Metaphorical Twist, Philosophy and phenomenological research* XXII (1962) 293—305 (2).
- C.L. Becker, What are Historical Facts? in H. Meyerhoff, *The philosophy of History in Our Time*. New York 1959.
- L. Benson, On the logic of historical narration, in S. Hook ed., *Philosophy and History*, New York 1963.
- M. Black, *Models and Metaphors*, New York 1962 (1).
- M. Black, More about Metaphor, in A. Ortony. *Metaphor and Thought*, London 1979 (2).
- E.J. Borowski, Identity and Personal Identity, *Mind* LXXXV (1976) 481—502.
- C.D. Broad, *Leibniz. An Introduction*, London 1975.
- K. Burke, *A Grammar of motives*, Berkeley 1969 (1st ed. 1945).
- E. Cassirer, *The philosophy of the Enlightenment*, Princeton 1951.
- L.B. Cebik, Colligation in the Writing of History, *The Monist* 53 (1969) 40—57 (1).

⁴ См.: A. MacIntyre, *After Virtue*. London, 1981.

- L.B. Cebik, *Concepts, Events and History*, Washington 1978 (2).
 T. Chapman, Identity and Reference, *Mind* LXXXII (1973) 542—557.
 A. Cobban, *The Social Interpretation of the French Revolution*, Cambridge 1964.
 R.G. Collingwood, *The Idea of History*, Oxford 1970 (1st ed. 1946) (1).
 R.C. Collingwood, *An Autobiography*, Oxford 1970 (1st ed. 1939) (2).
 A.C. Danto, *Analytical Philosophy of History*, Cambridge 1968. (См. рус. пер.: Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002)
 K.S. Donnellan, Proper Names and Identifying Descriptions, in D. Davidson and G. Harman, *Semantics of Natural Language*, Dordrecht 1972 (1).
 K.S. Donnellan, Reference and Definite Descriptions, in D.D. Steinberg and L.A. Jakobovits. *Semantics*, Cambridge 1971 (2).
 28. W.H. Dray. Narrative in History, *Philosophical Quarterly* IV (1954) 15—28 (1).
 W.H. Dray, On the Nature and Role of Narrative in Historiography, *History and Theory* X (1971) 153—171 (2).
 W.H. Dray, *Philosophy of History*, Englewood Cliffs 1964 (3).
 T.A. van Dijk, *Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*, London 1977.
 R.G. Ely, R. Gruner, W.H. Dray, Mandelbaum on Historical Narration, *History and Theory* VIII (1969) 275—294.
 G.R. Elton, *The Practice of History*, London 1967.
 H. Fain, *Between Philosophy and History*, Princeton 1970.
 E.M. Forster, *Aspects of the Novel*, Aylesbury 1975 (1st ed. 1927).
 J.L. Caddis, *The United States and the Origins of the Cold War, 1941—1947*. New York 1971.
 W.B. Gallic, *Philosophy and the Historical Understanding*, New York 1968 (1st ed. 1964).
 P. Gay, *Style in History*, London 1975.
 P.T. Geach, *Reference and Generality*, Ithaca and London 1970 (1st ed. 1962).
 E. Gellner, The Concept of a Story, in ed., *Contemporary Thought and Politics*, London 1974.
 L.J. Goldstein, *Historical Knowing*, Austin & London 1976.

- L.J. Gorman, Objectivity and Truth in History, *Inquiry* 17 (1974) 373—397.
 N. Griffin, *Relative Identity*, Oxford 1977.
 A.D. de Groot, *Methodologie*, 's-Gravenhage 1972 (1st ed. 1961).
 N. Hampson, *The Enlightenment*, Aylesbury (1st ed. 1968).
 G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Band I. Die Vernunft in der Geschichte*, Hamburg 1970 (1st ed. 1917) (Felix Meiner Verlag) (1).
 G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Band II—IV. Die orientalische Welt. Die griechische und die römische Welt. Die germanische Welt*, Hamburg 1976 (1st ed. 1919) (Felix Meiner Verlag) (2).
 P. Henle, Metaphor, in P. Henle ed., *Language, Thought and Culture*, New York 1958.
 M.B. Hesse, The Explanatory Function of Metaphors, in Y. Bar-Hillel ed. *Logic, Methodology and the Philosophy of science*, Amsterdam 1965.
 H.B. Hester, *The Meaning of Poetic Metaphor*, Den Haag 1967.
 J.H. Hexter, The Rhetoric of History, *History and theory* VI (1967) 1—14.
 J. Huizinga, *Herfsttij der Middeleeuwen*, Haarlem 1963 (1st ed. 1919) (1).
 J. Huizinga, *Verzamelde werken* VII, Haarlem, 1950 (2).
 D.L. Hull, Central Subjects and Historical Narration, *History and Theory* XIV (1975) 253—274.
 G.G. Iggers, *The German Conception of History*, Middletown 1968 (1).
 G.G. Iggers and K. von Moltke eds., *Leopold von Ranke. The Theory and Practice of History*, New York 1973 (2).
 H. Ishiguro, *Leibniz's Philosophy of Logic and Language*, London 1972.
 H.W.B. Joseph, *Lectures on the Philosophy of Leibniz*, Oxford 1949.
 R. Kauppi, *Über die Leibnizsche Logik*, Helsinki 1960.
 D.R. Kelley, *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law and History in the French Renaissance*, New York and London 1970.
 E.H. Kossmann, *The Low Countries 1780—1940*, Oxford 1978.

- S.A. Kripke, Naming and Necessity, in D. Davidson and G. Harman eds., *Semantics of Natural Language*, Dordrecht 1972.
- Th. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago 1974 (1st ed. 1962).
- G. Lakoff & M. Johnson, *Metaphors We Live By*, Chicago and London 1980.
- I.L. Leeb, *The Ideological Origins of the Batavian Revolution. History and Politics in the Dutch Republic 1747—1800*, Den Haag 1973.
- G.W. Leibniz, *Die Hauptwerke*, Stuttgart 1967 (Alfred Kroner Verlag) (1).
- G.W. Leibniz, *Philosophical Papers and Letters*, Dordrecht 1976 (Reidel) (2).
- S.R. Levin, *The Semantics of Metaphor*, Baltimore 1977.
- H.D. Lewis, *The Elusive Self*, London 1969.
- K. Lorenz, Die Monadologie als Entwurf einer Hermeneutik, *Studia Leibniziana Suppl. XIV* (1972) 317—331.
- A.R. Louch, History as Narrative, *History and Theory VIII* (1969) 54—70.
- H. Lübbe, Was heisst "Das kann man historisch erklären"? in R. Koselleck & W.D. Stempel, *Geschichte, Ereignis und Erzählung*, München 1973 (1).
- H. Lübbe, *Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse* Basel/Stuttgart 1977 (2).
- M. Mandelbaum, A Note on History as Narrative, *History and Theory VI* (1967) 413—420 (1).
- M. Mandelbaum, *History, Man & Reason*, Baltimore and London 1971 (2).
- M. Mandelbaum, *The Anatomy of Historical Knowledge*, London 1977 (3).
- H.I. Marrou, *De la connaissance historique*, Paris 1973 (1st ed. 1957).
- G. Martin, *Leibniz. Logik und Metaphysik*, Berlin 1967.
- R. Martin, *Historical Explanation. Re-enactment and Practical Inference*, London 1977.
- C.B. McCullagh, Narrative and Explanation in History, *Mind LXXVIII* (1969) 256—261 (1).
- C.B. McCullagh, Colligation and Classification in History, *History and Theory XVII* (1978) 267—285 (2).
- F. Meinecke, *Die Entstehung des Historismus*, München 1965 (1st ed. 1936).

- G.A. Miller, Images and Models, Similes and Metaphors, in A. Ortony, *Metaphor and Thought*, London 1979.
- L.O. Mink, Philosophical Analysis and Historical Understanding, *Review of metaphysics XXI* (4) (1968) 667—698 (1).
- L.O. Mink, The Autonomy of Historical Understanding, in W.H. Dray ed., *Philosophical Analysis and History*, New York 1966 (2).
- L.O. Mink, History and Fiction as Modes of Comprehension, *New Literary History I* (1969—1970) 541—559 (3).
- L.O. Mink, Interpretation and Narrative Understanding, *Journal of Philosophy LXIX* (1972) 735—737 (4).
- L.O. Mink, The Divergence of History and Sociology in Recent Philosophy of History, in P. Suppes ed., *Logic, Methodology and the Philosophy of Science IV*, Amsterdam 1973 (5).
- L.O. Mink, Narrative Form as a Cognitive Instrument, in R.H. Canary and H. Kozicki eds., *The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding*, Madison 1978 (6).
- J.J.A. Mooij, *A Study of Metaphor*, Amsterdam 1976.
- G. Morrow, Comments on White's Logic of Historical Narration, in S. Hook ed., *Philosophy and History*, New York 1963.
- P. Munz, The Skeleton and the Mollusc, *New Zealand Journal of History 1* (1967) 107—123 (1).
- P. Munz, *The Shapes of Time. A New Look at the Philosophy of History*, Middletown 1978 (2).
- M.G. Murphey, *Our Knowledge of the Historical Past*, New York 1973.
- G.H. Nadel, On the Logic of Historical Narrative, in S. Hook ed., *Philosophy and History*, New York 1963.
- E. Nagel, *The Structure of Science*, London 1971 (1st ed. 1961).
- J. Nelson, Logically Necessary and Sufficient Conditions for Identity through Time, *American Philosophical Quarterly 9* (1972) 177—185.
- J.S. Nelson, H.V. White. Metahistory, *History and Theory XIV* (1975) 74—91.
- M. Oakshott, *Experience and its Modes*, Cambridge 1978 (1st ed. 1933).
- F.A. Olalson, Narrative History and the Concept of Action, *History and Theory IX* (1970) 265—289.
- D. Parfit, Personal Identity, *Philosophical Review LXXX* (1971) 3—28.

- G. Parker ed., *The General Crisis of the Seventeenth Century*, London 1978.
- G.H.R. Parkinson, *Logic and Reality in Leibniz's Metaphysics*, Oxford 1965.
- C. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca, *La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation*, Paris 1958 (1).
- C. Perelman, Objectivité et intelligibilité dans la connaissance historique, in ed., C. Perelman, *Le champ de l'argumentation*, Bruxelles 1970 (2).
- C. Perelman, Sens et catégories en histoire, in id., *Le champ de l'argumentation*, Bruxelles 1970 (3).
- J. Perry ed., *Personal Identity*, London 1975.
- K.R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London 1972 (1st ed. 1959) (1).
- K.R. Popper, *The Poverty of Historicism*, New York 1964 (1st ed. 1957) (2).
- K.R. Popper, *Objective Knowledge*, Oxford 1972 (3).
- K.R. Popper, Selbstbefreiung durch das Wissen, in L. Reinisch ed., *Der Sinn der Geschichte*, München 1971 (4).
- M.S. Price, Identity through Time, *The Journal of Philosophy* LXXIV (1977) 201—217.
- W.v. Quine, *From a Logical Point of View*, London 1971 (1st ed. 1953).
- P.H. Reill, *The German Enlightenment and the Rise of Historicism*, Berkeley 1975.
- N. Rescher, *The Philosophy of Leibniz*, Englewood Cliffs 1967 (1).
- N. Rescher, Leibniz und die Vollkommenheit der Welten, *Studia Leibniziana* Suppl. XIV (1972) 1—11 (2).
- I.A. Richards, *The Philosophy of Rhetoric*, New York 1971.
- H. Rickert, *Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft*, Freiburg i.B. 1899.
- M. de Robespierre, *Discours et rapports à la Convention*, s.l. 1965.
- J.J. Rousseau, *Les rêveries du promeneur solitaire*, s.l. 1972.
- B. Russell, *The Philosophy of Leibniz*, London 1967 (1st ed. 1900).
- S. Schama, *Patriots and Liberators*, New York 1977.
- R. Scholes & R. Kellogg, *The Nature of Narrative*, Oxford 1975 (1st ed. 1966).
- D.A. Schön, *The Displacement of Concepts*, London 1963 (1).

- D.A. Schön, Generative Metaphor: A Perspective on Problem-setting in Social Policy, in A. Ortony, *Metaphor and Thought*, London 1979 (2).
- J.R. Searle, The Problem of Proper Names, in D.D. Steinberg and L.A. Jakobovits. *Semantics*, Cambridge 1971.
- W.A. Shibles, *Analysis of Metaphor in the Light of W.M. Urban's Theories*, Den Haag 1971.
- Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought* 2 Vol., Cambridge 1978.
- W.D. Stempel, Erzählung, Beschreibung und der historische Diskurs, in R. Koselleck & W.D. Stempel eds., *Geschichte, Ereignis und Erzählung*, München 1973.
- R.W. Southern, The Historical Experience, *Times Literary Supplement*, 2—6—77, 771—774.
- R. Stephen Humphreys. Elementary Models of Historical Thought, *History and Theory* XIX (1980) 1—20.
- P.P. Strawson, Individuals. *An Essay in Descriptive Metaphysics*, London 1971 (1st ed. 1959) (1).
- P.F. Strawson, Singular Terms and Predicates, in P.P. Strawson, *Philosophical Logic*, Oxford 1973 (2).
- P.F. Strawson, *Subject and Predicate in Logic and Grammar*, London 1974 (3).
- P.F. Strawson, Identifying Reference and Truth Values, in D.D. Steinberg and L.A. Jakobovits, *Semantics*, Cambridge 1971 (4).
- N.S. Struever, *The Language of History in the Renaissance*, Princeton 1970 (1).
- N.S. Struever, Topics in History, *History and theory* XIX (1980) 66—80 (2).
- J.L. Talmon, *The Myth of the Nation and the Vision of Revolution*, London 1982.
- K. Thomas, *Religion and the Decline of Magic*, New York 1971.
- H. Toliver, *Animate Illusions. Explorations in Narrative Structure*, Lincoln 1974.
- M. Tournier, *Vendredi ou les limbes du Pacifique*, Paris 1972.
- H. Trevor-Roper, *The Rise of Christian Europe*, Norwich 1965 (1).
- H. Trevor-Roper, *Religion, the Reformation and Social change*, London 1967 (2).
- C.M. Turbayne, *The Myth of Metaphor*, London 1962.

- F. Venturi, *Utopia and Reform in the Enlightenment*, Cambridge 1971.
- G. Vesey, *Personal Identity*, London 1974.
- W.H. Walsh, "Plain" and "Significant" Narrative in History, *Journal of Philosophy* LXV (1958) 479—484 (1).
- W.H. Walsh, Colligatory Concepts in History, in W.H. Burston & D. Thompson eds., *Studies in the Nature and Teaching of History*, London 1967 (2).
- W.H. Walsh, *An Introduction to the Philosophy of History*, London 1970 (1st ed. 1951) (3).
- M. Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Tübingen 1934 (1st ed. 1905).
- R.H. Weingartner, Some Philosophic Comments on Cultural History, *History and Theory* VII (1968) 38—59.
- Ph. Wheelwright, *Metaphor and Reality*, Indiana 1967.
- H. White, *Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth Century*, Baltimore 1973 (1).
- H. White, Historicism, History and the Figurative Imagination, *History and Theory Beiheft* 14 (1975) 48—67 (2).
- H. White, The Historical Text as Literary Artifact, in R.H. Canary and H. Kozicki eds., *The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding*, Madison 1978 (3).
- H. White, The Discourse of History, *Humanities in Society* II (1979) 1—16 (4).
- M. White, *Foundations of Historical Knowledge*, New York 1965 (5).
- D. Wiggins, *Sameness and Substance*, Oxford, 1980.
- C.H.E. de Wit, *De strijd tussen aristocratic en democratic in Nederland 1780—1848*, Heerlen 1965.
- T.E. Wilkerson, Seeing as, *Mind* LXXXII (1973) 481—497.
- L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Frankfurt 1971 (1st ed. 1922) (1).
- L. Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, Oxford 1974 (1st ed. 1955) (2).
- G.H. von Wright, *Explanation and Understanding*, London 1971.
- R.M. Yost, *Leibniz and Philosophical Analysis*, Berkeley 1954.